ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

3(35)'2020

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Евгений ДЕМЕНОК

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

E-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2020

XX ЛЕТ ЮЖНОРУССКОМУ СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ

Южнорусский Союз Писателей вошёл в пору окончательного совершеннолетия. Ему исполнилось XX лет. Однако среди его действительных и действующих членов есть поэты и писатели, создавшие свои ранние произведения ещё в пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годах прошлого, двадцатого века. И, одновременно, есть поэты и писатели столь молодые, что стали писать только в веке двадцать первом.

Почему и кем создаётся художественная литература? В лучшем и высшем случае, гений в словесности отражает в универсальном единстве – человечество, планету, вселенную. Талантливый человек выражает свою творческую индивидуальность, делится выстраданным, неповторимым взглядом на мир. И даже у скромного литературного дарования порой мы находим совершенно замечательные строфы и строки. И сколь огромное расстояние отделяет, как правило, первые опыты поэта, писателя от итоговых, зрелых его же произведений…

Южнорусский Союз Писателей, как и другие творческие союзы, не может не быть разнообразным. Не только возраст, но и стиль, направленность, мировоззрение – у каждого автора исключительно своеобычны. Соединяя, союз никак не стремится к унификации. Пусть писатели будут не только разными, пусть в чём-то они будут даже противоположны друг другу, кто – идёт по проторенным дорогам, кто-то творит, «строя» ломкие авангардные структуры текста. Главное, чтобы за сочинением было горение, «огонь распахнутого ветру сердца»… Чтобы отражённые на страницах мысль и чувство становились достоянием заинтересованного читательского множества, при этом не оставляя его равнодушным.

Подавляющее большинство поэтов и писателей, входящих в ЮРСП, это *состоявшиеся профессионалы*, чьи сочинения уже прошли проверку у читателей и ценителей. Многие участвовали в международных фестивалях, занимали ведущие места на больших конкурсах, становились лауреатами престижных премий. Но главное не это. Главное, что все годы своего существования ЮРСП давал возможность всем своим членам познакомить любителей и «свидетелей» литературы с плодами своего творчества… Сколько было проведено творческих вечеров, коллективных и личных, сколько было оказано содействия при выпусках авторских книжных изданий… Создан был и свой печатный орган – литературно-художественный журнал «Южное Сияние», который за годы своего существования познакомил, можно сказать, мировое русоязычное сообщество с поэзией и прозой многих и многих творцов прошлого и современности, среди которых больше всего было, конечно, художников слова из состава и круга Южнорусского Союза…

Южнорусский Союз Писателей это уже за двадцать лет существования своего рода коллективная сущность, состоящая из разных живых творческих личностей и индивидуальностей, явственно проявляющая себя и печатно, и видео выступлениями, и в виртуальном, сетевом, причудливо иллюзорном пространстве…

Выдающуюся роль в создании и развитии ЮРСП сыграл его фактический основатель, – поэт, писатель, драматург и организатор литературного процесса Сергей Главацкий, чьей энергией и деятельным участием жил союз все двадцать лет, так же он жив и сегодня… Многим обязан Союз и соратникам С. Главацкого – Олегу Дрямину, Людмиле Шарга, Ольге Ильницкой, Евгению Голубовскому, Евгению Деменку, Веронике Коваль, Александру Карпенко, Александру Петрушкину, Вере Зубаревой, Дмитрию Бураго, Анне Стреминской, Ирине Василенко, Светлане Полининой, Алексею Омельченко, Галине Маркеловой, Игорю Павлову, Ефиму Ярошевскому, Юлии Петрусевичюте и многим достойным другим.

Хочется пожелать ЮРСП и в будущем открытия и сопричисления к нему новых талантов и сохранения своего «золотого фонда», творческого наследия, трудолюбиво наработанного за последние двадцать лет и, надеемся, за последующие годы, коль в будущем сохранится дыхание нашей многострадальной планеты…

Станислав Айдинян,
заместитель председателя Южнорусского Союза Писателей,
главный редактор литературно-художественного журнала «Южное Сияние»,
академик Российской академии художественной критики,
действительный член Европейской академии естественных наук,
действительный член Международной академии современных искусств,
член ученого совета Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых.

7305 ДНЕЙ

Дамы и господа! Коллеги и читатели! Южнорусскому Союзу Писателей – 20 лет. Именно в августе 2000 года состоялось первое учредительное собрание нашей одесской писательской организации. Не буду скрывать, что 20 лет – основательный срок для творческой организации, рождённой на рубеже веков и работающей уже в XXI веке, и многое изменилось за эти годы, изменились и мы сами. Не буду скрывать, что наши довольно амбициозные в прошлом планы были неоднократно скорректированы текущими событиями. Не буду скрывать и то, что даже осуществлённое нами не давалось нам просто так в руки, это постоянный труд многих талантливых и небезразличных людей. Успешны ли эти усилия – решать не нам, не нашим читателям, а времени и - в конечном итоге, Вечности, перед которой мы все равны.

Однако хочется верить, что сделано было немало: немало написано было нашими авторами удивительных, уникальных произведений – стихотворений, рассказов и повестей, пьес и научных работ, немало авторов были услышаны и закрепились в парадигме русской литературы благодаря сотням и тысячам публикаций, выступлений, побед в конкурсах и фестивалях. И мы счастливы, что при этом у каждого нашего автора – своё лицо, узнаваемое и неповторимое.

Хочется верить, что десятки крупных литературных проектов, которые были осуществлены нами совместно с нашими друзьями, принесли немало позитивных эмоций и радости их участникам, и надолго останутся лучами света в их воспоминаниях. Не последнее место в списке наших достижений занимает Одесский международный литературно-художественный журнал «Южное Сияние», исправно издающийся уже 9 лет, издание, которого почти не коснулось деструктивное дыхание окружающей нас энтропии, которое стоит на трёх китах – китах единства ткани пространства, времени и созидания, для которого важно строительство культурных мостов, а не отмежевание от кого бы то ни было. Потому что только культура, общая и всеобъемлющая, не позволяет современному человечеству превратиться в самых страшных зверей.

Куда бы мы ни поехали, мы знаем, что нас есть кому встретить, что нам будут рады. Где бы мы ни были, мы знаем, что ЮРСП – узнаваемая аббревиатура, уважаемая структура, это знак качества и миролюбия. Потому что ЮРСП – общность русских писателей мира, в той или иной степени знакомых между собой и взаимодействующих по принципу паутины, система сама в себе и между всем сущим, тёмная материя светлого цвета, нигде и везде одновременно, дорожная карта коллективной внутренней эмиграции для тех, кто чувствует себя неуютно в условностях современной человеческой цивилизации или даже больше – в беспощадности физических законов Вселенной, ЮРСП – как маленькое международное государство среди любых цивилизационных институций. Именно поэтому все буквы названия – прописные. И пусть эта общность не всегда срабатывает, но мы знаем, как бывает хорошо, когда она срабатывает.

Хочется поблагодарить всех, кто был с нами все эти годы, доверял нам, поддерживал нас, оказывал нам содействие, сотрудничал с нами, всех, кто за эти 20 лет стали нашими друзьями, кто продолжает идти рядом с нами. Мы счастливы, что вы были, есть и будете.

Мы не знаем, что будет дальше. Мир созидания и творческой реализации пролетает сейчас через в те чертоги, где на него существенно влияют внешние факторы, периодически принуждая защищаться. Иногда нам хочется сидеть на берегу южного моря под пальмами, или в весеннем яблоневом саду, или в тёплой избушке на краю заснеженного таёжного леса. Но в то же время нам очень хочется верить, что на нашей улице ещё будет праздник, и, надеемся, не один. Потому что наш эгрегор жив, он обращает систему в сущность, а его участие и работу чувствуем не только мы, но и те, кто интересуется хорошей современной литературой.

Сергей Главацкий,
Председатель Правления Южнорусского Союза Писателей,
Председатель правления Одесской областной организации
Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины»
выпускающий редактор литературно-художественного журнала «Южное Сияние».

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ЮЖНОРУССКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Не только положение, возраст обязывает подводить итоги, вспоминать о сделанном и вынашивать новые планы и идеи.

Возраст ЮРСП самый многообещающий, самое время – мечтать и воплощать мечты в жизнь.

Возраст писателей, входящих в Союз, самый разный, как и направления и жанры, в которых они работают.

Работа со словом не терпит поверхностного отношения, спешки. Не вдохновение – оставим лунный свет и морской прибой в сторонке – не творческий полёт, а кропотливая ежедневная и ежеминутная работа. Членство в ЮРСП подразумевает именно такую работу, такой подход к Слову – как само собой разумеющееся.

Итак – нам двадцать.

Десятилетие ЮРСП было отмечено выходом антологии «Солнечное Сплетение», вместившей в себя избранные произведения поэтов и прозаиков ЮРСП. В предисловии к антологии Сергей Главацкий, поэт, драматург, составитель издания, председатель и вдохновитель Союза, выпускающий редактор литературного журнала «Южное Сияние» (печатный орган ЮРСП) как нельзя лучше характеризует цели и задачи не только того уникального издания, ставшего сегодня раритетом. Думаю, что эти слова в полной мере можно отнести и к самому Союзу – являющимся тем самым plexus Solaris Одессы.

«Солнечное сплетение – plexus Solaris – символ многомерный. Это центробежное, что делает разрозненное мёртвое живым целым… именно так, с точки зрения человечества логично было бы назвать нашу галактику…».

Спустя десятилетие многое изменилось.

Нет с нами Анны Яблонской и Валентина Колота (2011), Игоря Павлова (2012), Григория Мокряка (2014), Льва Болдова (2015), Вилли Мельникова и Елены Миленти (2016), Кирилла Ковальджи, Владимира Каца, Сергея Александрова и Катерины Ивчук (2017), Семёна Росовского (2018), Льва Аннинского и Елены Касьян (2019), Александра Петрушкина (2020), но живёт их Слово, и память о них в наших сердцах.

Если проследить географию Союза, то взгляду откроются города, страны и континенты, разноудалённые от Одессы. И это радует.

Двадцатилетие ЮРСП мы встречаем в непростое время, в сложных *до* и *посткарантинных* условиях, без парадных маршей и торжественных речей на «красных дорожках». Встречаем в рабочей обстановке – выходит очередной номер «Южного Сияния», который, как всегда, порадует читателей содержанием, наполненностью.

Времена не выбирают, как известно.

Мы выбрали время – жить.

Это значит – новые встречи и программы, журналы и книги, лица и имена.

И, тяготея к слогу классическому, позволю себе привести ещё одну цитату. Любимую. Обращённую ко всем, кто сегодня разделяет с нами радость: Друзья мои. Прекрасен наш *Союз.*

Поздравляю руководство и членов ЮРСП и желаю неизменное – быть.

Лиц и имён новых, ярких и самобытных – «солнц» в сплетении – больше, и – как результат – больше света и тепла в Городе, который, что бы кто о нём ни говорил – есть и будет.

Людмила Шарга,
заместитель председателя Южнорусского Союза Писателей,
редактор отдела поэзии журнала «Южное Сияние»,
редактор раздела «Одесская Страница» журнала «Гостиная»,
автор и ведущая литературной гостиной «Diligans».

***

Дорогие писатели, коллеги по ЮРСП и журналу «Южное Сияние», и дорогие читатели, поздравляю всех нас с Двадцатилетием Южнорусского Союза Писателей!

Двадцать лет уже мы знаем друг друга – собирающихся за круглыми столами выступлений перед читателями, на фестивалях, в библиотеках и залах музеев, в школах и институтах. Нас читают в аудиториях, в поездах, в уюте дома своего…

У нашей работы прекрасное имя – Русская Литература.

Нас есть с чем поздравить, мы способствуем развитию и сохранению языка, на котором думаем, разговариваем, пишем и читаем, мы все занимаемся общим делом, нас объединила любовь к русскому языку и русской литературе.

Двадцать лет мы занимаемся этим прекрасным делом – расширяем своё и читательское сознание, радеем о русском слове и стараемся привнести доброе и светлое в свои рассказы и стихи, сохранить живую русскую речь в её многомерности и чистоте. И русский язык, которому мы служим – отвечает взаимностью, наше слово откликается, аукается читательскими голосами, драматургия становления и развития Южнорусского писательского Союза – счастливая.

И я всем нам желаю, чтобы Южнорусскому Союзу и нашему журналу «Южное Сияние» и дальше сопутствовал успех и удача!

Хорошего и полного нам портфеля, друзья – коллеги!

Ольга Ильницкая,
прозаик, поэт, журналист,
редактор отдела прозы журнала «Южное Сияние»,
региональный представитель ЮРСП в России

***

Я люблю и уважаю людей, которые делают своё дело, нужное дело, невзирая на окружающие обстоятельства. Делают, когда их хвалят, делают, когда их ругают – и делают, когда их не замечают и не ценят.

Сергей Главацкий поступает именно так. Вот уже двадцать лет. Идея Станислава Айдиняна об объединении одесских литераторов, пишущих на русском языке, оказалась верной. А со временем Южнорусский Союз Писателей разросся – теперь в нём авторы из доброго десятка стран. Активность нарастала лавинообразно – публикации авторов ЮРСП во множестве изданий разных стран, участие в конкурсах и фестивалях, а потом и организация своих собственных – одна «Провинция у моря» чего стоит; издание сборников и антологий… И главное, на мой взгляд – создание собственного «толстого» литературного журнала «Южное Сияние», который выходит вот уже девять лет и который вышел постепенно на уровень первого ряда «толстых» русскоязычных литературных журналов, тот уровень, когда анонсы о новом номере журнала публикуются в престижнейшем «Журнальном зале».

И всё благодаря кропотливой, ежедневной работе влюблённого в своё дело человека.

Евгений Деменок,
прозаик, литературовед, искусствовед,
редактор отдела литературоведения журнала «Южное Сияние»,
член Южнорусского Союза Писателей,
член Президентского совета Всемирного клуба одесситов

***

ЮРСП – детище XXI века. В новом тысячелетии стало очевидным, что большие творческие союзы себя исчерпали и лучше строить небольшой, но уютный союз, который максимально бы отвечал чаяниям писателей. В идеале союз должен дополняться, во-первых, печатным изданием, и, во-вторых, фестивалем. Конечно, хочется всего и сразу, в триединстве. Но чисто организационно решить такую грандиозную программу сложно. Одесские энтузиасты, поставившие перед собой задачу объединить русскоязычных писателей, решали эту задачу постепенно, шаг за шагом. И всё получилось! Но основа основ – конечно, союз. За 20 лет существования ЮРСП доказал свою важность и эффективность.

Александр Карпенко,
поэт, прозаик, переводчик, композитор, исполнитель песен,
редактор отдела литературной критики журнала «Южное Сияние»,
региональный представитель ЮРСП в России

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Сергей Главацкий. **По условиям мгновенного времени.** *Стихотворения* 8
Одесса: Юлия Петрусевичюте. **Серебряной нитью.** *Стихотворения* 16
Одесса: Валерий Сухарев. **В комнате из-под меня.** *Стихотворения* 20
Одесса: Владислав Китик. **Любое место может быть святым.** *Стихотворения* 26

ПРОЗА

Одесса: Галина Соколова, Элла Мазько. **У попа была собака.** *Повесть. Часть 1* 30

ПОЭЗИЯ

Пекин: Ирина Чуднова. **У тебя под ногами ритм.** *Стихотворения* 53
Одесса – Нью-Йорк: Галина Ицкович. **Выйдешь с утра из Египта…** *Стихотворения* 59
Ростов-на-Дону: Ольга Андреева. **Абсолютные ценности.** *Стихотворения* 64
Евпатория: Елена Коро. **Весь мир – posttекст.** *Стихотворения* 69

ПРОЗА

Одесса: Виктория Колтунова. **Коготь и роза.** *Рассказ* 73
Одесса: Игорь Середенко. **Исчезнувший.** *Повесть* 78

ПОЭЗИЯ

Иерусалим: Марк Шехтман. **Фламинго был похож на нотный знак.** *Стихотворения* 95
Милан: Эвелина Шац. **Оловянность.** *Стихотворения* 98
Москва: Инна Ряховская. **Природы пробуждённой вздох.** *Стихотворения* 102
Барнаул: Юрий Макашёв. **Написать о непридуманном.** *Стихотворения* 105

ПРОЗА

Лод: Борис Берлин. **Калейдоскоп.** *Рассказ* 108
Лос-Анджелес: Григор Апоян. **Тернии счастья.** *Притча* 115

ПОЭЗИЯ

Одесса: Евгений Мучник. **То в микроскоп, то в телескоп.** *Стихотворения* 118

ДРАМАТУРГИЯ

Москва: Николай Железняк. **Белое поле.** *Пьеса* 122

‹ФОНОГРАФ›

Москва: Лев Болдов. **Прощению не подлежит?..** *Повесть* 137

‹ОКОЕМ›

«Мы, обнимаясь, смотрим вверх, а Бог играет на органе…».
Стихи финалистов конкурса Ежегодной Международной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» 2019 года *(Марк Шехтман, Юрий Макашёв, Клавдия Смирягина, Константин Вихляев, Олег Сешко, Владимир Кетов, Виктория Смагина, Анатолий Болгов, Марина Пономарева, Светлана Ефимова)* 146

‹ГОРИЗОНТ›

«45-й калибр» в строю ... 156
Балашиха: Полина Орынянская. **Стихотворения** ... 156
Нагария: Евгения Босина. **Стихотворения** ... 159
Бердск: Пётр Матюков. **Стихотворения** ... 161
Вышгород: Елена Дорофиевская. **Стихотворения** ... 164
Москва: Сергей Сапронов. **Стихотворения** ... 166

ПРОЗА

Москва: Аркадий Кац. **Его имя – Одесса.** *Воспоминания* ... 169
Москва: Леонид Волков. **Сбывшийся день, или Как вернуть юность.** *Автобиографические эссе* ... 187

‹СЕТЧАТКА›

Одесса: Евгений Деменок. **Место силы.** *Эссе о необыкновенных вещах, произошедших на фоне разнообразных пейзажей* ... 194

‹ЛИТМУЗЕЙ›

К 125-летию Эдуарда Багрицкого

Москва: Сергей Зенкевич. **Единой фразы ради. Эдуард Багрицкий и Михаил Зенкевич: по одесскому меридиану** ... 199
Михаил Зенкевич. **Рецензия на книгу Э. Багрицкого «Юго-запад»** ... 202
Эдуард Багрицкий. **Фрейлигират**; Мих. Зенкевич. **Отгулы. Избранные стихи**; М. Зенкевич. **Избранные стихи** ... 203
Михаил Зенкевич, Владимир Нарбут. **Э. Багрицкому** («И без тебя усатым скаляриям…») ... 205
Михаил Зенкевич. **В углу за аквариумами** ... 206
Игорь Поступальский. **Из воспоминаний о Эдуарде Багрицком** ... 209
Одесса: Алёна Яворская. **«Шраб на адрес!».** *Письма Эдуарда Багрицкого в фондах Одесского литературного музея* ... 211

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Свет изначально праведнее мглы». *О книге Виктора Кирюшина «Ангелы тревоги и надежды»* ... 214
«Весь из себя не такой как все». *О книге Дмитрия Гвоздецкого «Фосфеновое облако»* ... 216
«В карантинном огне». *О книге Станислава Думина «Корни и крона»* ... 219
Цвет милосердия. *О пьесе Натальи Гринберг «Белое на белом»* ... 220
Седьмое небо Виктора Третьякова. *О книге «100 песен от А до Я»* ... 222
«Меж хлебом и небом». *О книге Леонида Колганова «Молчание колоколов»* ... 224

‹ШКАФ›

Домодедово: Дмитрий Артис. **Стихи этого времени.** *Рецензия на книгу «Новости-бирск» Юрия Татаренко* ... 227
Галле: Сергей Бирюков. **В серии ЖЗЛ вышла биография Давида Бурлюка.** *О книге Евгения Деменка. «Давид Бурлюк: Инстинкт эстетического самосохранения»* ... 228
Коломна: Александр Руднев. **«Красота спасёт мир».** *Отзыв на книгу Леонида Волкова «Удивляться красоте»* .. 229
Москва: Елена Вадюхина. **Что остаётся после прочтения…** *Сравнительный анализ двух произведений* ... 230

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

ПО УСЛОВИЯМ МГНОВЕННОГО ВРЕМЕНИ

цикл стихотворений

1.

что бы ни происходило
что бы ни говорили
серебряный кенотаф пчёлам
отблески в абсолютной темноте
нас разрезали
кванты-близнецы
до начала
до большого взрыва
которого не было
у каждого он свой

а теперь
фиорды затупились
бежевый берег
мёртвого серого океана
сорняки в деревянной церкви
а потом невесомость
случайные фотоны
по экспоненте вниз

знали ли мы
что между началом и концом всё
или пили кощунственный бриз
или изучали силу тяжести
могли ли мы иначе
когда тетрис это ложь
и уходить обручальной точкой
шелестя жёлтым платьем
восвояси
где не имут пустоты черепа
и кенотаф целует мысль

одни пиксели
битые ссылки на тебя
и неуёмный ураган в наручниках
посреди мест
кажущихся знакомыми
остановившимся зеркалам
оживающим камням

2.

Тебя находить в зазеркальной вселенной,
Которую в нас стережёт диафрагма,
Сквозь смерть и рождение духов нетленных,
Свинец ледников, изможднную магму.

Дискретное время Её нелинейно,
И сложено время из хвороста жизней.
В нём все наши прошлые смерти ничейны,
Рожденья грядущие в нём закулисны.

Как ребусы в мозге, торнадо цветущий,
Быстра центрифуга планет, малых родин.
И прошлые жизни быть могут в грядущем,
А жизни грядущие в прошлом находят.

И всё к одному, и прозрение слепо,
Эффект до минор и притворные дамы,
Вдали пароход и луна на полнеба,
Песок серебрится, как бритва Оккама.

Тебя обыскаться среди персонажей
Магнитных, где рыщут духовные тёзки,
Заглядывать в жизни прошедшие наши,
Нося на руках прошлых жизней обноски.

Но как мне найти тебя в хаосе судеб,
В движении звёзд, в инкубаторе братском,
Когда не всегда в нас вселяются люди,
Когда не всегда мы рождаемся в штатском?

А с тем, кого здесь второпях развязали,
Легко разминуться. Как с собственным домом.
Но тело, как тот чемодан на вокзале,
Без ручки который, сама невесомость.

Тебя обнаружить на том берегу, чтоб
Потом распознать тебя снова на этом –
Задача моя такова, потому что
Я знаю, бывают туннели без света.

И катер несёт нас в эдемское гетто,
И ты слышишь море, которое вижу,
Мы скоро уже совпадём по билетам,
По миру, по времени, скоро задышим.

И солнце зовёт нас в прозрачное ovo,
Я чувствую ветер твоей млечной кожей,
И чтобы мы встретились снова и снова,
Ты тоже ищи, ты ищи меня тоже.

3.

С каждой новой любовью, вдыханьем, разлукой –
Раздвоенье времён, раздвоенье пространства,
Раздвоение жизни, сердечного стука…
С каждой новой любовью такое шаманство.

И галактики в небе сгорают бесцельно,
Их горящие бубны над этой юдолью,
Ты живёшь десять жизней за раз, параллельно,
Одновременно, чувствуя каждую – болью,

И пока не найдёшь ту, с которой уснуть бы,
Сам с собой не столкнувшись на этом пути,
Ты двоишься, ветвишься, клонируешь судьбы,
Чтобы больше успеть, чтоб быстрее найти.

4.

Есть такое дело:
когда открываешь окно
и представляешь в нём летний сад,
и сына на верёвочных качелях под яблоней
в пятом часу вечера,
на самом деле это
застыл слюдой
двадцать пятый кадр.
Что за окном сейчас – не понять.
Давно не было дождя.
Его никогда не было.

Зная многовекторность времени
и отсутствие точек начала координат
в любой его диспозиции,
способность хрононов расслаиваться
и дублировать друг друга,
вдруг понимаешь,
что твои прошлые и будущие жизни
могут случайно совпасть в одном времени,
ты можешь даже
встретить себя прошлого, в образе летнего сада,
или себя будущего, в образе дождя,
и не узнать.

И маленький рукотворный водопад
состоит из молекул воды,
но молекулы состоят из снов,
иначе зачем бы ему течь
во всех трёх направлениях одновременно,
посреди летнего сада,
и ты питаешь его по ночам
видениями полётов в другие времена,
не умея выбрать стоп-кадр.

И та, которую искал миллиарды лет
в лицах растений и животных,
в роли событий и явлений,
она, твоя судьба,
тоже может быть
или не быть
в своих нескольких воплощениях
одновременно
здесь и сейчас,
здесь и сейчас,
и ты можешь не узнать ни одно из них,
равно как и она саму себя,
с собой столкнувшись.

А старость – это невозможность
развернуться на 180 градусов,
и в таком случае нужно
просто закрыть окно
безо всякой надежды порадоваться,
даже на финишной прямой,
что мы есть друг у друга.

По условиям мгновенного времени.

5.

Между нами обстоятельства
Непреодолимой силы,
Иллюзорные предательства
Той любви, что нас косила.

Мы друг в друге не утонем,
Просто станем ещё ближе.
Между нами – ничего нет,
Кроме тех, кто с нами иже.

Между нами наши символы
Наших систол и диастол,
Воцерковленные нимфами
Наши ноши и балласты.

Оцифрованные снами,
Мы останемся под током.
Ничего нет между нами.
Между нами – слишком много.

6.

мне снилась ночь и все её творенья.
я был внутри, смотрел в неё и видел
мятеж людей, приручённых смиреньем,
и кандалы, как крылья тех событий,
которым были сотни оснований,
которым не дано уже случиться,
и в этой целомудренной нирване
я знал, что мне от них не излечиться.

у каждого своя акупунктура,
но тьма – одна на всех, и в ней на убыль
идти двум неразвенчанным фигурам,
людьми не ставшим от того сугубо,
что навсегда друг друга испугали
так, что отныне лишь во сне и дышат,
укоренённым в личном ареале,
похожим на трясущихся пустышек.

мне снилась тьма из бездыханных мидий
и космоса фасеточное зренье,
и то, что видит он, а мы не видим –
ошибки собственного сотворенья,
и ересь нашу – друг от друга прятки,
и наши центробежные измены,
и то, зачем мы разные загадки
разгадываем так одновременно.

ты можешь приказать судьбе, но вряд ли
прикажешь сердцу. можешь только длиться.
но если б нам сказали нужный адрес,
ты предпочла бы даже не родиться.
а если бы судьба тебя дала мне,
ты от меня бы отреклась повторно,
и там, где море разбивало камни –
песок, от старости и боли чёрный.

и этих буднях глупых, ледовитых
вопросов много больше, чем ответов.
и нами что-то важное убито,
и это что-то мы забыли где-то.
а в этом сне, пришедшем птичьей почтой,
всем кроме нас понятны наши цели,
и почему в одну и ту же точку
из разных смотрим мы бездонных келий.

7.

Я к вам пришёл навеки поселиться…
Васисуалий Лоханкин

Ты поселилась в моей голове,
Хоть обо мне и не думаешь.
Две половинки у мозга, их – две,
Обе глядят в пустоту мою.

Ты прописалась в сознанье моём,
Хоть своё тоже имеется…
Мозг мой рисует картинки вдвоём,
Выжечь любовь не умеет сам.

Мозг состоит из нейронов одних,
Помнящих только тебя одну.
Как мне избавиться напрочь от них,
Как залечить эту фауну?

Этому счастью не вырастить клон,
Пусть живут сны безответные.
Как мне забыть то, что быть не могло,
Как истребить заповедное?

8.

Тушить, тушить в который раз
Морскою пеной бирюзовой,
Не добывая хризопраз
Из безвоздушного улова, –

Ты знаешь, это ни к чему,
И даже больше: бесполезно.
Так не похожа на тюрьму
Под нами – ласковая бездна!

Не перепутать бы очаг,
Не от того спасаясь жара,
Что шаг за шагом ставит шах
Чужим осунувшимся чарам.

Но надо, надо, всё равно,
Гасить, гасить своё пространство,
В котором крошится геном
Твоей души без уз гражданства,

В котором, полном той воды,
От жажды плачут без границы
Вне окружающей среды
В браслетах электронных птицы!

Я не хочу с тобою впредь
Стихом беседовать ветошным.
Пока способны так гореть,
Мы живы, юны и возможны.

Я не хочу гасить свой ад,
В котором свечи – словно в церкви,
В твоей реке огня стоят,
И ни одна в ней не померкнет.

А выходить за берега
Не бойся, если в русле тесно.
По пояс будет мне река,
Напоминающая бездну.

9.

Однажды мы встретимся там, за рекою, –
Закон мирозданья всегда безупречен, –
И только потом нас оставят в покое,
И только тогда завершится наш вечер.

Пока же мы здесь и путей у нас сотни,
Моё ожиданье – всегда под рукою,
И я хочу знать, что сейчас и сегодня
Ты думаешь, чувствуешь, что ты такое.

Пока мы петляем по этим завалам,
Внезапное солнце, ты вспыхнешь, как чудо,
Меня воскресишь, как ни в чём не бывало,
И мы будем святы, бессмертны покуда.

Имаго предчувствий считает нас домом,
Зародыш предтечи растёт, как мицелий,
Домашнее тело бросается в омут,
Подспудные звёзды нам в головы целят.

Без абракадабры и без люциферов,
Отринув всех тех, кто обидой ограблен,
Летят одуванчики, белые сферы,
Такие красивые, как дирижабли,

Без окситоцинов и адреналинов,
Оставив внизу облака медной плоти,
Летят одуванчики, как цеппелины…
Коснувшись друг друга в свободном полёте –

Мы станем собой, настоящими станем,
И даже узнаем друг друга всецело,
До самой последней минуты скитаний,
До каждого в нас подселённого тела,

И в этом полёте, прекрасны и храбры,
Застынем, счастливые, и захохочем,
Друг друга запомним как следует, – напрочь,
И вновь разлетимся, воздушные очень.

10.

Что память? Только персональный эшафот.
Хоть помним всё сейчас, но всё потом – забудем.
Вот – ты идёшь по набережной днём, а вот –
На день намёка нет, и вместо жизни – студень.

Что жизнь? Как я – в тебе, как в царской водке – ртуть,
Как в очищающем огне – воспоминанья,
Проходит всё один и тот же звёздный путь,
Всё растворяется в могиле мирозданья.

Неандертальцы ли в обносках шимпанзе,
Постлюди или души в ледяных кристаллах –
Нет разницы, для нас нет разницы совсем,
Мы иллюзорны с точки зрения финала,

Нас нет, когда на нас снаружи посмотреть.
Дециллиарды лет ли, несколько минут ли –
Без разницы, мы все – на призрачном одре
Каверн фантомных замерзающие угли.

Вот твой пейзаж, и ты, а вот он – наутёк,
Подводит зренье, мчится к берегу цунами.
Вселенная потом сама на нет сойдёт,
И вместе с нею – всё, что было между нами.

И ложку дёгтя в тёмном царстве, чёрный мёд,
Стреножив миг, оближет чёрная сирена…
Один исход для нас и тех, кто нас уймёт –
Забвение фосфоресцирующей пены.

11.

кладбище любовей в тонком мозге
переполнено. шевелятся, лежат.
в нефти, в камне, в формалине, в воске.
перманентный спрятанный пожар.
господи, прости, на каждой метка,
каждая особенная, и
от любой из них нужна таблетка
та, что не подходит для других.
кладбище живое, дышит, дышит.
ты звенишь, по центру ровно встав.
это так естественно – ты слышишь?
ты над ними общий кенотаф.

12.

а ещё
каждый раз
как на секунду забудусь
вижу перед собой лицо
может это ты?

детский сад взрослый лес
костёр из перьев
рябь кислородных глаз
водяные знаки улыбок
своя отчётливее твоей
никуда из пыли
в луче солнца

рояль и альт
подорожник и вереск
всегда видеть тебя
и не знать где ты
что ведёт через всё
почему вижу
путь луча сквозь хрусталь
пропускаю через себя

я буду читать тебя как кружева
я больше не сыщик
пунцовые хвосты папируса
в бескрайнем поле
погребён под зёрнами плевел
тсс! ничего не говори
я знаю

ведь
всего XXI век
я улетел
рано

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

СЕРЕБРЯНОЙ НИТЬЮ

***

Слово – тяжёлый, оглаженный волнами камень, –
Ляжет на землю и свяжет узлами дороги:
Чёрные корни курганов и дождь многоногий,
Синие вены реки заплетёт облаками.

Медное яблоко падает с ветки со звоном,
Небо и землю сшивая невидимой нитью.
Медленный гул наполняет пространство. Смотрите –
Катится яблоко и наливается словом.

***

Обезумевший май, опьяневший от солнца и мёда,
Синий ветер, и в небе гремят золотые колеса.
На воздушных путях поезда, как хвостатые звёзды,
Пролетают счастливые дни. Это просто свобода.

Эти львиные крылья, раскинутые над обрывом,
Эти львиные лапы катают горячее солнце.
Небо полно до края, – плесни синевы, и прольётся.
При малейшей возможности будь максимально счастливым.

***

Шёпот земли, хрипловатый, с любовной одышкой,
Жарко щекочущий колос, шуршащие зёрна,
То топоток торопливый по осыпям пашни,
Шёпот земли, – мокрой глины – насмешливый, влажный,
Или сухой чешуёй шелестящий, неслышный,
Или стучащий о мёрзлые чёрные комья.

Что тебе шепчет ночами земля, засыпая?
Выдох её по утрам остывает туманом,
Чёрная грудь её медленно, медленно дышит.
Я закрываю глаза, я лежу тише мыши,
Зёрнышко к зёрнышку капли в кулак собираю
Маленькой жизни минуты, и в них – океаны.

***

Я плету кружева, заплетаю стеклянные нити,
Я губами ловлю растворённые в воздухе звуки –
Перезвоны дождей и далёких колёс перестуки, –
Серебристую пыль, хрупкий след неприметных событий.

Я сшиваю серебряной нитью края этой раны,
Выжигаю заразу и гной, и даю тебе силы.
Льётся с белой руки молоко, – пей, пока не остыло.
Я даю тебе выжить, нарушив законы и планы.

***

Облака уходили под воду, ложились на дно,
Засыпали и видели сны о покинутом небе.
Рыбы как в молоко в эти сны заплывали и слепли,
И блуждали на ощупь, и пили печаль как вино.

А нездешние сны над водой всё текли и текли,
И ослепшие рыбы в открытое небо летели,
Заблудившись в тоске, покидали земные пределы,
И по клавишам дождь пробегал, не касаясь земли.

***

Я думаю, что дети крепко спят
На дне реки, и ночь течёт над ними,
Смывая память, возраст, время, имя,
Желания и мысли – всё подряд.

И смутный сон, как шёлковая нить,
Уходит в темноту – вот-вот порвётся.
Ты знаешь – дети спят на дне колодца.
Ты знаешь – я не смог их разбудить.

***

И будет серый снег лежать на серых лицах
Прозрачным и холодным покрывалом,
И зимний принц – серебряная птица –
Взмахнет крылом над городом усталым.

Наступят два часа свободы и покоя,
Когда зима даст жизни передышку,
И я открою дверь, как открывают книжку,
И выйду в измерение другое.

***

Когда старый дракон умирал, он улыбался.
Он устал от постоянной привычной боли,
От груза памяти и бесполезных знаний.
Он чувствовал тело тяжёлым, как серый камень.
Он дышал всё реже, всё медленней, всё спокойней,
Он закрыл глаза. И время текло сквозь пальцы.

И рваные крылья его, и седая грива
Медленно становились степным курганом.
Не исчезала только его улыбка.
Плыла в медовом воздухе медной рыбкой.
В корнях полыни звенела песком стеклянным,
И мои губы, растрескавшиеся от крика,
Тихонько грела, и нежно, и неторопливо.

***

И яблоня летит, раскинув крылья,
Над сонным садом, и окно качает,
И дом плывёт, как лодка по реке.
И яблоко, прильнув к твоей щеке,
Подушку лунной пылью осыпает,
И светит, как фонарик у причала.

Мучительная радость бытия.
Мы спим, обнявшись, где-то во Вселенной,
Между мирами, в хаосе времён.
Течёт медлительный молочный сон.
И дышит печь живым теплом и хлебом.
И жизнь в кольцо свернулась, как змея.

***

Открыта дверь. Рябина замела
В саду тропинки ровным слоем снега,
И белая душа уходит в небо
Единым всплеском птичьего крыла.
Рябины нет. Рябина умерла.

Уходят в небо стаи белых птиц.
Им нет числа. В крови гуляет память,
Как ржавая игла, которой только ранить
Горящей строчкой по полям страниц,
Углём из темноты пустых глазниц.

***

На ночных перекрёстках босые бессонные тени
Неподвижно стоят до утра, выбирая дорогу.
Не решаясь шагнуть в пустоту, повернуть не решаясь обратно.
Впереди километры дорог и утрата, утрата,
За спиной – бесконечная память других поколений
И края горизонта, светлеющие понемногу.

Соляные столбы на границе сегодня и завтра.
Сделай шаг в темноту, и появится день, и забота
Заплетать прихотливый узор перепутанных судеб.
Возвращайся назад, во вчера, – и рассвета не будет,
И Тезей в Лабиринте уже не найдёт Минотавра.
Покачнётся шестой континент, и опустится в тёмную воду.

***

И приходит волна, поднимает тяжёлое тело
Над причалом, над берегом, опровергая законы,
Многотонная масса со звоном встаёт колокольным,
Как дракон океанских глубин покидает пределы,

Поднимает косматую голову над облаками,
Изрыгая грохочущую и ревущую воду.
Кто меня остановит? – Я кожей вдыхаю свободу.
Слышишь странную музыку? – Я вызываю цунами.

***

А у нас на Марсе холода.
По утрам на ветках яблонь иней.
Скоро и земля в саду остынет,
И уснёт усталая вода.

И придёт зима на полчаса,
Со стеклянным дождиком и ветром,
Чтобы напоследок нас проведать,
Чтобы нам с тобой закрыть глаза.

***

Ночь без дна, без исхода и звука.
Холод каждой звезды во вселенной
Серым снегом ложится на землю,
Серебром в побелевшие руки.

Бетельгейзе, целуй меня в губы,
Чтобы память в крови замерзала,
Чтобы лодка ушла от причала
В ночь без дна, без надежды на чудо.

***

Прощайтесь. Три минуты на часах.
Мир на глазах переменил обличье,
Сгорел, как феникс, сбросил перья птичьи,
И по ветру пустил остывший прах.

И светлый Боттичелли, и Шекспир,
И Шуберт, – вместе с памятью сгорели,
Ушли с тенями прошлых поколений,
И в пустоте взорвался новый мир.

И тёмное отродье диких трав, –
Бродячий ветер с запахом полыни, –
Глотает облака, и небо стынет,
И к горизонту прячется в рукав.

А там тепло и тихо, и темно,
Свернись клубком, и спи себе до лета,
И слушай, как бродячий ветер где-то
Всю ночь стучит в закрытое окно.

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

В КОМНАТЕ ИЗ-ПОД МЕНЯ

***

Древнее, чем вид из окна, если долго жить
с видом на лес или реку, – только тоска,
в виде прохожих снов или пыли, на витражи
зрения лёгший; жилки червяк, что у виска,

пульсирует, особо, когда болит голова;
валерьяновые на вкус ливни занавесят окно;
в мире тесно от слов: фразы ненависти на слова
любви наползают, как русский на немца в кино.

Заведи себе кошку… Завёл. Девицу заведи…
Тоже. Но радости мало от той и другой;
сумерки хлопочут над кофе, и ещё впереди
мной раздражённая ночь, пни её ногой,

поставь на горох, на пост номер один в углу,
где перегорел торшер, как луна в облаках;
не думай, что живущему так уж надобно вглубь
себя, – там хтонический ужас, кандалы на руках

скрипача, медный шар на лодыжках стайера, что
взявшись сбежать из пункта А в пункт Z,
свалился в кювет, а по трассе летят авто,
и радужка, как от рапида, меняет цвет.

Завтрак – слово вечернее, как обещание сна
или сандальи на вырост, но ребёнок болен и слёг;
ну и что, что весна, и что, что в бору сосна, –
витязь-болван не распутал клубка дорог.

И когда поздравляешь с праздниками людей,
да хоть и от души, сердце дурное скрепя,
вспоминается древний грек, златоуст площадей,
говоривший – «таскать вам не перетаскать», пока скрипят

мимо жёсткие дроги; на этот свет
лучше глядеть в телескоп, нежели в микроскоп:
не видно бактерий с названием «люди», и нет
желания влиться и вылиться, выжить чтоб.

Но пусть будет светел хотя бы сумрак ночной,
в комнате из-под меня – как в коробке из-под
штучной, но сношенной обуви, величиной –
на ногу Творца; и снова ночник струит свой йод.

ЛИЦО

С годами лицо оползает, как склон
оврага, мимическая тектоника
преображает облик с худших сторон,
и глаза наголо, как у гипертоника.

Мыслящая медуза мозга за плитою лба
то дремлет, а то всколыхнётся, сама запуская
механизмы движения ядов, и сухая губа
утрачивает пластику речи; тогда тоска и

соглядатай зеркала начинают следить
за вами, обычно, в режиме ночного зрения,
словно сова за мышью; впереди и позади
жизни становится глуше на толику мгновения.

В своём дому, в монументальной постели, под ход
планет и стенных, мучительно и ежедневно,
человек наблюдает себя, – как он уплывает вперёд,
то головой, то стопами и под напевное

кружение уже заметельного снега или глоссы дождя;
навязчивое, как зуд, солнце пыль поднимет
в стратосферу люстры; мухи и осы сонно едят
кашу из вас, ни за что не пролетая мимо… И мнимо

становится самое лицо, глядя из всех
теней, морщин и щелей, и после тонет, как
камень в центре кругов, в подушке; и грех
чего-то посмертного – опять же – тектоника.

ДЮК

Два полуциркульных здания за спиной
статуэтки – что крылья, на голове дурачина-
голубь, засранец небес; ты ковыляла ошуюю со мной,
а одесную кряхтел и потел отёчный мужчина
бессмысленных лет, всё щёлкая по мере того,
как близь на зрачки и очки нам наползала;
в пальцах смягчалось, струясь, сладкое вещество
с изюмом, и позади серело пугливое зданье вокзала.
Летний ливень едва сбежал ступенями вниз
и исчез, как не было, с плеч заезжих прохожих;
галёрка отъевшихся птиц – жестяный карниз,
а ниже и ночью напишут: «Здесь пил Серёжа».
Далее – закоулки, задворки, коньки, чердаки,
гости и пьянки, ворованный бренди, докука
угрюмых утр, кривое похмелье не с той руки,
и всюду это – с орех и в венке – присутствие Дюка.
И, увидав памятник, ты нараспев молвила: «Тю,
тоже мне “Ника” для подлого голубя-патриота»,
и всё; тебе нравились Пушкин и дом-утюг,
с квартирой для скромного призрака; или рвота
прибоя на гальке, прогорклые беляши, пивцо,
вполне неважнец, и я обжигал свои глуби
«самостийнымы напоямы», не кривя лицо
в сторону бриза, что щепку у кромки голубил.

Ты снимала чугунные тени на мраморе тех
лестниц, что с нами взлетали к витражным отёкам
на исписанных ересью стенах, в углах для утех,
быстрых, как юность, когда мы бывали жестоки.
Старухи в чепцах и джинсах, подвальный дух
и привкус аптеки в старых дворах, кошачья
общественность под надзором тех же старух,
нетрезвые бормоты бельэтажей – иначе:
прикровенная ежедневная заспанная муть;
пропит последний примус, съедены хлебцы с тюлькой,
и этот вечный Дюк, эта местная соль и суть
торчит над бульваром топонимической гулькой.

***

Заново не начинай того, что сплюнуто, спето
и умерло в одночасье с тобою – тем,
кто стоял на перроне, в подветренное одетый,
курил и почти что не плакал в цветной темноте

семафорной; зелёным и красным рельсы мигали,
точно в них струился неон, и у груди
бубнила фляга со спёртым спиртом, и хали-гали
всему вокруг и тому, что станется впереди.

Мне всегда удавался подобный взгляд на
со мною происходящее, до иных дела нет, как
аисту до луны, хоть и гамбургской; в животе прохладно,
и всюду клянчат за бога ради и на конфетки деткам.

Люди мерещатся даже во снах, наяву же
их можно миновать, не заметить, уплыть
на остров Цитеру, как Г. Иванов; в луже
отражается гомон дня; стены длинны и скользки полы.

Есть монастыри для мытарей духа, но веры
в их целебный застой не достаёт, либо сведёт
суходрочка в могилу раннюю; можно в прыжке пантеры
откуда-нибудь сигануть, чтобы мир-идиот

расстроился и задумался, но ничуть не бывало,
цунами слизывают города, боинги скачут вниз,
воюет еврей араба – истончается покрывало
метафизики, каждый третий лунатик ищет карниз.

И выходит, что сам от себя улепётывая, уезжая
к новой жизни, к женщине ли или к реке
за лесом, для взора лестным, ждёшь какого-то урожая,
счастья в доступных формах, сжимая в руке

древко флажка с надписью «Все козлы», а сам-то
стоишь, где начал стоять, на перроне, ночном
от поездов, утекающих вдаль, и нежную Санта
Лючию цедишь, как Интернационал; и гном

рассудка всё приседает и скачет на месте впустую,
не в силах понять, что мёртв, но скорее – жив
как-то уже по привычке; и привокзальные туи
охаживает ветерок печали, как и советские витражи.

НОЧНИК

А.П.

Словно зависть между сестёр, меж тобой
и зеркалом недосказанность и немота
соглядатайства, sub rosa[1]; в окне на убой
тянутся тучи цвета обоев; за так и спроста

кошка свесила лапу во сне, всегда сама
по себе, а не для глаз и не для пенсне
луны, упавшей оливкой в мартини неба; тьма
апрельская пахнет сильнее во сне.

Утлый ночник мой на ножке от цапли – всё
один, в своём ар-нуво колпака, хоронит в углах
неврастеничные тени, втягивает и сосёт
разбавленный виски час полуночи; и мгла

стекает обоями, дышит там, невдалеке, за спиной,
как чужое присутствие, чьего намерения мне
не разобрать, как и не разгадать, что будет со мной, –
видимо, ничего, можно весну снова прибавить к весне.

И дни, как вход и выход, для сквозняков судьбы;
перемены возможны, когда лобачевские рельсы в икс
скрестятся ради любого крушения, а для пальбы
по воробьям каждый день подходящ; этот микс

и есть содержимое календарей, nota bene и дат,
все дни рожденья, твои и других, внимательно мстят
своей кособокой опрятностью: люди пришли и сидят,
дарят ненужное, пьют и бормочут, точно считают до ста.

Так можно стать шагреневой вещью, дурным тиражом
Правил для жизни, что делась куда-то опять, как очки,
зажигалка или самочувствие; дни ходят всё нагишом,
и дом как нудистский пляж, и на вешалке голы крючки.

Ещё пара или сколько там лет пробежит мимо глаз,
особо-то не здороваясь и не возвращая долгов;
и замечательно – именно то, никакое, но в самый раз,
как и задумал Господь, а я воплотил незадорого.

---

[1] шёпотом (лат.)

БУКОЛИКИ

Кот-верхолаз и сова-аутистка на мир
смотрят, как в телескоп, но с разных сторон:
одному повсюду видится мирный Памир,
другой же – болтливое скопище белых ворон.
В лесу упадёшь на траву, запнувшись о пень
и локоть ссадив – как близко сидит мошкота,
вращая глазом и сяжкой – не каждый день
здесь падаю я; от листвы в вышине тошнота.

Мне наплевать на микро- и макро-среду,
бабочки хороши, как тканей полётный газ,
или мускус жуков; и бубнит алаверду
цикаде острожный кузнец – самый раз
о чём-то задуматься, кроме обычных вещей,
натур-философия вся собралась и ждёт,
сидя, скача и лёжа; и куст-кащей
шепчет коряге дурное, и пень-идиот
пытается расцвести неизвестно кому,
паук чернильной каплей стекает по
лонжам – авосечный осьминог по уму;
центростремительный мир, как у кассы в сельпо.
Как всё бесстрастно, бессмысленно и хорошо;
хочешь – глотай алкоголь, не то – деву зови,
чтобы цветочек ей, пока та нагишом
и наклонясь, подарить, если вы визави.
Как всё конечно, снаружи, внутри и везде;
я бы любовь позвал, но ушла в себя,
счастье спилось, сердце слиплось, звезде
разума уступив; одни вокруг теребят
других и своё насекомые, но и им –
по движеньям и рвению судя – начхать
на мир, меня и сову; и кот-верхогляд нелюдим
на свой манер; а там, далеко, ольха
в парке одна соловеет, и не Бог весть
откуда прибившийся нахтигаль, позабыв
фиоритуры, не прекращает нервически есть,
до голубей опустившись, до *ихней* судьбы.
И я до своей, задуманной, не доберусь:
то выше, то ниже, то вбок, и лишь иногда
в сердце, в глаз или в пуп; и сколько марусь
утопло от этого – знает только вода.
Вот и дошли до константы в природе вещей,
хотя, не войти дважды в один и тот же Стикс…
Бывало, с Ксанфом у моря сидели – вообще
бессмысленно время убили. Вдали звучит Мистер Икс.

ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Мышь учит тишине, кот – темноте,
слова и буквы – паузам на листе,
смерть – ничему, кроме удаления.
Человек кружит в завитке переулка, глух
к самому себе и, меж шагов, не вслух,
имена произносит и даты, – преодоления

чужака внутри, далёких в ближних; и это
вроде гимнастики Мнемозины; с того света
памяти появляются лица, осанки, походки,
случайностью жизни стёртые, страстью залитые,
точно слюной Помпеи живые стены и плиты;
подчас, увильнувшие в Вечность тебе как погодки.

Они уже ничего не скажут и не подведут
к ларям и дверям разгадок, рассядутся там и тут,
и станут длинно молчать, ногу на ногу, и не
будут пугать и тревожить, что призрак ночной,
как полотном экрана пользуясь тёмной стеной,
за каковой никого и никогда не бывало в помине.

Диалог невозможен, одни догадки и спесь
рассудка, покуда он в тонусе и роет здесь,
взыскуя общих примет и шпаргалок с того света,
где холодом дышит близь и бликует даль
мрамором; где, как в Лейденской банке, печаль –
и та одинока, но никому не расскажет об этом.

Я никого не наказывал строго, и оттого
всех простил, подмахнувши разом, и своего
не ища, как не ищет любовь земная.
Нет в том лицемерия, но и благодушия нет,
и право любви – выбирать, кого на тот свет
заберёшь, себе о любивших и любящих напоминая.

***

кошке нечего делать она лежит
как куда-то стремится вечный жид
у тебя на крае ресницы слеза дрожит

новый бесснежный январь отворяй ворота
в горле икота в небесах высота и пустота
и калитка к всевышнему уныленько заперта

приласкай чужую собаку с её улыбкой скажи
хозяйке что-нибудь чтобы запомнила виражи
твоих смыслов и шнурок на туфле бантиком завяжи

я вышел из дому в полночь был дождь были
слезящинеся от отсветов гладкие автомобили
про которых хозяйки бежав куда-то забыли

металл зимы со случайной крупкой на
капотах и крыльях округа пуста и больна
и тяжко вздыхая во сне отдыхает страна

и так плевать на невзгоды эти на эту мразь
в деревне углыковка егерёк жил смеясь и молясь
я с ним поднимал гранчак и дочь его мазь

втирала мне в спину и душу и пахло тогда
хвоей спиртом и мёдом а потом туда
уже не ходили ни автобусы и ни поезда

ВЛАДИСЛАВ КИТИК

ЛЮБОЕ МЕСТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯТЫМ

***

Что здесь будет три века спустя
Или больше? Подобье Содома?
Пустошь в слёзном желанье дождя?
Пепелище от отчего дома?

Но исчезнут зато навсегда
Грусть, пылящая по коридору,
Близорукость людского суда
С суеверным его наговором.

От печали запнётся рояль
В ожидании новых пришествий, –
Если может считаться печаль
Оправданием несовершенству.

Побывав на изломе эпох,
Прошлой жизни растратив терпенье,
Отзовётся последний мой вздох
Первым криком в грядущем рожденье.

Я тонул, но забыл, что тону,
Я сгорал, но не помню про войны.
Лет на триста вперед загляну
И засну, как младенец, спокойно.

ДОЖДЬ

Бесцельность удлиняет ожиданье,
Вчерашний день становится преданьем,
Строчит бестселлер к завтрашнему дню
Дождь, растянувший время, как в камланье,
Из перспективы сделав размазню,

Грозя, что смолкнет только с пятым актом.
Он, не спеша, отсчитывает такты,
Расшевелив сомнений метроном.
Уже не ждать – согреться бы хоть как-то,
Уже не думать больше о больном,

Не зарываться в матрицы и числа.
Как в лабиринте, логика зависла,
Не объяснив природы баловство.
В самой любви – и то не много смысла, –
Она уже случилась вне его.

***

Хоть в этом мире всё, как есть,
Приди ко мне, благая весть,
Грянь с потолка, от фонаря,
Спустись на крыльях почтаря,
Ужаль, как вольтовой дугой,
Стыдом от мысли неблагой.
И я сменю репертуар,
Подумав, что не буду стар
До дня, когда мне жизнь: «Пора!..», –
Как милосердная сестра,
Не молвит, погасив свечу.
Конечно, всё, чего хочу,
Не то, что мне предрешено.
…Но ведь поверю всё равно.

КАРТИНА

Взгляд, на себя направленный в упор,
Или обзор того, что дальше взгляда?
Лесть не намного лучше, чем укор.
Как «надо», знают все!
А – как не надо?

Труд или трудность признак мастерской? –
Как отделить беспечность от заботы,
Когда к холсту, как пчёлка, день-деньской
Летает кисть: работа – не работа?

Разлитым скипидаром пахнут сны,
И краской – быт: безделье – не безделье?
Бесценность будет степенью цены,
Когда возникнет, не являясь целью.

И потому весна белым-бела,
Что для неё морока – не морока.
Летает кисть, усердствует пчела,
И расцветает вишня раньше срока.

СТАРИК

День рябит светотенью забора,
Он резонно считает: «Так надо…».
Точка зрения – точка опоры,
Чтобы неба коснуться из сада,
Словно яблоня веткой, бессонно
По неведомой воле растущей.
Прикрываясь ладонью от солнца,
Он глаза промывает грядущим.
И в сакральном таком преломленье
Тын из прутьев с вишневой камедью
Виден как золотое сеченье
В столкновении жизни со смертью.
Всё костлявой с косой подопечно,
Кроме времени в лётных кочевьях.
И старик это знает, конечно,
Создав сад из плодовых деревьев.

***

Прищурив око, палец послюня,
Крылатый лучник целится в меня.
Что для него забава, мне – судьба.
Капризно оттопырена губа,
Слегка приподнят дерзкий подбородок,
Что в краску скучных жен и сумасбродок
Вгонял.
Но блажь провиденья слепа
И тяжела его определённость.
Чем обернутся лёгкий флирт, влюблённость
И связанная с нею болтовня?
Крылатый лучник целится в меня.
Он горд, кружа назойливо, как шмель,
Призваньем бить, не промахнувшись, в цель.
Я не хочу, я не взывал к нему
И без него жилось, так почему
Шальной остр*и*той тонкая стрела
Внезапная, как взрыв, как луч, светла,
Страшна, как боль, мучительна, как стыд,
Отпущена уже?!
Уже – летит…

***

И вечер, что растрогал иву,
И прошлое, с которым квиты,
Для нас и памятны, и живы,
И потому сто раз подшитый
Пиджак обнимет спинку стула,
С былой горчинкой звякнут тосты.
Я буду старым и сутулым,
А ты ворчливою и толстой.
Но мы пойдём, как прежде, мимо
Рядов мешочного базара,
Церквушки, бережно хранимой
Святой Марией, вдоль поджарой
Казармы, – по тому же кругу,
Чтоб я, над будущим шаманя,
Опять твою сжимал бы руку
И согревал в своём кармане.

***

Проснулся вечерний сверчок,
Нашёлся луны пятачок
За облаком,
и осторожно
Прошёлся по сердцу смычок.

Чтоб тайну гармонии впредь
Скрипичным ключом отпереть,
Мы будем смотреть друг на друга
Так, словно друг в друга смотреть.

В задумчивости, как во сне,
Тебя ли я вижу во мне,
Себя ли в тебе – отражённой,
Как в зеркале, в тёмном окне?

Но, чтоб расставания мгла
Застать нас врасплох не могла,
Не будем согласно примете
Смотреться в одни зеркала.

***

Ещё февраль, а вечер – задушевный,
Горит фонарь, – конечно же, волшебный, –
Над ним звезда, – заветная, конечно, –
Плывёт по небу в хороводе млечном.

А ты: чем ты живёшь? Скучаешь как ты?
Здесь тает время, зацветает кактус,
Относит в море бриз печаль и тени.
Ни бегства от разлук, ни угрызений,
Ни притяженья в противостоянье…
Конец зимы.
Любовь на расстоянье.

***

Давно, усталый раб, замыслил я…
А. Пушкин

Я жил так долго, что уйти готов
В обитель чистой неги и трудов.
Ну что ж, дуди в походный свой рожок,
Бери свой посох, пей на посошок,
Оббей пороги в приступе тоски,
До пят сотри о камни каблуки,
Считай, что оказавшись не пустым,
Любое место может быть святым.

И потому перо любой строкой,
Взяв за руку, уводит за собой.
Чтоб привести туда, куда идёшь.
Там станет путь на путника похож,
И дни творенья там не сочтены,
И сбывчивы и невесомы сны…

Но с выбором помешкай на меже:
Стихи там будут не нужны уже.

ГАЛИНА СОКОЛОВА
ЭЛЛА МАЗЬКО

У ПОПА БЫЛА СОБАКА…
повесть

…Первая жена лупила его сковородкой, две другие обливали помоями, а четвёртая выменяла за его счёт шикарную квартиру у моря, на Французском бульваре, выделив ему камору без удобств, окон и дверей, хотя и в центре города. Прочие же супруги – официальные и неофициальные – открещивались даже от перекрёстков, где их свела судьба. Да и дети его общаться с ним не хотели.

И вот на этого-то человека запала моя бывшая!.. Ума не приложу, как такое могло с ней случиться. Впрочем, женщину, как Россию, умом не понять. Особенно, когда верх у неё берут импульсы.

Мы с Иркой прожили почти двадцать лет, и я от неё только и слышал: «Ах, Платон, ах, две половинки». Она меня так заколебала, что я взял, да и разыскал Платонов «Пир». Почитал. Забавная вещица, могу сказать. Из истории, что он там насочинял, выходит такое: «…когда-то наша природа была не такой, как теперь. Прежде всего, люди были трёх полов, а не двух, как ныне, – мужского и женского. Ибо существовал ещё третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих. Сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, – андрогины. Эти андрогины сочетали в себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского…». Это что ж выходит – третий-то пол был гермафродиты?! То есть, не только третьего пола, но и третьего сорта людишки? Так, уже интересно!

А дальше-то, дальше! «…Тело у них было округлое, спина не отличалась от груди (это Платон говорит, не я!), рук было четыре, ног столько же, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых (никак мне в таком виде Ирка бы не понравилась!). Голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, – одна. Общая. А ещё ушей имелось две пары, срамных частей две (о, это уже покруче будет)…» – ну и так далее. Ничего себе наворотил! Шутка богов?! Или бред Платона. Понадобилось гомосексуальным грекам оправдание под даже им непонятную, но весьма поощряемую тягу, базу подвести. И сварганили выморочную теорийку. Были описанные ими монстры могучи сверх меры, гордыня и великие замыслы их просто распирали. Потому и на власть богов они стали посягать. Оскорблённый Зевс взял, да и разрубил каждого пополам. Причём разрубил вдоль. И вот с тех пор якобы левая и правая стороны с вожделением стремятся друг к другу. А когда встречаются, тут-то и происходит их магическое слияние! Но главное, что я оттуда выудил, оказалось самым интересным. Только, эх, где ты раньше был, Платон! Какой железный аргумент от меня уплыл из-за этого – я б им супружницу мою на обе лопатки положил! А заодно и всю слюнявую часть человечества: «Половинка моя, половинка моя, по тебе скучаю я!». Да не читала она Платона, просто вслед за другими долдонила! Там, в Платоновом «Пире» всё элементарно раскладывается: ежели мужика на две половинки разрубили, значит, – что? Правильно – мужик к мужику, баба к бабе. И, по Платону, это самая что ни на есть распрекрасная, даже изысканная штука. А в итоге-то получилось полное непотребство – это по-ихнему, по-древнегречески. Женская половина свою мужскую взялась отлавливать! И наоборот. Что, оказывается, вполне себе презиралось и считалось у хвалёных классических греков прям-таки низменным плебейским делом. Потому как мужчины, охочие до женщин – блудодеи, а женщины, падкие до мужчин, – распутницы. Вот и нате вам – получите, распишитесь! Так кто ж тут намудрил на самом деле – Платон или те, кто слышал лишь звон?!

Только к этой теории половинок позже ещё и романтики Ренессанса пристроились. И у них вышло всё с точностью до наоборот. Благо, разыгрались в «испорченный телефон». Озабоченные трубадуры-менестрели напустили туману про «неутолимую жажду любви», только уже исключительно мужчин к женщинам и женщин к мужчинам. И пошло-поехало. Это ж сколько веков нас зомбируют этим клише массового сознания! Расхожую банальность маниакально твердили все, а Ирка в особенности: «Найти свою половинку!». Как бы закладывая установку на заведомую свою ущербность. Мы с Иркой, а позже и с нашей подросшей Юлькой об этом часто говорили. И я доказывал, что каждый из нас – это отдельный, завершённый в себе совершенный мир (в идеале, конечно). А самая совершенная форма в природе – шар.

Которому – да, наверное – нужен другой мир, созвучный! Но уж никак не половина, а весь, целиком. (Невольно представляется графический образ в виде двух полукругов. И тогда состыковка происходит лишь по узкой линии диаметра – сотрётся ли она, срастётся ли – большой вопрос!). Проекция шара на плоскости – круг. А более или менее полное совмещение – это наложение половинок кругов друг на друга. И чем миры созвучнее, гармоничнее сочетаются, даже по контрастности, – тем глубже взаимопроникновение и слияние. И тем больше их общая и объединяющая часть. В таком процессе у каждого может остаться больший или меньший сектор собственной «территории». А бывает и полное слияние – «растворение» одного в другом. Трактуйте это, если угодно, даже как взаимное исчезновение, раз уж «он» стал тобой, а «ты» – им. Это – теоретически. А практически, вы все равно существуете каждый сам по себе, хоть и меняясь. Но в любом из вариантов возникает нечто третье, будь то ребёнок или что-то другое, созданное этим самым слиянием. Атмосфера гармонии, скажем. А в результате вышло у нас с Иркой, как у тех древних греков: хотели как лучше, а получилось как всегда! Разойдясь со мной, она нашла себе совсем уж эллипсоподобного типа. Некоего Абрамова. Крутился тут один по журнально-газетным редакциям. Нечто плотное с громадной головой и в таких же очках. Лицом такой весь круглый, улыбчивый – ну само добродушие. Кабы не капризный изгиб сладострастных губ. А за очками – льдистые глаза неопределённого выражения. Впрочем, некоторые редакционные дамы были от стишат Абрамова в каком-то жеманном восторге. А меня ну ничуть не впечатляло. Как и скользкая его привычка говорить то ли в шутку, то ли всерьёз. Да ещё эдак демонстративно, будто по плечу тебя барски похлопывает. Тоже мне – Аполлон с пересыпского Олимпа: «О, смертные, внимайте моей сладкозвучной лире – всемилостивейше дозволяю!».

Поэзия в те годы была ещё в моде. А мода, как известно, мадама привередливая. Так что надолго с ним дамы не задерживались. И всякий раз, когда этот тип являлся в Ирпень, где тусовалась писательская алкобратия (братия, начинавшая пить раньше, чем писать), он оказывался неизменно холост. Чем и привлекал очередных любительниц муз. Может, потому и моя Ирина Юрьевна влипла, как муха в тенета? Она на стишках всегда была малость свихнутая. По молодости, признаться, и я словоблудием грешил, – начитал парочку, подыграл восторженного слушателя – и ты уже рыцарь на белом коне! А может, моя бывшая просто ударилась в свои извечные иллюзии насчет Платоновой «божественной лиги». Или вообще съехала с катушек – у них тоже, как выяснилось, бывает кризис среднего возраста. Тем более, что с развода прошло уже несколько лет. Разбежались мы мирно. Остались, как говорится, друзьями. Да и дочь, опять же. Так что меня продолжало интересовать, как там у неё дальше сложится. И, честно сказать, я всё пытался понять, какого ж рожна ей в нашей-то жизни не хватало. В мозгах крутил и так, и этак. К определённому выводу так и не пришёл, хоть много раз подступался и с ней обсудить. Но оно так и не выговорилось. А ведь когда только начиналось, думал, что всё про неё понимаю. Но нет, оказалось…

Словом, принялась моё «второе “Я”» на полном серьёзе курсировать к этому очкастому из Киева в Одессу. Нет, она ещё продолжала красоваться на первом канале. Только раньше она в работе прямо фанатела. Где ей было просто на роль жены да матери переключиться: мы ж вечно заняты, у нас же ж ненормированный редакционный режим! А теперь гоняла туда-сюда, даже невзирая на своего домашнего кормчего. Возмещала задавленность Бабиными кандалами. Баба с большой буквы – это моя тёща. Она, змеюка чванливая, сама так себя называть велела. И вдруг – нате вам: моя вся такая беспривязная Ирка – при кухне, стирке да уборке! И всё для того наглого узурпатора. Полный отпад!

Ну и что путного вышло? Ладно, пусть сама расскажет.

ЧАСТЬ 1

1

То, что миром правят идеи, я знала ещё со школьных лет. Я была записана во все библиотеки города одновременно, читала много и быстро, периодически делая пометки в общей тетради, которую считала своим личным дневником. Хотя на её шероховатых, с лёгкими волокнами древесины, страницах не было никаких личных записей. И моё перо, называемое в нашей среде «скелетик», ныряло в чернильницу-«непроливайку» лишь в исключительных случаях. К примеру, если я попадала на что-то из ряда вон выходящее. Обычно либо из Демокрита, либо из Гераклита. Или ещё кого-то из древних, до кого моим сверстникам не было никакого дела. Их больше волновали Мопассан и Золя, имён которых они, естественно, не знали, но зато на школьных переменках то и дело конфузливо пересказывали содержание отдельных запретных страниц. То, о чём там было написано, казалось стыдным. В жизни мы пока ещё имели об этом самое смутное представление, хотя многие ютились в одной комнате с родителями. Рождение братьев и сестёр воспринималось всеми нами как нечто вполне естественное и никаких досужих домыслов не вызывало. Тем не менее, когда в восьмом классе мы с моей подружкой Галкой Грибановой обсуждали её встречи с Вовкой из соседнего двора, на мой продвинутый вопрос, целовались ли они уже,

Галка с ужасом ответила: «Ты с ума сошла! От этого дети бывают!». Про всевозможных Демокритов Галка и слыхом не слыхала: она жила в обычной рабочей семье, где папа частенько приходил домой под мухой и чуть не до утра травил сальные анекдоты. Но сакральная их информация то ли не доходила, то ли в расчёт не бралась. Мои же собственные встречи с представителями мужского пола ещё не вступили даже в начальную фазу. Соответственно, высокая философия и жизненный опыт в единой упряжке не брели. Правда, заинтригованная чувственной французской крамолой, я взяла с библиотечной полки «Красное и чёрное» и проглотила от первой страницы до последней. Но ничего смутившего меня в ней не обнаружила, даже наоборот, подивилась, как можно привычными словами так детально и просто передать человеческие чувства. Правда, это уже было не в восьмом, а в десятом классе.

Короче, я читала много, благо библиотечные фонды в городе были богаты. А стремление понять как себя, так и извивы душ человеческих привело меня на факультет журналистики. В нашем маленьком волжском городке, откуда шёл наш род по материнской линии, ни университета, ни тем более факультета журналистики не было. А поступать в популярные там «пед и мед», не говоря уж о вовсе меня не интересовавшем политехе, не хотелось. И я двинула в златоглавый Киев – мать городов русских. Поступить там было легче, чем в обеих столицах Союза. Тем более, что страна монолитна, разделение по республикам достаточно условно, и основным языком высшей школы, естественно, был общегосударственный русский.

Но как непросто оказалось ремесло пишущего! Где-то в глубине меня строчки складывались легко и непринуждённо, но… Стоило взяться за перо, являлся Его Величество Ступор – и дальше дело не шло. Может, потому каждый, способный на бумаге выразиться убедительно и красиво, вызывал во мне смутное почтение, от которого в голове становилось гулко и моторошно, будто в ней поселился пчелиный рой. А уж если кто-то слагал стихи… Стихи были для меня религией. От них сладко замирало под ложечкой, а зыбкое пространство вокруг приходило в странное, ничем не объяснимое движение. Оно как бы расширялось, покачивалось и порой даже вспыхивало летними голубыми зарницами, являя моему изумлённому взору фантастические голографические видения с травами, с прозрачной, как хрусталь, водой, с раскатами грома, глухими и мощными. И тёмно-свинцовыми тучами, которые, заслоняя солнце, то ползли, цепляясь лапами за крыши домов, то рассыпались, превращаясь в тяжёлые капли. Поначалу они шлёпали ими по листьям – а потом звонко, разрезаемые зигзагами молний, вдруг обрушивались затопляющим ливнем. Мне казалось, что вызвать такое состояние было под силу лишь тому, кого обнял и отечески поцеловал в макушку сам Бог. Ибо такими людьми руководили силы не от мира сего. Я и замуж-то вышла за парня, который был не по зубам ни одной из моих сокурсниц. Немалая его эрудиция заворожила меня строфами из Овидия и Верлена. Он и любые кроссворды лузгал, как семечки. А кусачие свои фельетоны отливал и клепал, как Гефест мотыги – играючи. Вызывая в городе долгие пароксизмы смеха. Учились мы на одном факультете и, как мне тогда казалось, понимали друг друга с полувзгляда, с полувздоха. Даже кожей. Без слов вообще.

Жили мы с ним, не очень-то задумываясь о быте – жизнь вместе казалась нам актом удивительного творения, чуждого однообразной прозы повседневности. Некоей доселе невиданной миром конструкцией. Как если бы в вакуумную пустоту, где обитал Великий Потенциал, ворвался божественный бозон Хиггса, который и есть истинный Конструктор Вселенной. Ворвался и начал свое действо – создание Мировой Курицы из Первояйца. Курицей стал наш союз, яйцом – окружающий мир. Из него мы вышли первозданно и его же, только уже в обновленном виде, должны были вновь переродить сами. Явление цыплёнка у новоиспечённой, пока не имевшей даже собственного курятника, курицы, хоть и отпраздновали шампанским, стало в Проекте первой поправкой, сделанной жёсткой рукой неумолимой реальности. Цыплёнку больше, чем курице, оказались нужны пища и кров. И эта священная суета, закрутившая нас, как-то очень естественно и плавно перешла в руки моих родителей. А когда отчётливо проявился и факт того, что связи между сторонами этой куриной конструкции не смыкаются, отчего не вполне равнобедренный треугольник в идеальный круг семейной ячейки вписываться не собирался, я, пряча глаза, вернула кронциркуль в руки Судьбы и… развелась. Первая попытка успехом не увенчалась.

2

Моё поколение верило в любовь. Именно она двигала нами, как пешками по шахматной доске. Она бросала клич: «На целину!». И в палатках посреди заснеженных неудобий наши волосы намертво вмерзали в старенький ватный тюфяк. Она призывала на комсомольские стройки – и мы, отмахиваясь от несносной мошки, распевали гордые песни возле дымных таёжных костров. Любовь двигала нами, когда мы, отчаянно экономя, теснились вдвоём на одной раскладушке, потому что снимали жильё у скопидомной бабки-армянки, которая брала плату за уголок в общей с ней комнате, как за отдельную. В студенческом общежитии для семейных пар мест не было, а вдали друг от друга мы жить уже не могли. Тем более, что жили мы в десяти метрах от университета, где оба учились. На многолюдных форумах вместе с начинающим поэтом Женей Евтушенко мы рвали в кровь свои души, скандируя в те годы его строфы:

Внутри твоих следов лёд расставанья!
Ну поверни, ну поверни следы обратно!..

Любовь вела нас по жизни, будто поводырь слепого, и без неё жизнь казалась пресной, как трава. Ночами, много позже, опрокидываясь в сон – глаза закрыты, руки привычно, как учили в пионерлагере, поверх одеяла, – вместо того, чтобы думать о дочкиных экзаменах и о её зачётах в университете, где ещё до развала Союза начался исторически-истерический крен в сторону исключительно украинского языка, мне стыдно в этом признаться, но я по-прежнему грезила о любви. Я размышляла, что если миром правят идеи, то почему бы одной из них не воплотиться в образе некоего носителя лиры?! Ладно, пусть даже не поэта, но, чтобы любил меня, невзирая на мои слабые способности варить настоящий украинский борщ.

Почему именно украинский? Дело в том, что с родным Жигулёвском я порвала сразу после дипломной, и родители, чтобы не оставаться одни в далёкой от меня российской глубинке, обменяли свою очень по тем временам приличную, в районе набережной, квартиру сначала в когдатошнюю столицу Украины – Харьков, а позже – ко мне в Киев. После чернобыльской катастрофы это было несложно, тем более с доплатой. И теперь у них на двоих была полнометражная трёшка на Лесном массиве, прямо возле Торгового института и конечной станции метро, в центре всей транспортной развязки. Так что места в этой квартире с лихвой хватало и на меня с Юлькой. Именно потому я так легкомысленно и великодушно при разводе уступила бывшему мужу нашу общую с ним однокомнатную на Владимирском спуске. Впрочем, не получив за это даже спасибо. Мой жест был принят как должное. Квартиру благоверный тут же загнал, и на вырученные деньги приобрёл «девятку», домик в родном Ирпене и… новую жену. Свято место пусто не бывает!

Наверное, на небесах моё тайное желание заинвентаризировали во вселенском гроссбухе. И когда, отправляясь в очередную командировку, я первой вошла в своё купе поезда «Киев – Одесса», то прямо со стороны своего места увидела лежавшую на столике свежую, будто только с куста, пунцовую розу. Она была осыпана мелкой росой. Сердце у меня встрепенулось, но тормозом разума я погасила его порыв. Роза – случайность, просто кто-то её забыл.

– Ты где остановишься? – выглянул из соседнего купе знакомый корреспондент. В нашей среде его звали Борюнчиком. Он, как и я, был в Киеве из пришлых, а в журналистике оказался случайно. Просто нравилось привязывать строчку к строчке, в столичной же прессе всегда нехватка рабочих ног. Ноги у Борюнчика были резвые, потому он зарабатывал на договорных началах. То есть в журнале ему шёл рабочий стаж, но получал Борюнчик только гонорар, без зарплаты. В общем-то, с Бориной энергией при таком раскладе заработать было несложно. Конечно, меньше, чем в своём Кривом Роге, где работал горным инженером. Но инженер – ремесло, считал Борюнчик, а работа в журнале – настоящее творчество. В нашем деле, да ещё и в Киеве, ему было куда интереснее.

– У меня знакомые в «Пассаже», так что не найдёшь ничего приличного, я номерок тебе сварганю, – весело пообещал Боря и исчез.

Была ранняя весна, туристический сезон ещё не начался, и проблем с поселением не возникло. Правда, вечером я всё-таки набрала номер Бориного телефона, и абонент отрапортовал, что материал для его журнала собран и это будет ещё та бомба!

Позже я прочитала ту статью. Действительно, интересно. О том, что в Одессе создали какой-то филиал фантастического медицинского центра, где работают лечебными частотами по новым технологиям Академии наук СССР. В числе учредителей Центра значились весьма известные учёные, имена которых знала даже я.

3

Это было время, когда на замороченные политикой головы людей свалилось множество статей, книг, лекций про НЛО, фантомы и всяческих барабашек. И пока бывшие коммунистические вожди втихомолку дерибанили союзное имущество, в каждом обычном доме и на каждом перекрёстке пересказывались невероятные факты. Что происходили пусть не с самими рассказчиками, но с очень авторитетными их знакомыми, которые (уж конечно!) не сочиняют! В дополнение ко всему, с экранов телевизоров «давал установку» демонический Кашпировский, убеждая верить в исцеление от всех болезней вплоть до раковых опухолей. А ещё один – красивый и седовласый Алан Чумак – совсем недавно московский журналист, водя руками и глядя на телезрителей серьёзными и умными глазами, вовсе молчал. Тоже «давал установку!».

Многие в те годы кинулись в церкви. Многие – из церквей. Масса любознательного люда подалась на курсы странствующего астролога Павла Глобы, враз ставшего знаменитым. Людям не терпелось разобраться в удивительной небесной механике, которая, оказывается, давно предсказала неожиданный развал огромной и сильной страны СССР.

Древнее платоновское утверждение, что миром правят идеи, на рубеже веков приобрело вдруг неожиданно-вещественную констатацию. Получалось, что некто в облаках, забавляясь шахматами на карте мира, именно в этой части суши объявил сам себе мат. Было это странно и наводило на совершенно нестандартные размышления, отчего глаза сами собой тянулись к папиросным страничкам завезённой откуда-то из-за бугра русскоязычной Библии – небольшого формата книжечки цвета «электрик».

– Завтра у меня один из создателей того фантастического Одесского медицинского Центра. Его Витькой зовут, Абрамовым. Приходи, не пожалеешь! – сказал Борюнчик по телефону.

Говорю же, наше поколение было двинуто на каком-то необъяснимом ожидании чуда. Причём неважно, откуда оно явится. В эпохальном смысле мы свято верили, что во всём мире вот-вот наступит Коммунизм. Это было совершенно непреложно. В личностном – что, того гляди, произойдёт нечто такое, отчего жизнь станет совсем безоблачной. В чём оно выразится, никто не знал, но представлял каждый по-своему. Может, на работе повысят зарплату. Или переведут куда-нибудь на более престижное место. Или квартиру, наконец, расширят. Потому что, сколько же ещё-то ждать? И так десять лет протикало, а всё – «первые на очереди».

Новая квартира была мне уже ни к чему – жизнь на Лесном массиве, несмотря на внутрисемейные трения, вполне меня устраивала освобождённостью от бытовых забот. Работа и зарплата – тоже. А что ещё нужно для счастья пусть не очень молодой, но всё ещё в неплохой форме, вполне симпатичной женщине? Ну, ясное дело – любви! Этого мощного таинства, к которому инстинктивно тянется всё – от цветка на земле до птицы в небе.

О Борином приглашении я начисто забыла и, естественно, никуда не пошла. Тем более что странный намёк на чудо в виде розы в порожнем купе пока ещё не сработал, и ничего сверхъестественного в моей жизни не произошло.

Впрочем, не заставил себя ждать и второй камешек в этот же огород. Не менее загадочный. Сразу по возвращении из Одессы. Я «делала базар» на Лукьяновском рынке, когда женщина с цыганистым, крупно изрезанным морщинами лицом, вклинившаяся со своей корзиной цветов почему-то посреди прилавков с многоцветной снедью, вдруг сунула мне в руку огромную, с чайное блюдце, лохматую розу в мелкой росе.

– Темна вода во облацех, – проговорила она невнятно и вдруг, словно затвором, звякнула сердоликовым браслетом на запястье: – Купи!

Киев не Одесса. Здесь розы, да ещё в самом начале весны, кусаются. Кроме того, такой цветок в «авоське» среди свертков мяса, картошки и вялых стрелок зелёного лука мне явно был ни к чему. Я энергично замотала головой.

– Дёшево отдам, – не отцепилась женщина, поняв меня по-своему. – Или на, возьми так.

Побренчав монистами, она с трудом выбралась из-за своих корзин – ни одной розы, подобной той, что она протягивала мне, там больше не оказалось.

– Не отказывайся. От своего счастья откажешься. Бери-бери.

И прямо-таки сунула роскошный цветок в мою ладонь. Он обдал меня чарующим ароматом.

– Ну, спасибо.

– На счастье, сестра. Совсем-совсем скоро твоё счастье, – выстрелила она в меня своим чёрным глазом. (Второй знак судьбы?).

4

Что-то задержало меня на работе, и на Оболонь на день рождения Борюнчика явилась я затемно. Неля, Борина жена, открыв дверь, тут же выговорила мне за опоздание, потому что все уже разбежались и лишь в прихожей топтался незнакомый мне полноватый мужчина, с которым мой приятель всё не мог наговориться.

– А, это ты, Ирка, – обрадовался Борюнчик и, кивнув на гостя, представил: – А это Витёк Абрамов, я тебе о нём рассказывал.

Крупный и в силу лет совсем непохожий на «Витька» мужчина протянул крепкую руку:

– Абрамов.

Он довольно напористо скользнул по мне и остановил взгляд на принесённых мной цветах. Они отразились в его глазах.

– Вы всегда носите в зрачках ирисы? – не удержалась я.

– Только когда они в ваших руках, – в тон мне отозвался «Витёк», спрятав голубоватые льдинки глаз под бронзовый мех бровей. И ушёл. Только звук подошедшего лифта ещё с минуту дребезжал и звякал…

– Слушай, он классный мужик, – заметил Боря, что-то прикидывая в своей крутолобой голове и глядя на меня оценивающе. – Ты же любишь поэзию?

Он разлил по чашкам кофе и, подвинув одну в мою сторону, тоном заговорщика засвидетельствовал:

– У него то ли четыре, то ли пять поэтических сборников. Он и в Москве печатается. И в нашем журнале тоже. Только мы его нечасто публикуем, он на русском пишет. Одессит же. А в Одессе он ударной медициной заправляет. КВЧ-центром. Ну, тем, про который я писал.

– А ещё он кристально порядочный, – стрельнув в меня лукавым взглядом, подхватила во всём согласная с мужем Неля. Её семейная идиллия в том и заключалась – всегда держать сторону Борюнчика. Я немного смутилась.

– Кристально?

– Абсолютно, – почесал в прорези старенького джемпера свою шерстистую грудь Боря. А Неля, обхватив мужа за плечи, впилась в меня своими тёмными, как кофейные зёрнышки, глазами. Ребёнком её подобрала в войну киевская семья – вырастила, выучила, и теперь благодарная Неля стремилась всем удружить, всех поженить и всех перезнакомить.

– Правда-правда, – закивала она кудлатой, как у болонки, головой, ещё теснее прижимаясь к Борюнчику. При этом голова её была на порядок выше Бориной, так что кругленький и невысокий муж примостился у неё под мышкой – точь-в-точь два приложенных один к другому шара. Один побольше, другой – поменьше.

Эта семейная пара возникла после того, как, пройдя курс противоалкогольного лечения, нештатный корреспондент одной из столичных газет Боря Худан сотворил роман об алкоголиках. После чего из шахтёрской среды, где подвизался в горных инженерах, перебрался в Нелину киевскую «трёшку» с намерением стать писателем. Учуяв, что с Бори толк выйдет, Неля взялась за дело со всем пылом уходящей молодости: из мужичонки в облезлом малахае и в старом пальтеце с рукавами чуть ли не до локтей, она довольно быстро создала почти респектабельного господина, которого и подвигла регулярно мотаться в Москву. Правда, пленить столицу нашей Родины Боре не удавалось, и чуть позже, когда наши отношения стали совсем приятельскими, я срежиссировала ему издание – тема была как раз востребована. Правда, позже Борюнчик всем хвастал, что тиснули его прямо из потока, но это уже Бог с ним.

– Слушай, Ир! А Витька-то забыл у меня очки. Взяла бы ты их – будешь в Одессе – и звякнешь. Он и прибежит.

Я примерила очки и чуть было не проскользнула сквозь их широко расставленные дужки.

– Ничего себе голова, – пробормотала я, укладывая исполинский причиндал в сумку.

– Говорю же, он умный, – с готовностью подтвердил Боря. – Ты с ним обязательно созвонись. Это же XXI век! Не уколы, не таблетки, а частоты! Космическая медицина! Это же сенсация! Возьмёшь интервью и – ка-а-к грохнешь! Вот будет шороху на всю Украину!

В Одессе я не нашла времени позвонить и оставила очки у знакомых вместе с номером Абрамовского телефона. Журналистская стезя тем и хороша – где ни будь, новые знакомства обеспечены.

Вот с того самого дня мой домашний телефон по выходным и стал взрываться трезвоном.

5

– Всё твои женихи, – блестя глазами, заговорщицки нашёптывала мне Юлька, моя первокурсница-дочь. – Звонит хмырь – и молчит! Представь?!

– Да ну тебя! – тоже шёпотом, чтобы не услышала моя мама, отнекивалась я. Воспитанная в пуританских традициях ещё того века, когда дамы стеснялись ходить в туалет, мама, рождённая за пять лет до революции, относилась к нашим «вольностям» с осуждением.

Она бережно хранила семейную притчу о том, что корни её, по крайней мере бабушки по материнской линии, тянулись из дворянского рода времён Екатерины Великой. На это косвенно указывала и до сих пор шёлковая её кожа, всегда вызывавшая во мне волну тайной зависти – никто из нас, потомков, такой не унаследовал. И некоторые фотографии заявляли о том же. Особенно, где суровая дама в кринолине – её бабушка – восседала в роскошном кресле с веером в изящной руке. А из-за её спины на нас взирал напоминавший моего брата молодой человек в аккуратно подстриженных усиках и во фраке. Эта властная женщина в чёрном рано овдовела и замуж больше не вышла – грянул семнадцатый… Мама уверяла, что, когда она входила в галантерейную лавку, приказчик со всех ног бросался на хозяйскую половину и торжественно вносил для неё плюшевое кресло, куда бабушка усаживалась, возлагая на скамеечку обутые в атласные туфельки ножки. Только хозяину доверялось обслуживать такую высокую посетительницу. Впрочем, происхождение было забыто сразу после Октября 17-го, и все прочие фотографии альбома состояли из гробов, в которых лежали молодые и старые мамины родственники – братья, сёстры, бабушки, дедушки, потом отец и мать. Была там и её фотография – угрюмая девочка в белом колпачке с помпоном.

Позже, уже в тридцатые, в гробу сняли и её собственного сынишку от первого брака. Первый мамин муж был сыном известных волжских заводчиков, и в сталинские времена его постигла та же участь, что и других, ему подобных. А позже мама снята в армейской гимнастёрке с кубиками в петлицах рядом с чернобровым красноармейцем в форме сержанта. Моего будущего папу привезли к ней в медсанбат, и больше они не разлучались.

Впрочем, и по отцовской линии не всё сросталось с рабоче-крестьянским происхождением. Любой предмет в руках папы издавал мелодию: бампер, крыло автомобиля, даже стена. Помню, он наигрывал мне «Во саду ли, в огороде» то на венике, то на бутылке от ситро, ударяя палочками по разным её участкам. Гитары-мандолины-трубы, а также аккордеоны-фисгармонии, позже и моё пианино, к которому, кроме меня и папы, подходить никому не дозволялось, под его пальцами наяривали всё, что заказывалось. А иногда из-под чёрных и белых прямоугольников клавиш струилась такая упоительная музыка, что все вокруг замирали и, если в красном уголке завода звонил телефон, обступившая старый рояль шоферня попросту выдёргивала телефонный шнур из стены.

Моя Юлька в Деде души не чаяла. Возвращаясь с работы, он торжественно вручал ей то перламутрово-синего жука в спичечном коробке, то мятный пряник или вожделенный пломбир, который Юлька слизывала под его мужественным прикрытием – мороженое запрещалось в силу опасности для Юлькиного здоровья.

Ах, мало мне досталось от папиных талантов. Лицом я, пожалуй, напоминала его. Но куда моим бровям до его разлёта, а глазам до его колдовских омутов. И всё равно: случись потеряться, кто-нибудь из многочисленных папиных знакомцев обязательно привёл бы меня если не к нему на работу, то уж домой-то наверняка.

Одно было плохо. Кроме явно средиземноморской внешности, что легко привлекала мужской пол (это было хорошо), в наследство я получила и его излишне мягкий характер. Который сводил на нет все мои потуги отстоять собственные интересы. И уж это-то никуда не годилось. Как у папы возле его гаража толпились приятели, которым он в чём-то помогал в ущерб свободному времени, так и меня доставал с десяток подруг. Те сбрасывали мне свои необязательные для меня наряды за, в общем-то, запредельную цену, – недосуг же бегать по комиссионкам и толкучкам, где можно приобрести что-то не из маспошива. Правда, деньги можно было отдавать частями, и в этом таился существенный плюс. Хотя, когда мы отправлялись обедать, выныривал как чёрт из табакерки и скрытый минус: платила за всех тоже я. Поскольку чувствовала в этом мучительную желательность – подруги постоянно плакались о материальных проблемах, а я таким образом как бы погашала свои негласные проценты.

– Ну а кто ещё может так названивать? – делала из своих умозаключений логичный вывод дочь, осторожно прикрыв дверь в комнату: там моя мать смотрела «Клуб путешественников» с Сенкевичем. – Конечно, твои женихи. Не мои же!

– Почему не твои? Не я, а ты же у нас на выданье. Мне уж и на покой пора.

Юлька хихикнула. Ей было трудно представить меня на покое – большая часть телефонных благовестов касалась именно моих дел. Но дел, а не флиртов.

– Звонить и молчать могут только люди пионерского возраста, – немного конфузясь, парировала я – дочери шёл девятнадцатый год, и она давно не была пионеркой. У неё даже парень был. Окна его полнометражки с двумя лоджиями выходили прямо на скульптуру Родины-Матери, туда, где мы с Юлькой любили кататься на гидропедах. К ней там постоянно кто-то клеился. Однажды двое соискателей Юлькиного внимания, припустив за нами на водных велосипедах, включили свой привычный трёп, мол, как вас зовут, девушки, и не встретиться ли нам вечерком. Чтобы рассмотреть ухажёров получше, я неосмотрительно сняла тёмные очки, и… лишь след закрутился – парни брызнули прочь с быстротой ракеты.

– Нет уж, – авторитетно заключила Юлька. – У меня таких придурков не бывает. Я телефонами не разбрасываюсь.

– А я разбрасываюсь?

– Да тебя только придурки и привлекают.

– Почему – придурки?

– Потому что всё эксцентрику ищешь! – отрезала она, берясь за ручку двери. Они с Олегом шли на концерт. Папа Олега работал главным инженером Дворца Спорта. Так что водить приятельницу на любые концерты сыну было плёвым делом… Сидели они с Юлькой на лучших местах, в директорской ложе. Окружённые заботой и вниманием всего обслуживающего персонала.

– Ладно, пока. Я с Конём на Агузарову иду.

«Конём» Олега прозвала наша Баба – не бабушка, а именно Баба. Её чем-то унижало слово «бабушка», и отзывалась она исключительно на Бабу – таково было её высочайшее желание. Но почему Олега окрестила Конём, я не знаю. Вроде, он был среднего роста, русым и светлоглазым, как почти все в Киеве. Как на меня, он был вполне хорош собой и даже чем-то напоминал американских киногероев из «Золота Маккены». Что мне нравилось, так это то, что после кулинарного техникума, где научился превосходно готовить, Конь поступил в университет. Не один месяц он закармливал капризную Юльку вкусностями собственного приготовления, буквально забрасывая её цветами. Наша квартира поэтому всю весну благоухала сиренью, нарциссами и пионами. Беда была в другом: в отличие от желудка, отклика в сердце Юльки почему-то так и не находилось. Юлька всегда была готова к новым знакомствам. Может, причина

была в возрасте. Или в политике. Шли словесные баталии за независимость Украины, и везде только и говорили, что Украина имеет и золото, и руду, и сало. Потому, мол, нечего склоняться перед так называемым «большим братом». Мы, мол, и сами с усами! Изображая из себя ярого националиста, Конь, тем не менее, изъяснялся исключительно по-русски. Причём не только с Юлькой, но и со всеми своими друзьями-националистами. И даже дома. Что особенно и смешило мою дочь. Впрочем, смеялась она, ещё когда услышала прозвище впервые. И отметила, что похож Олег, скорее, на пони чем на коня. Хотя на пони Олег и вовсе похож не был! Сходство с красивым и благородным животным Баба, наверное, нашла из-за его длинного, выдающегося вперёд подбородка с крупными не вполне белыми зубами. А может, из-за того, что родился он в год Лошади?

Впрочем, клички Баба давала всем. Например, мой бывший муж Рома числился у неё Ярым Пнём. Или Ярпнём, сокращённо. Наверное, по названию его родного городка Ирпень. Ярым он оказался, возможно, потому что в семейных схватках ухитрялся куснуть самолюбие нашего домашнего кормчего так мастерски, что Баба потом долго дулась, подыскивая, чем бы больнее ему отплатить. А началось это ещё с первого знакомства, когда мой тогда ещё даже не жених, а просто однокурсник, наотрез отказался поддержать её высокомерно предложенный тост за наш род. Вот тогда она и назвала его впервые Ерепеней. Но позже, заметив, что зятю это как горох об стенку и на все её наскоки он лишь криво усмехается и, как пень, не сходит со своих позиций, его переименовали в Ярпня. «А чему удивляться? – презрительно поджимала она свои узкие, как ротовая щель рыбы, губы. – Рома – хохол. Что с хохла взять? Окраина. Они же потомки беглых крестьян. А теперь ещё и бал правят – незалежными стали. «Вот те, баушка, и Юрьев день». Вот те и «каждая кухарка должна уметь управлять государством»! Высказавшись таким образом, она обстоятельно усаживалась в кресло созерцать нас, как императрица распростёртую у ног челядь. Мы смиренно отмалчивались: даже наш замечательный Деда, одессит по рождению, был у неё как бы вторым сортом. Тумпаком. То есть тоже пнём. И всё по той же великоросской причине.

– Не забывайте, кто мы! – назидала она нам, периодически углубляясь в семейные предания.

– Это кто ж вы такие? – ерепенился Ярпень. – Волжские мещане?

– А ты вообще пустое место! – без всякой логики взбрыкивала оскорблённая Баба.

– Как же пустое, если – пень? – потешался Ярпень. При этом он сохранял на лице полную невозмутимость.

Баба тут же включалась в страстную историческую полемику. И длиться это могло часами. Потому что за более короткий срок вывести нашего Рому из себя было не под силу даже ей. Он лишь криво усмехался и подбрасывал в костёр новых дровишек. Берёзовых. Жарких.

– Ну и ерепенистый пень, – своим ушам не верила Баба. Рома был первым, кто осмелился ей перечить. Но в итоге оба расходились довольные.

Надо признать, что клички у Бабы имели все. К примеру, я была Москрицей, Понапырышем и Скильдой. За невысокий рост и худощавость. Хотя и сама Баба, вдоль – излишними сантиметрами или поперёк – тучностью – явно не отличалась. Юлька у неё числилась Вторым Пнём. Наверное, за упрямство и своенравие. Паренёк, с которым ещё в школьные годы Юлька иногда забегала домой после занятий, имел у Бабы кличку Крокодил. Вероятно, от своего имени Гена. Он был из весьма уважаемой в городе семьи, и Баба милостиво позволяла ему с полчаса топтаться в прихожей. Недолго. Соседскую девочку с этажа выше Баба звала Кувалдой – наверное, по причине маленького роста и крепкого телосложения. Ну и прочие, кто нашему Кормчему попадал на глаза, идентифицировались по прозвищам. Удобством в этом мы считали то, что при одинаковых именах никого уже нельзя было ни с кем перепутать. Даже при жизни нашего папы-Деды ничьё мнение на этот счёт её не интересовало. В случае противоречия, из «не забывайте, кто мы», мы немедленно превращались в «чёрную косточку» и в квартире надолго повисало гнетущее молчанье. «Хватит того, что вы нам жизнь поломали!», высокомерно отворачивалась она, утирая сухие глаза батистовым платочком с выцветшими вензелями вышивки. Кому именно «нам», и кто имелся в виду под «вы», Баба никогда не уточняла. И, хоть мы никакого отношения к поломке её жизни не имели, все, сколько нас было, кроме Ярпня, разумеется, смиренно считали, что наше почтение своей поломанной жизнью Баба заслужила.

Наверное, рабство, как и бунт, в славянской душе живёт искони. Опуская глаза и подчиняясь, все мы, тем не менее, потихоньку нарушали установленные в доме каноны. Да что там мы! Мировое человечество тем и живо, что всю свою историю нарушает запреты. И ничего, живы!

6

– И когда уж оне оженятся? – хмуро вопрошала меня Баба, глядя вслед хлопнувшей дверью Юльке. По её исчерпывающему мнению, встречаться с парнем больше месяца было недопустимо. Когда я бралась объяснять, что намного хуже вступить в необдуманный брак, она с негодованием укрывалась в своей комнате: «Тогда и шляться по ночам нечего!». «По ночам» означало после девяти вечера. Юлька

же могла вернуться с концерта и в одиннадцать, и в двенадцать, что превышало отпущенный домашним комендантом срок, и ближе к контрольному часу я укладывала одеяло в Юлиной комнате так, чтобы придать ему вид человеческого тела. Я даже приспосабливала туда свой старый распатланный парик – в свете ночника было почти незаметно, что он темнее Юлькиных волос. Потом щёлкала замком и слегка поскрипывала дверью. После чего тихонько включала телевизор.

А вот спросите мня, почему я это делала? Разве не проще было с самого начала всё расставить по своим местам? …За рамками дома я была вполне адекватным, профессионально состоявшимся человеком. И свой творческий почерк у меня был, и самостоятельная позиция. И передачи мои шли даже по союзным каналам. И первая книжка художественной прозы вышла. Её даже «на ура» приняли в Союзе писателей. Но стоило переступить порог дома, я уходила в глухую защиту. Изощрённо лавируя между характерами и претензиями всех участников домашнего повседневного действа.

– Ну, давай дуй в Одессу, – положил передо мной командировочное удостоверение шеф – низкорослый очкарик с усталым вымотанным лицом, он всегда вызывал у меня сочувствие – непросто в сегодняшнее время вести корабль. С одной стороны, хлеб ешь от коммунистов, с другой – и не всё с совестью уживается. – Два дня на поездку и три, чтобы сдать материал. О волновой медицине, – шеф выразительно похлопал ладонью по заваленному бумагами столу и зверски засопел. Он всегда так делал, если хотел придать словам особый вес. – О самом интересном нам положено сообщать раньше журналов. А мы уже опоздали, – и он засопел снова.

– Так я же не отвечаю за медицину, – заупрямилась я для виду.

– Это не обычная медицина. Короче, езжай давай, – прикрикнул шеф.

Дома, оторвавшись от учебника по испанскому, Юлька как бы невзначай шепнула:

– А твой придурок опять звонил. Беру трубку – молчок.

– Да-да! Что там у вас за тайны завелись? – предстала моему взору и Баба. – Телефон названивает. Поднимаю трубку – бросают.

– Так дети балуются, – буркнула я и на всякий случай врубила в гостиной телевизор. Шло «Очевидное – невероятное» с Капицей.

– Н-да, дети, – недоверчиво хмыкнула Баба, усаживаясь в кресло. Это была её любимая передача.

«Женихаться-невеститься» в моём возрасте она считала стыдным и смешным. А не имеющий конечной целью брачных уз флирт не значился в банке информации Бабы вообще. Заподозри она хоть намёк на владевшие мной мечтания – не избежать бы «позорного столба»! Повертев в руках купленные мной у Нели туфли, она резюмировала: «Снова женихов развела».

– Давно пора, – весело подтвердила Юлька, усаживаясь рядом с Бабой. Это была и её любимая передача. Тем более, что телевизор дозволялось включать только на допущенные программы. Все иные объявлялись «чушью», и вилка из розетки выдёргивалась.

Поёрзав с минуту, Юлька вытянулась струной – в присутствии Бабы можно было сидеть исключительно так.

– Да ну вас! – огрызнулась я. – Какие «женихи»!

И в ту же минуту зазвенел телефон. Было слышно, как в трубке дышат. А чуть вдали голос Борюнчика что-то выговаривал внучкам.

– Говорю же, дети, – уведомила я почему-то с тайной радостью. – Вот послушайте…

После прослушивания детских голосов вытянувшаяся физиономия Юльки выразила недоверие, а Бабина – удовлетворение. При всей своей строгости мама была достаточно наивна.

7

Как хорошо,
Когда, на рассвете проснувшись,
Выглянешь в сад –
И увидишь вдруг, что бутоны
Превратились в цветы на вишне.

Татибана Акэми

Одесса встретила меня цветущими акациями и желтью тамарисков.

– Абрамов у аппарата, – важно представились на другом конце провода.

– Киевское радио, – отрекомендовалась я, намереваясь сообщить о цели визита.

– Ирина, вы? – не дала мне этого шанса телефонная связь. – Как я рад вас слышать, Ириночка! Вы в Одессе?

– Н-нет, то есть да, – растерялась я, не желая признаться, что именно сюда и приехала. – У меня… одно серьёзное задание… Я буду писать об ударно-волновой терапии.

– Счастлив увидеть вас в Одессе, – повторил мне чуть ли не взвизгнувший от восторга голос. – Жду в любое время. Записывайте адрес офиса.

Я обескураженно промолчала, готовая, плюнув на всё, немедленно ретироваться.

По названному адресу я пришла за пару часов до отбытия поезда. К моему удивлению, это был никакой не офис, а квартира. Там за незапертой дверью под номером 13 сидел у окна сам хозяин. В балконную брешь заглядывали ветки винограда, из динамика струился старинный клавесин, а в ванной (в обед сто лет!) под таким же древним краном сияла отчаянной чистотой престарелая раковина. И то ли от собственного желания чуда, то ли от какой-то другой, пока ещё не ясной мне причине, всё это показалось до потрясенья знакомым. Как если бы всё это уже было когда-то и забылось, и вот уже вынырнуло из глубин памяти снова.

– Здравствуй, Ириночка, – почему-то сразу перейдя на «ты», приветствовал меня Абрамов. – Проходи. Я бесконечно рад видеть тебя.

Он отступил вглубь маленькой, размером с капитанский мостик, комнаты, и волны звуков захлестнули меня. Музыка, как и поэзия, действовала на меня странным образом. Наверное, не случайно в практиках шаманов мощные инструменты суггестии служили ключом в надземные пределы.

– Проходи, располагайся. Будь как дома. Я здесь один. Раньше была жена, но то ли она ушла, то ли я её оставил. Значения это уже не имеет.

Я посмотрела на него. Он – на меня.

А дальше – дальше на секунду всплыло лишь тютчевское: «мысль изречённая – есть ложь». Какие-то слова, конечно же, были, но жили они своей собственной жизнью, а нечто над ними – своей. И этот безмолвный диалог казался куда существенней того, что произносилось. Уже позже, пытаясь разобраться в происшедшем, я с предельной ясностью поняла: подсознание, оно прельстило меня иллюзией счастливой ремиссии! Наверное, известная мера частиц времени заключена в самом пространстве, и мощный их поток увлёк меня. После вездесущего Бабиного контроля, после стискивающих рамок условностей и расхожих истин я словно угодила в другую реальность. На этом суверенном островке, где не висел над моей головой дамоклов меч тривиальных «правил приличия», где не ощущался металл Бабиного ошейника и не давило «Прокрустово ложе» хитроумных стандартов (ему здесь просто негде встать!), я ощутила себя крылатой. Состояние было моим собственным и… не совсем моим. Когда наши с Абрамовым пальцы случайно соприкоснулись, рассудок просто не успел включиться, и настоящее вместе с будущим перемешалось с прошлым, в будущее не позволив заглянуть. Косматый предок вырвался из древних недр моего существа, и позже, уже дома даже при открытых глазах, я видела, будто сквозь увеличительное стекло, каждый шов на пиджаке Абрамова и любой выступ со следами былых фотографий на старых обоях. Я узнавала всё это до мельчайших деталей и вглубь, и вширь, как если бы смотрела из прошлой жизни. Может, на то и намекала табличка с цифрой 13, болтавшаяся на одном шурупе с обратной стороны двери. Говорят, 13 – есть число перехода во времени. И, бухаясь в загадочное пространство подкорки, я даже не задумывалась о событиях за поворотом.

А в окно билась и билась до боли знакомая виноградная лоза с набухшими почками. Как слезой, взблёскивая на солнце каплями недавнего дождя. Знак? Я и её уже видела когда-то, и она также стучала в стекло, и… не могла достучаться. Теперь судьба переводила ту давнюю мою жизнь в какой-то новый, одной лишь ей ведомый формат. Не меняя декора и с теми же действующими лицами.

8

Он остановил музыку и, словно переключив каналы времени, достал бумаги. Очень подробно, хорошо формулируя, рассказал мне о принципе работы ударно-волновой терапии, сокращенно УВТ. О перспективах развития космической медицины, к которой это направление как раз и относилось, об авторах метода и об одесских врачах, работающих в здешнем дочернем предприятии Академии наук СССР. Он даже продемонстрировал мне работу небольшого, размером с пару хлебных буханок, фантастического аппарата КВЧ (крайне высокой частоты). Излучатель двигался по ходу на то время никому не известных точек энергетических каналов.

– Понимаешь, Ирчик! Мы, – он показал на себя, потом на меня, – существуем не только в телесном виде. Мы существуем ещё и в фантомном, энергетическом образе. И, пожалуй, то второе наше «я» куда важнее видимого. Этот энергетический сгусток и есть наша суть. Церковники называют его душой. Фактически наше «я», как и все события нашего «я», живут в необозримом поле свободных частиц, где действуют лишь законы взаимопритяжения и отталкивания. И где каждый из нас уникален неповторимым сочетанием этих частиц. А здесь мы, как космонавты в скафандрах: неудобно, тесно, тоскливо и ничего не понятно, потому что даже истинные мотивы наших поступков от нас сокрыты. Здесь нет свободы, как и нет счастья. И мы хотим, мы рвёмся назад, потому что тот мир и есть наше реальное. Но даны свои сроки и задачи, и пока мы здесь, траты энергии на выполнение тех задач просто неизбежны.

Мы обязаны вернуться в исходный мир преображёнными новым опытом, чтобы Вселенная сотворила то, что у неё в проекте. И потому по нашему скафандру бьют дожди невзгод, а изнутри его пробивают наши потребности, которые не всегда сходятся с канвой проекта и потому искажают нас. Эти искажения и есть болезни. А наша аппаратура через резонанс с эталонными частотами космоса, способна восстановить наше здоровье. Устранить можно даже последствия серьёзных ошибок, если взяться вовремя. Понятно теперь?

Мне было понятно.

Я и раньше догадывалась о незримом, связывающим нас с горним миром. Во всяком случае, ещё в пору нашей любви с Ромой мы, не сговариваясь, одномоментно писали друг другу, отвечая на вопросы, которые ещё не поступили на почту. Почтарём для нас был сам Банк вселенской информации.

– Ирин. А почему бы тебе не стать нашим сотрудником? – глаза Абрамова смотрели на меня серьёзно и напоминали отполированные камешки с пляжа. – Тебе ведь не нужно для этого сидеть в офисе – достаточно просто всюду рассказывать о наших технологиях. Ты ведь ездишь по Украине. Можешь даже наши договоры на реализацию заключать. Хотя нет, их мы возьмём на себя, а твоё дело – реклама. Но с каждого комплекса ты будешь получать свои проценты. Это хорошие деньги, кроме четырёхсот рублей зарплаты менеджера. Соглашайся!

В цифры заработка я не поверила: четыреста рублей в те годы были зарплатой профессора. Но продвигать фантастические технологии показалось делом увлекательным! Сколько помню, «клевала» я исключительно на интерес.

Правда, если дело касалось ухажёров, мои приятельницы меня не понимали. «Ну ты даёшь! Он же старпом!». А мне с ним и говорить-то не о чем! Да и ему разговоры ни к чему. Речники-моряки сушу знали чаще по берегу. А берег – по кабаку с портовыми девками. Скукота. «Женихов», как говорила Баба, после развода у меня и так хватало. Но даже знакомцы от науки, исчерпав запас знаний для непосвящённых, лишь переминались с ноги на ногу и потели. А наш брат-писака страдал прелым в своей упрощённости цинизмом. И мне хватило двадцати лет супружества, чтобы отвергать теперь любые притязания на собственную свободу. Похоже, и Юлька пошла в меня. У неё я тоже не видела инстинкта гнездования. Семья в её представлении была воображаемой линией, в которую Конь ну никак не вписывался.

Вечером, когда я уезжала «Черноморцем», Абрамов вскинул на меня голубоватую гальку радужек и, будто опять включившись в странный временной поток, растерянно пробормотал:

– Мне совсем не верится, что ты уедешь, Ирчик… Я как-то к тебе сразу… привык.

И я почти физически ощутила незавершённость нашей встречи. Я поняла: та, что из плоти и крови «я», чьи ступни касаются сейчас одесской земли, в какой-то пока не ведомый мне час, непременно сюда вернётся.

9

Киев бился в политических истериках. Колонны людей изо дня в день штурмовали Крещатик транспарантами, на которых вкривь и вкось было начертано решительное «Геть!». По выходным на Майдане толпились маскарадные дядьки, что-то жёлчно доказывавшие друг другу. Вслед им, размахивая юбками, пританцовывали бритоголовые кришнаиты. «Харе Кришна, Харе Рама», – отзванивали их бубны, вызывая неописуемый восторг наводнивших парки бессарабских цыганят. На прочих, пока ещё не занятых, островках свободы, волхвовали служители Марии-Деви Христос. Опустив долу глаза, молодые девушки и юноши в тёмных одеждах собирали дары своих адептов: золотые украшения в виде серёг и колец. Судя по трёхлитровой кастрюле, ценностей сбрасывали много.

Командировка в Черновцы принесла мне богатый улов. Прослушав мой сбивчивый монолог, черноволосый человечек со смешной фамилией Фотокакис, директор местного предприятия, тут же размашисто расписался под Договором. В Черновцах было много отравлений диоксином – сказывалась чернобыльская катастрофа.

Не менее просто решился вопрос и в Ровно, Виннице, Донецке, Днепропетровске. Теперь каждая моя командировка стала широкой ареной демонстрации новых российских технологий. Даже не вполне владея вопросом, за первые четыре поездки я подготовила четыре договора на комплектацию медицинских КВЧ-кабинетов по лечебным методикам, утверждённым Минздравом СССР и Украины. Что составило первые двести тысяч рублей на счету Одесского медицинского центра КВЧ-терапии, взявшего на себя и дистрибьютерство.

Буйствовал июнь. Изнемогали от страсти соловьи, и горячий асфальт одесских улиц заносился лепестками акаций и каштанов. Два лета и два человеческих пространства, как отражения зеркал в зеркалах, принимали бесчисленные обличия и формы. Не только я теперь ездила в Одессу, Абрамов буквально

поселился в Киеве. И всё свободное время мы проводили вместе. В кинотеатрах, где шли запрещённые прежде фильмы. На лекциях по новой квантовой физике, в которую я тоже влюбилась, как в нечто известное мне давно, но потерянное во времени и только сейчас обретённое вновь. Притом что знания эти переворачивали все наши представления об устройстве мира. В свете этой удивительной науки выходило, что даже помостов, с которых толкали речугу наши лекторы, в известном смысле не существовало. Наши зрительные нервы просто улавливали атомы, что неслись по петле Мёбиуса в необъятном потоке заложенных изначально событий. Впрочем, и сами частицы – всего лишь вибрации волн, своего рода искажения волновой функции. Всё, что виделось и осязалось, на самом деле было ничем иным, как объектом раздражения. А сама реальность – концентрированной энергией, клокочущей в бесконечном поле. Только я не могла уразуметь, как эти частицы способны быть одновременно вибрациями, да ещё и искривляющими функцию волны (кто ж эту волну гонит, если, кроме частиц, ничего нет?), и в каком таком поле бурлит энергия, если она сама – поле, и кого же тогда раздражал объект?! Сознание невольно сопротивлялось, хорохорясь защититься: ведь, если какому-то там умному полю время неведомо, ещё не значит, что последнего вообще нет!

В странном этом раскладе, за гранью сингулярности которого не имело смысла ничего прогнозировать, я и себя чувствовала распадающейся на частицы, поскольку способность к анализу была утрачена мной окончательно. И вечерами мы просто слушали друг друга. Он читал свои стихи. А я, одурело хлопая глазами, в сомнамбулическом возбуждении знакомила его со своей прозой. И видела себя булгаковской Маргаритой. Когда же часы наших встреч уносились в бесконечность, я думала, что, возможно, и впрямь времени как такового не существует. И своими встречами мы просто измеряем Ничто (или всё же – Нечто, только недоступное нашему пониманию?). А тогда как же искусственна и условна придуманная нами сеть, в которую мы пытаемся уловить своё Время, которого ещё и нет… Наверное, когда-то нашему волосатому пра-пра-предку также закружило голову от непонятных этих явлений, и в иллюзии, что когда-то круг всё-таки удастся вытянуть в прямую, он устремился к вершинам прогресса, не просчитав заранее, что ждёт его за поворотом.

– Да ты у меня философ! – смеялся Абрамов, бухаясь в фантазии, которые тут же становились нашими общими. Флюиды, эти невидимые токи, что исходят от всего живого и, благодаря чему, возможно, существует гравитация, захватывали нас и несли в такую даль, что казалось: вот-вот – и мы достигнем чертогов Бога, голые и совершенные, как Первочеловеки.

Больше мы не появлялись ни у Борюнчика с Нелей, ни на тусовках, куда нас приглашали то его писатели, то мои журналисты. Как дивный напиток травы забвения, мы пили друг друга! Мы спешили вкусить наш дивный плод из возделанного нами Сада! И каждая встреча была открытием, которое по песчинке, по камешку создавало и расцвечивало эту нашу эксклюзивную Вселенную. Подручным материалом для неё становилось всё, что было вокруг: щебет птиц на деревьях, шорох дождя за окном. И зонтики, купающиеся в дожде, как чудесные медузы в прибое. Мы дробили в зубах кофейные зерна и изумлялись симфоничному их послевкусию. Мы следили, как из ниоткуда в никуда рождались и исчезали перламутровые облака, и слушали заклинательный Акафист сверчка в душевой. И, хохоча, надували воздушные шары, отпуская их на волю, чтобы парили они горстью красных и белых черешен. И, звякая ложечками о зубы друг друга, поглощали сугробы мороженого, густо обсыпанного шоколадной крошкой. У нас была НАША Вселенная, сотворённая и пронизанная бесчисленными фотонами нашего впечатлительного эроса. Если за нами наблюдал горний мир, он мог ставить галочку в своем гроссбухе – его творения были счастливы! Может, каждому из нас такая насыщенность была нужна, чтобы нейтрализовать искажения, накопленные за тысячи лет наших древних жизней? Или в том размётанном мире девяностых они стали для нас Ковчегом ветхозаветного Ноя?

В тот день мы снова собрались в Обсерваторию. Весело болтая, я первой зашла в автобус и поискала глазами свободное место.

– Смотри, смотри! Вон, у окна, – обрадовалась я, и в то же мгновенье, мирно урчавший автобус взревел и… дёрнул. «А-ах-х!» – трясануло салон электропробоем – …замешкавшийся на подножке Абрамов рухнул под заднее колесо! Туманным сгустком замер в моих глазах день… «О-о-о», – отхлынул общий выдох, когда в ту же секунду я втащила грузное тело Абрамова вовнутрь. Он весил вполовину больше меня и роста был на голову выше. А я… А мне почудилось, будто в тот самый момент мою руку поддержала другая, чья-то невидимая стальной хватки пятерня, которая могла и нас обоих забросить на облако, как пёрышко…

– Ну, ты гигант, – неловко улыбался Абрамов, потирая ушибленный локоть. А в моём очумелом мозгу скребануло: «Что это было? Предупреждение? Знак? Неужели опять что-то не так?». Но мысль показалась кощунственной. Мистический сигнал опасности был проигнорирован вчистую!

10

– Ты что, замуж за него собралась? – фыркнула Юлька, посвящённая в тайный факт моих встреч. – Учти, согласно одному из 128-и параграфов закона Хаммураби, – ткнула она пальцем в раскрытую страницу, – женщина состоит в браке, если она не разлучается с мужчиной больше, чем на три ночи подряд. Разве можно так часто бегать к этому Абрамову? Ты рискуешь снова оказаться в жёнах.

– Нет, ты что! – успокоила я её, уверенная, что брачные узы мне больше не грозят. Именно они своей бытовой рутиной уничтожили нежность между мной и Ромой. Что-то самое важное незаметно ушло из наших отношений, а раздражающие мелочи разрослись до невероятных величин. И, словно лишённые кислорода рыбы, мы оба стремились выскочить из своего ледяного панциря. Но и полынья нам не помогала. Воздуха не хватало до разрыва лёгких.

– Смотри, – пожала плечами Юлька. – Не заиграйся. А то притащишь мне нового папу! – она засмеялась.

– Да ну! – отмахнулась я.– Поздно мне разбрасывать камни.

И я не лукавила. Хоть возраст у Юльки был совершеннолетний, свои дети взрослыми не бывают. И была ещё жива моя собственная мать – в её годы делить капитанский мостик с новым зятем было бы слишком жестоко. Кроме того, я совершенно не представляла, как введу Абрамова в Бабино царство, где хрусталь и тончайшие сервизы места занимали больше, чем люди. Вообще-то чай мы пили из обычных фаянсовых чашек. Но по особо важным датам всё сервантное великолепие выгружалось на стол: это нож для рыбы и гарнира, а эти вилочки для торта – не дай Бог перепутать с трезубыми для салатов! До срока все эти немые свидетели лучших времён пылились за стеклом вместе с мельхиоровыми солонками и золочёными подставками к столовому серебру.

– Подумаешь! – в ответ на мои сомнения открещивался Абрамов. – Я тоже не лыком шит! Может, и у меня в роду графья были. И даже митрополит по отцовской линии. Если понадобится, я твоей Бабе документ предъявлю – у меня друг в Дворянском собрании!

Оформлять наши отношения я отказалась категорически.

Он, правда, и не огорчился, – предложение было, скорее, данью устоям. Но факт индифферентности меня задел. Мне-то думалось, что он станет рвать-метать и требовать идти в ЗАГС. Впрочем, вокруг всё рушилось: страна, отношения, семьи. Ломались родственные узы, уничтожались святыни, едко высмеивались те, кому вчера истово били челом. Обманчивость всего и вся стала приметой времени. Впрочем, такая неясность допускала и степень вариантности. Гарем блистательных светских львиц, изысканных гетер и растрёпанных вакханок виделся ему во мне, многоразово отражённой в его незаарканенной фантазии. А мне в нём – от булгаковского Мастера до титана, пробивающего лаз в таинственную Шамбалу. Далеки от обыденности были те алмазные россыпи звёзд, что сыпались на нас в маленьком пространстве квартиры № 13!

– Видишь? – спрашивал он зачарованно.

– Вижу, – почти беззвучно отзывалась я, боясь спугнуть волшебство. Казалось, стоит слегка подпрыгнуть, и мы унесёмся ввысь, подобные ярким болидам, что чиркали над нашими головами. И это нас объединяло узами куда надёжнее, чем приземлённость канцелярской печати.

Познакомить Абрамова с Юлькой и Конём я решила на Новый год. Баба как раз улетела праздновать в Тольятти – бывший Ставрополь-на-Волге, от её родного Жигулёвска он стоял километрах в двадцати. Там ещё оставались её редкие подруги. Мы же договорились встретиться в нашей киевской квартире.

Наступал год Овцы.

Когда за окном грохнул салют, мы с Абрамовым, Юлькой, Конём и Конским братиком, который пока учился в школе и которого, чтобы не оставлять одного, Конь притащил с собой, выскочили на балкон. «Ур-р-р-а-а!» – орали мы при каждом пушечном залпе и радостно обнимались, загадывая желания. Каждый – свои. А когда вернулись, посреди праздничного стола розовела боками огромная свинья-копилка. Видимо, пока мы веселились, Юлька незаметно прошмыгнула в комнату и «подложила нам свинью». Все рассмеялись. Только на Абрамова эта совершенно невинная шутка почему-то произвела удручающее впечатление: он вдруг, громко хлопнув дверью, скрылся на кухне. Сначала все подумали, что мой избранник готовит нам сюрприз. Но когда оттуда потянуло куревом, я заглянула: он восседал над салатами и мрачно тянул дым, не замечая, куда падает пепел. А падал он прямо в оливье. Может, самолюбивый избранник решил, что свинья на столе – скрытый намёк? Мол, а не суйся свиным рылом в калашный ряд! А может, обдумывал, при чём свинья к Овце? Так это пожелание богатства и символ успеха, вроде?

Я озадаченно застыла на пороге, с тем же недоумением заглядывали через моё плечо Юлька с Конём. А Конский брат, вбивший себе в голову, что его будущее – духовная семинария, мелко крестясь, шептал какую-то хрень, отгоняя провокаторов-бесов. Увидев наши лица, Абрамов поднялся, широко, по-графски загасил сигарету о подоконник и выразительно потёр руки:

– Ну, кто будет шампанское?..

11

Входи, госпожа! Ликует Куту.
Дворец преисподней о тебе веселится!

Шумеро-аккадская мифология

Свой гонорар за четыре договора я получать не стала. Вернее, в ведомости расписалась, но несколько весьма крупного достоинства банковских пачек вместе с зарплатой менеджера по рекламе я оставила на столе. А как бы я принесла это домой и как бы объяснила происхождение таких денег?

Впрочем, горбачёвское «Что не запрещено, то разрешено» окрылило тогда многих. Золотые шлюзы распахнула сама «царственная чета»: за купленные в лондонском «Картье» бриллиантовые серёжки Раиса Максимовна непринуждённо расплатилась кредиткой «Американ Экспресс». Её наличие предполагало счёт в одном из западных банков! Или… что личные покупки леди Горбачёвой оплачивались советским правительством, у которого такие счета уж точно были. Дерзость по тем меркам немыслимая. В означенные времена даже Леониду Ильичу Брежневу, обуянному страстью к иномаркам класса «люкс», подобное не пришло бы в голову. Наш славный Генсек просто выклянчивал себе подарки у правительств западных государств. Что ж, любая ложь познаётся в сравнении с истиной. Мы же истину и раньше не знали.

Но одесситы народ ушлый! Они отреагировали уже наутро: «Ой, вэй, – посмеивались старые дамы на “Привозе”, – вы слышали, какой шикарный гембель пристроила нам мадам Горбачёва? Она таки нагнала волны в тазике, и теперь (на минуточку!) у нас таки будет мигрень окончательно. Эйнштейн прав! Цухес при нашем еврейском мазл стал-таки в квадрате!». Имелась в виду знаменитая формула $\mathbf{E = mc^2}$. Поскольку Е – в одесском вольном переводе читалась как «евреи», а С – «цухес», означавшее нижнюю заднюю часть тела. И если она была в квадрате именно к М – «мазл» – «счастью», то в скорректированном для всеобщего понимания толковании получалось, что еврейское счастье опять в большой заднице. И на столы одесских партсекретарей посыпались красные книжицы с заявлениями о выходе из рядов передовых строителей коммунизма. После чего, как грибы, поднялись всевозможные СП. Были озвучены даже ранее законспирированные связи с зарубежьем (а у кого их не было?!). С тех пор одесские улицы всё активнее полнились разноязыким гомоном. Года не прошло – новейшие медицинские технологии СССР, завоевав Украину, победно шагнули и за кордон.

Москвичи уже готовили врачей в европейские страны, когда и я стала обладателем двух загранпаспортов: служебного – для визитов в страны соцлагеря – и обычного – во все страны мира! Я с обожанием гладила их глянцевые корочки и не верила сама себе. По ночам мне снились огромные черепахи на океанских пляжах и развесистые банановые чащи. Но… как часто случается, именно в этот соблазнительный момент ехать я никуда не могла – до отпуска далеко, а «за свой счёт» не вышло – у Юльки что-то разладилось с Конём.

Всю весну они слушали в Гидропарке соловьёв, возвращаясь перед самым закрытием метро. А я, как стойкий оловянный солдатик, стояла «на часах». В тот раз Юльки не было уж слишком долго. И одиннадцать пробило, и двенадцать. Только в половине второго ночи, не успела кукушка высунуть клюв, раскрасневшаяся и злая, дочь влетела в дверь, лишь обиженно сопя на мои расспросы.

– Но всё-таки, что случилось, Юля? – тихо, чтоб не прослышал наш домашний генерал, допытывалась я: – Как ты в такой час доехала? Олег взял такси?

И тут Юлька взорвалась:

– Ага, жди! Я шла пешком от метро! Вот! Одна!

– Как – одна?! – ахнула я.

– Очень просто. Ногами!

– А… а что же Олег?!

– Он трус!

– Что значит «трус»?

– А то и значит! Ко мне в метро стал клеиться какой-то бритоголовый браток, и что ты думаешь сделал твой Олег?

– Почему – мой? – опешила я. – И что он сделал?

– Он! Спрятался! За колонну!

Я ничего не понимала и оглушённо смотрела на неё. Вволю насладившись моим замешательством, она начала по порядку:

– Поезда уже подбирали последних пассажиров. Мы как раз ехали вниз по эскалатору. И вдруг твой Конь ни с того ни с сего ляпнул, что в такой, как у меня, одёжке ходят только одесские проститутки. Представляешь?! Ещё слово сочинил: «одесские секретутки».

На Юльке был глухой шифоновый комбинезон бутылочного цвета. Я купила его у знакомого моряка на так называемые «боны» – чеки Торгмортранса. Комбинезон был от одного из самых престижных

французских брендов и элегантно отделан золочёными пуговками с монограммами фирмы. Стройная Юлька выглядела в нём, как модель со страницы глянцевого журнала.

– Ну, я и пошла вниз по эскалатору первой, – с той же запальчивостью продолжала Юлька. – И вот на перроне – представляешь?! – ко мне подваливает тип в кожаной куртке! Спрашивает, можно ли со мной познакомиться. Я, естественно, говорю, нельзя, я, мол, с парнем. А он так грозно: и где твой парень? Я оглянулась и вижу: придурочный Конь держит курс дальше по перрону! Не глядя на меня! Чапает мимо! Словно меня и не знал никогда! Тот тип опять спрашивает: «Так где же твой парень?». Я кивнула на спину Коня, а тип – цоп меня за рукав и орёт: «Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Если бы этот хмырь был с тобой, он бы уже тебя увёл! Да ты знаешь, кто я? Да я тебе!.. Да я тебя!.. Всё, теперь я твой парень, едешь со мной!». А я стою и не знаю, что делать – вокруг ни души, а он накаляется всё больше! И тут смотрю: Коняка-то мой за колонну спрятался и – то выглянет, то опять за неё юркнет, представляешь?! Я говорю типу: «Ну, вон же он! Прячется и пялится на нас» – «Где, не вижу!». И – увидел. И от изумления даже выпустил мой рукав: «И правда! Ни фига себе! И ты с такой мразью встречаешься??? Хочешь, пойду дам ему в мозг?» – «Хочу!» – говорю. Последнее, что я видела: кожаный тип машет кулаками, а Конь, отступая, увёртывается и норовит сбежать. Тут как раз подошёл последний поезд, и я скакнула в вагон…

– И потом шла от метро одна?! Через парк?!

Даже через лес! Массив-то наш называется «Лесной».

– Одна! Пешком! Вот – твой Конь!

Мне нечего было сказать. Я даже безмолвно проглотила, что Конь – мой. Тем более что тут в коридор выплыла Баба в ночной рубашке до пят и принялась осыпать проклятьями и Коня, и злополучный комбинезон, купленный за «боны», и всех нас вместе взятых с нашими куклами и париками. Оказалось, она всё слышала. Более того: когда я выходила посмотреть, где же Юля, она решила проверить, кто же это глубокой ночью стукнул дверью. Вышла – и обнаружила, что меня нет, а в Юлиной кровати – кукла…

Крик стоял до трёх ночи…

Ехать за границу я не могла по важным семейным обстоятельствам…

12

– При чём здесь твои Юлька с Бабой?! – надсаживался обиженный Абрамов. – Набирается группа медиков в Швецию. Ты представляешь, как мы проведём там время? Или до тебя не доходит?!

А я смотрела на него и начинала понимать его жён и детей.

Детей у него было двое, от разных жён, которые официальными жёнами не являлись. Старшая – дочь Виолетта – высокая улыбчивая блондинка года на три старше Юли. Она уже побывала замужем, заимела маленького сынишку и рядом с Юлей выглядела женщиной, видавшей виды. А младший – Серёжик – наоборот, был лет на пять младше Юльки. Этот прыщавый, неуверенный в себе паренёк исподлобья посматривал на всех с высокомерной, но трусоватой усмешкой, чем-то напоминая маленькую дворняжку, которой машет хвост. Уже сейчас, за несколько лет до окончания школы, Абрамов подыскивал Серёжику протекцию в университет. Но и к этому благородному жесту потомок отнёсся без почтения. Оба отпрыска папашу не праздновали. Как и друг друга, впрочем.

Один учёный-биолог, очерк о котором я недавно выдала в эфир, познакомил меня с теорией Дэвида Меха. В конце шестидесятых этот американский исследователь выдвинул нашумевшую концепцию об «альфа-иерархии» в стаях волков и приматов. Понаблюдав за коллегами, герой моего очерка пришёл к выводу, что эта теория пригодна и к человеческой стае. В его научной лаборатории все выгодные должности, как оказалось, заняли самые нахрапистые и бесстыдные. Наверное, таким «альфа» видели в Абрамове и его «продолжения». Особенно, когда при встречах с чадами он доставал их реминисценциями о том, как, мечтая о новых ботинках, в пятнадцать лет грузил тяжеленные мешки сахара в порту. У него даже стихи были про тот сахар. Очень неплохие, кстати. «Все дела надо делать с пелёнок», – поучал он Серёжика, и я давилась смехом, представляя в пелёнках дела Абрамова. Детвора старше двенадцати детьми ему не казалась. Как и младше двенадцати, впрочем. Так что мои материнские метанья Абрамова просто злили.

– Ну что ты квохчешь над ней, как курица? Пусть учится самостоятельности, – роптал он, и в его баритоне я ловила неприятно-визгливые нотки. – Почему ты не можешь оставить её с бабушкой? Взрослая девица, в университете учится. Коня даже имеет… В чём дело, Ирчик? – и, заметив, что задел за живое, менял тон на глубокую проникновенность:

– Ириночка, – клал он мне на плечо свою большую тёплую руку, – не обижайся, пожалуйста. Просто я хочу любить, чтобы никто не мешал. Понимаешь?

Я хлопала глазами и молчала. Ссориться или что-то доказывать уже не хотелось. Как, тем не менее, не хотелось и Юльку оставлять на попечении властной старухи, один взгляд которой всем внушал сознание безотчётной виновности.

– И почему ты не переедешь ко мне насовсем? – подозрительно вглядываясь в мою кислую физиономию, дознавался он. – Ты не хочешь жить со мной? Только целоваться хочешь? Да? – и резко рубил ладонью воздух: – Тогда бу-дем ре-шать. Ре-шать, Ирчик! Я так не хочу. У меня принцип – или всё, или ничего! Я на кусочки не делюсь – да, Ирчик!

Но когда я устало кивала, мол, ну что ж – давай «решать»! – он тут же включал задний ход: «Нам, Ира, не по двадцать лет. Мы должны беречь наши чувства! Я обещал любить тебя до гроба? И буду. И ни с кем делить не бу-ду! Вот так, Ирчик! Да!». При этом скрытые линзами очков его льдышки недобро вспыхивали. «Вот она, причина моей неясной смятенности, – записала я вечером в дневник. – Вот отчего мои ночи уже не так прекрасны. В них уже не опрокидываются звёзды. И облака за окном всё чаще походят на застывшие волны. Любовь, как стихи, как музыка… И как времена года. Приходит… – и растворяется, когда наступит час…».

И, тайком прочитав эти строки, он отыгрался на Юльке:

– Только с твоими коленками и носить эти штаны-недомерки! – сквозь иезуитски-доброжелательную улыбку выплюнул Абрамов, насмешливо разглядывая её шорты. Хотя коленки у оторопевшей от этого выпада Юльки были вполне нормальные – узкие и белые. – И Виолке намекни: пусть не носит юбку до пупа! Думаете, с вашими ножками вас кто-то приличный склеит?

Немудрено, что обе девчонки, едва познакомились, тут же принялись дружить против «папика». Голова к голове гнездились они под виноградными листьями на клочке общекоммунальной собственности по имени Балкон и с наслажденьем поливали Абрамова из всех брандспойтов словаря Даля. Юлька – осторожно, приглядываясь и анализируя, а Виолетта открыто, иногда даже с судорожным придыханием: «Как же я его не-на-ви-жу!!!». Если Юлька пыталась узнать, за что, на губах Виолетты от ярости выступала пена: «А что хорошего я могу вспомнить? Он же Гений, он – главная персона! Стоит-качается над моей кроваткой и, заплетаясь, стихами сыплет! Хоть бы раз сказку почитал!».

– А он не сумасшедший? – опасливо допытывалась у меня Неля. – Ты обрати внимание – он идёт по улице и что-то бормочет.

Я саркастически отмалчивалась, поскольку именно они с Борюнчиком когда-то взахлёб расписывали достоинства Абрамова. А насчёт бормотанья, так и наша Баба часто вела беседы сама с собой – то ли от раздражения, то ли от творческого «одержания». В юности она, как и Абрамов, бредила стихами. Её даже печатали в городской прессе. Я видела эти прожелтевшие листки среди её реликвий в старом, XVIII века, дубовом сундуке, который запирался на диковинный внутренний замок. Этот замок имел личную тайну, открыть его мог лишь владеющий этим секретом. И когда единственный её обладатель, то есть Баба, проворачивала в прорези большой хитро завитый символ своей единоличной власти, раздавалось мелодичное дзиньканье. Там, в сундуке, среди изумительных кружевных подзоров и скатертей прошлых столетий хранилась расшитая жемчугом и топазами икона Христа-спасителя, которой мою прабабушку благословляли под венец. И ещё серебряные ложки с клеймом «1875» – всё, что осталось от тех времён.

13

Может быть, оттого,
Что ждали её слишком долго, так волнует сердца
Эта песня кукушки горной,
Возвещая начало лета…

Мацуо Басё

Между мной и Абрамовым гулял ветер свободы. И хоть наше не вполне внятное будущее проступало, частенько настораживая, мы были ещё достаточно молоды, чтобы начать всё заново. «А что не так, Ирчик? Я всё перелопачу в себе, – убеждал он меня, заметив на моём лице неясные тени сомнений. – Мне себя и заново родить – тьфу! – И, цвиркнув на пол, он комично растёр воображаемый плевок. – Я могу и тенде, и сенде, Ирчик. И всё равно увлеку тебя в свою нору. Ради Ирчика я гору прогрызу! Хочешь яблочко? Щ-щ-щ», – сузив глаза и изгибаясь всем телом, он изобразил из себя ветхозаветного Змия. Змий был в очках, с брюшком и в семейных весёленьких трусах. Я рассмеялась – ну нестандартный он человек, ну наполовину придуман мной – так оба мы сочинители! Мой внезапный порыв к такому массовику-затейнику, видимо, и объясняется инстинктивным позывом жить взахлёб – не хотелось верить, что возраст подбирается к полтиннику, и сзади куда больше, чем впереди. И всё-таки… Всё-таки, чем дальше, тем чаще фонтанирующему жизнелюбию Абрамова я внимала с долей скрытого протеста. Особенно, когда снова и снова слушала порядком набрыдшие стихи – его и японских поэтов. Он читал их по несколько раз в сутки. С одинаковым выражением и акцентами. Будто включив магнитофонную

запись. Наверное, к японским его приобщила последняя из жён. Она была сахалинской японкой, совершенно русскоязычной. Когда-то вместе учились в университете, потом жизнь надолго развела и свела уже после рождения Виолетты и Серёжика. Правда, немного знакомая с японской культурой, я ломала голову, каким ветром занесло к нему японку? Пусть даже сахалинскую. Я – ладно. Даже для булгаковской Маргариты «чувство высокой всепоглощающей любви» было главным. Но японцы! Для их опрятности и пунктуальности любое отклонение от протокола – стихийное бедствие. Как ей служить такому блажному субъекту, как мой Абрамов? Грязные носки в холодильнике даже не апофеоз его неряшества! Чёрные вуали паутины, оборванные обои, щели в половицах… И полчища тараканов, что разгуливали по столу среди невероятного количества окусков и опивков… Зачем ей это?! Я – ладно, я всё же свободна и независима. И, в отличие от неё, я – не жена.

– Кажется, я уезжаю в Ереван! – провозгласила Юлька, торжественно водружая на стол очередной букет ярко-алых роз на длинных топ-модельных ножках.

Я чуть не выронила из рук аквариум с вуалехвостами. Когда я отправлялась в очередную командировку, их на всякий случай переправляли к соседке этажом выше, – без меня Юлька могла сбежать к папе в Ирпень. В последнее время они очень сблизилась на базе новых, почему-то всё ещё не лишённых его интереса сведений обо мне, и Юлька бывала там теперь часто. Или могла умчаться в Одессу к Виолетте. И обиженная нашим частым отсутствием Баба при намёке на очередную командировку грозилась выплеснуть золотых рыбок в унитаз. Иногда она вообще устраивала показательные зрелища: закрывалась у себя в комнате и не подавала признаков жизни. Мы прислушивались день, другой, потом начинали подламываться, боясь и в самом деле увидеть что-то из ряда вон выходящее. Но когда, наконец, были у цели, дверь резко распахивалась, и торжествующий глас вопрошал:

– Проверяете, не кончилась ли я?! Так не дождётесь! Вы мне – нет никто. Живите своей жизнью и не лезьте ко мне, чёрная косточка!

И как ни изощрялась я в дипломатии, ответ был непримирим и категоричен: «Вы – чёрная косточка. У меня с вами ничего общего».

Потому, когда меня дома не было, Юлька там тоже не задерживалась. А золотые рыбки перекочёвывали к соседям.

– Как это – в Ереван?

– Его Артёмом зовут. Он та-а-а-кой умный! И смелы-ы-ы-ый!

Что сделаешь с этой девчонкой!

Помнится, и я была такой. Правда, в очень далёком, самодостаточном возрасте. Я легко влюблялась и так же легко разочаровывалась. Чтобы потерять голову, мне всего-то и надо было заглянуть в чьи-то глаза. А чтобы разочароваться – неправильное ударение. Или записка с грамматической ошибкой. Уже позже, когда я научилась примерять на себя чужие боли, я стала осторожнее. Но даже это не помешало мне набить целый мешок причинно-следственных счетов. Но я жила в провинциальном городке, где все друг друга знали. И счета судьбы были не так дороги. А Киев – столица!

– Юля, но кто он, чем занимается, где учится?

– А какая разница? Что ты, как наша Баба?!

– Я не Баба, но всё-таки… он, может, очень даже хороший. Но надо знать, кто он, откуда. Нельзя ничего не знать о человеке!

– Ну, учится в Киевском политехе, – смилостивилась дочь. – Папа – коренной киевлянин, мама из Армении. Артём пригласил меня с ними познакомиться.

– Так они в Киеве живут?

– Он в Киеве. А они – в Ереване. На улице Оганова.

Час от часу не легче!

– Мама у него тоже журналистка, – поспешила успокоить меня негодница. – На телевиденье там работает.

В какой-то мере у меня, и правда, отлегло от сердца.

– Юля, но у кавказцев…

– Да какой же он кавказец! Ты что, не слышишь? Папа – украинец, на Борщаговке вырос. И вообще – армяне не кавказцы. Они… византийцы. Когда-то было государство Урарту. А потом Великая Армения. Она занимала даже Македонию. Это уж позже турки оттяпали их лучшие земли, – авторитетно просветила меня дочь. – А Артём бесстрашный. С ним гулять по ночным улицам – сплошное удовольствие!

Да… Было над чем задуматься.

– Юля, скорей знакомь меня с этим бесстрашным другом. Мне предлагают командировку за границу, а я не смогу поехать, пока не буду убеждена, что твой Артём не хуже Коня.

– Коня?! – округлила глаза возмущённая дочь. – Да твой Конь Артёмова копыта не стоит!

Последнее время я мучительно вычисляла, как быть с работой в редакции – увольняться или по-прежнему совмещать. Если бы Абрамов жил в Киеве, всё было бы проще. Входили в моду так называемые «гостевые браки». Но он жил в Одессе, и создавать с ним семью в традиционном её понимании было бы то же, что строить дом на песке. Он являл собой суверенную Вселенную с вполне самодостаточным мироустройством, куда втиснуться без потерь ещё и мне было невмоготу. К мужчинам уютным моего Абрамова не отнести. Многое в его манерах меня попросту сбивало с толку. Но и подолгу обитать на два города стало не по силам. Правда, последнее время редакция напрягала меньше – вместо аналитических программ в эфире всё чаще звучали фондовые концерты. Сказывалась неясность политического курса, потому и моя деятельность по рекламе катилась как бы между прочим. С прозой, правда, дела вообще остановились – наброски в блокноте, сделанные ещё до Абрамова, так и остались набросками. Но это и не казалось важным. Обязательное решение было нужно, в основном, для престижных поездок за границу. А такое любому охота. Поднырнуть под железный занавес было в ту пору приоритетом единиц – у комитета безопасности всё ещё оставалась квота страха за нашу идеологию.

Знакомство с Артёмом и его родителями всё-таки состоялось. Причём, по полной программе, в ресторане. И оставило самое приятное впечатление. Особенно, беседа с его интеллигентной матерью. Вот кто наверняка пришёлся бы по душе моей Бабе! Но от малодушного помысла, что рано или поздно этих людей придётся демонстрировать Бабе, а Бабу – им, я холодным потом облилась.

– Да поезжай, не сомневайся. Видишь же: Артём – классный, главное – гулять с ним не страшно, – втолковывала мне Юлька, вроде только «классностью» и исчерпывались мои опасения.

– А как я оставлю Бабу? – цеплялась я за соломинку. – Она же тебя сожрёт.

– Не сожрёт, – убеждённо потрясала дочь свеже-блондинистыми вихрами, тщательно заостряя кончик макияжного карандаша. Подведённые глаза делали её чуть старше и загадочней. – Я пока перееду к папе. Он как раз со своей Катрусей расплевался. И вообще! Что ты всё о Бабе печёшься? Поликлиника – напротив, участковая навещает. И здоровье у неё получше твоего. Она в свои почти восемьдесят даже гриппом не болела! Поезжай, не думай.

Осчастливленный Абрамов немедленно связался с Москвой и… через час сокрушённо доложил: группа врачей уехала в Швецию ещё вчера.

– И в Италию мы не успеем… – Его плечи повисли, как если бы на них упал тот самый мешок сахара, о котором он часто тарахтел при случае – уж очень хотелось Абрамову за границу.

– Ирчик, урааа!!! – через минуту повернулся ко мне снова. – Факс пришёл – можно двинуть в Польшу!

– В Польшу так в Польшу. Польша рядом, и, если что, добраться в Киев можно меньше чем за сутки.

– Ну да, Польша – это тоже Европа, Ирчик! Оттуда потом и в Швецию путь, и… и в Германию – Германия ближе всего. Люди из Польши утром в Германию на работу. А вечерами и в выходные пенсионеры-немцы в Польшу за продуктами. С такими же «кравчучками», как у нас! Представляешь?! Я рад, а ты?

Я, конечно же, изобразила радость и заодно дипломатично посокрушалась о Швеции, на что просиявший Абрамов тут же пустился доказывать, что, конечно, нельзя было из-за глупых, никому не нужных материнских инстинктов упускать тот поистине сказочный шанс.

Я промолчала. Мне мои инстинкты глупыми не казались. Я, конечно, плохая мать. Для меня, сколько себя помню, главным в жизни была редакционная суета: интервью с Марселем Марсо или с Марчелло Мастроянни, посиделки с солистом Королевской оперы Копенгагена Тони Ланди или анекдоты в компании Радмилы Караклаич отнимали всё моё время. Уж не говоря о разговорчивом Алексее Яковлевиче Каплере – с его блистательным интервью я когда-то и дебютировала. Но Юлька… я как-то мало задумывалась о ней, считая, что у моих родителей – сначала в Тольятти, а потом в Харькове – ей будет куда комфортнее, чем в пустой киевской квартире. Рома ведь тоже журналист, он работал собкором по Крыму и часто был в разъездах! А ясли и детский сад нами обоими почему-то исключались. Именно из-за них мои редакционные дамы то и дело сидели на больничных. Потому и мне в ту пору представлялось, что стоит отдать Юльку в детсад – у неё начнутся те многочисленные болячки, из-за которых молодых мам старались не брать на работу. И Юлька жила у Бабы. Ненавидевшая зятя, не доверявшая людям, подозревавшая и меня в тысячах грехов, Баба вымещалась на внучке. Та должна была сидеть тихо и смирно, следить за осанкой, есть ножичком-вилочкой, на улицу не ходить, подруг не водить (чёрная косточка!) и, как дореволюционная гимназистка, носить две косички. Учиться Юлька должны была исключительно на пятёрки – нежелательны были даже четвёрки! При этом Баба экономила электроэнергию, и готовить уроки Юльке приходилось при одной потолочной лампочке в сорок свечей.

А ещё Баба экономила воду и мыло, и купаться в её доме разрешалось только по пятницам. Так, видимо, было заведено в их дореволюционном доме. Кроме того, в ответ на чьё-то робкое «Можно Юлю?» Баба недовольно рявкала в телефонную трубку: «Её нет!», из-за чего звонить больше никто не решался. Если бы не Деда, переводивший на себя главный Бабин удар, Юля так и жила бы в немытой изоляции, как русская боярышня в тереме. Кроме Деды была лишь одна отдушина – мы. С тех пор, как мои родители переехали в Харьков, Юля каждый месяц летала к нам в Киев. Тут можно было все напролёт выходные

плескаться в ванной и читать при ярком свете. А если я не участвовала в срочных подсъёмках, мы ходили на Крещатик, где слушали бандуристов и прямо на открытом воздухе ели горячий кулеш. Возле наскоро смонтированного плетня с национальными глазурными кувшинами.

– Дети должны значить больше карьеры, – твердила я Абрамову, но именно тут мы согласия не достигали. Для себя он считал вполне достаточным исправно платить алименты. На Серёжика, как когда-то на Виолетку. О чём свидетельствовали старательно подколотые в книжном шкафу расписки – это было единственное, что хранилось у него неукоснительно-опрятно!

– Ну а что ты с мужика хочешь? – защищали Абрамова мои приятельницы. – Они же не официальные его! Они байстрюки. Пусть скажут спасибо, что деньги давал. Мог бы и не давать. И вообще, Ирка, взялся за гуж – не говори, что не дюж.

Многие из них почему-то считали, что мне крупно повезло. «Ну чего тебе не хватает? – озадачивались они. – Стихи посвящает, деньги носит. Да будь я на твоём месте…». Все они были в разводе и, вырастив детей в одиночку, теперь оказались как бы не у дел. «Попадись мне такой Абрамов, можешь быть уверена: уж я бы из него человека сделала. Одинокий мужик и в куче листьев выспится, а ты – женщина. Ты и научи его жить по-людски». Я прикусывала язык, чтобы не напомнить – такая попытка у неё уже была.

Впрочем, даже моя бабушка (та, что с папиной стороны) жалела, что из-за детей не вышла замуж вторично.

– Вот и сижу я одна сутками, радио слушаю. А ночи такие длинные… – с тоской вглядывалась она в незанавешенное окно, над которым сумрачно темнел рупор радиоточки. – А смерть не идёт и не идёт…

Бабушке в ту пору только-только стукнуло шестьдесят.

Мне не было пятидесяти, ему – шестидесяти, и мы, как запоздалые соловьи, спешили спеть свою песню – осень уже падала золотым дождём на выщербленный асфальт улиц. Потому и все мои заботы лучше было решать за пределами третьих лиц. Ведь иногда неделя звездопада стоит целой жизни, тусклой, как марафон. А нашу-то партитуру расписывала рука Судьбы. Правда, на мои вопросы «как жить» и «что делать» ответов свыше – увы – не поступало. Проза жизни была не по части высоких горних сфер.

Короче, я рискнула подать заявление об увольнении.

14

– На, заполни анкеты, – торопясь в офис, бросил на стол пачку документов Абрамов. – Вот здесь фамилии, имена, даты рождения. Здесь – номера паспортов и прописка. А здесь – копии дипломов. В общем, не сложно. Чем быстрее подготовишь, тем быстрее отправимся. Краков – красивейший город: старинные замки, памятники, парки – средневековая культура. Мы с тобой будем ходить в костёлы, слушать органные концерты. Господи, сколько всего мы бы уже увидели, если бы не твоя трусость!

Третьим в стопке был паспорт Абрамова. Открыв его, я оторопела: в «особых отметках» в нём значился брак с некой Анной Танаки. Наверное, это и была его японка, с которой, судя по дате регистрации, он не только прожил шесть лет, но и… до сих пор не разведён! «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», – повторила я Бабину поговорку, попутно размышляя, как бы Абрамов выкрутился, если бы я тогда ответила согласием? Я ошеломлённо перелистала странички паспорта снова. Что-то насторожило и в цифрах. Это же мой номер! Я только что его уже вписывала в анкету. Может, ошиблась? Нет, всё правильно. Только помню: эти цифры я уже заполняла. Сверила оба паспорта. Мой номер и его разнились лишь в двух последних цифрах! Как такое могло случиться, если документы из разных отделений милиции?! Теория вероятности в действии? Какой процент подобного совпадения может случиться у людей или у времени, которое их сопровождает?

– Ирчик, а ты всё ещё не поняла? Это же Судьба соединила две наши половинки! Теперь мы тот самый платоновский андрогин! Ан-дро-гин! Понимаешь?

Я уклончиво промолчала. Он так и не ответил на вопрос, почему до сих пор не разведён?

– Да в чём вопрос, Ирочка?!– разволновался Абрамов, засовывая в портфель злополучный документ. – Вот прямо сейчас и пойду. И заявление напишу! Я, вообще-то, и забыл!

«Тоже мне, Андрогин», – с иронией наблюдала я за суетливыми движениями человека, с которым ещё год назад мне было так безоблачно.

– Ведь что такое андрогин, Ирчик, – продолжал изрекать он, не беря в голову моё молчание. – Это – слияние двух в одном. Правильно? А все эти штампы-тарарампы… Плюнь на них, Ирчик. Есть чувства – есть Вселенная. Нет чувств – ничего. Нет. И андрогина нет. Есть пустота. Космос.

«Может, и не зря разделили Андрогина? – вдруг выплыла странная мысль, которая раньше не пришла бы в голову. – Может, уж чересчур не сходились его половины? Природа ведь любит «золотое сечение», и большие отклонения от него не входят в её параметры? А вообще, андрогин – он автомат или наделён сознанием? А мы? Не по причине ли беспросветной нашей глупости нас выбросили из космического

содружества? А вся наша Вселенная что? Не своеобразный ли механизм, в котором наш узел потребовал ремонт? А пантеон богов, может, и есть группа ремонтников? Что-то разладилось в системе, её и разделили на две, чтобы починить легче и быстрее?».

– Почему ты читаешь, когда я с тобой разговариваю?!

– Ещё чуть-чуть. Это маленькая вещица, подожди.

– Ничего я ждать не намерен! – Он выхватил из моих рук книжечку и, быстро пробежав глазами название, пренебрежительно откинул. – «Подпоручик Киже»… Какой-то Тынянов… Читал. И никакого там Кижа нет. Мура какая-то. Брось немедленно эту чушь!

– Да что ты говоришь, Витя?!

– Я же интересные вещи рассказываю! Лучше слушай меня.

– Но всё это я уже слышала…

– Так послушай ещё раз! И вообще, некультурно читать, когда с тобой разговаривают. Тем более что самое главное всегда в конце. Сначала идёт первая посылка, потом – вторая, и уж только потом – третья. Третья опровергает все предыдущие и даёт совсем неожиданный вывод!

– Но, если третья опровергает предыдущие две, это неверный силлогизм. Чего ради тогда слушать твои посылки?!

– Ну ты же тупая, ей-Богу, – изумился он. – Это же классный приём. Поначалу запутать, а потом – р-р-раз! И подвести к нужному выводу. Запоминается сказанное последним. Да!

– Но это манипуляция!

– Это психология, Ирочка. Её надо знать или осваивать. А как, думаешь, политики? Чешут, не задумываясь? Дудки! Это при плановом хозяйстве можно было не заморачиваться, а сейчас… Вспомни всем известную присказку: «всякая инициатива наказуема». Потому что у непосредственных начальников-перестраховщиков – что? Правильно. У них присказка вторая, тайная: «я – начальник, ты – дурак»! А сегодня ты сама кузнец своего этого самого… – Абрамов хитро потёр пальцы друг о друга, намекая на деньги. – Ты ведь с людьми работаешь. Значит, должна и о себе позаботиться.

– Так я предпочитаю разговаривать с ними без манипуляций, искренне, – попыталась я не сдаться, хотя знала – доминантность моего «альфы» этого не допустит. И точно.

– А искренность тоже приём! – Абрамов победоносно прошёлся по заваленной папками комнате. Хоть от них уже негде было повернуться, убирать эту гордость словесности не дозволялось.

– Как же тогда общаться?

– А так и общайся. Где надо – искренностью. Где надо – расчётом. Это разумно, Иринчик. Для того Высший разум и делегировал нам способность мыслить! А тех, кто живёт инстинктами, – в суп!

Он чувствовал себя как на сцене. Вдохновенье, захватившее его, рисовало в пылком воображении Абрамова образ себя как человека умного, тонкого, проницательного. И бесстрастного. С этой иллюзией ему расставаться не хотелось и, чтобы придать своим словам большей убедительности, он как бы через плечо бросил:

– Между прочим, это тактика самураев. А они непобедимы!

И, залитый светом в самом фокусе люстры, замер, как на авансцене перед восхищёнными зрителями. Я даже уловила у него порыв раскланяться, так гордо глянул он поверх моей головы и с такой театральной мощью вертанулся на босых пятках. Будь здесь Юлька, наверняка бы прыснула. Особенно, когда он на самой пафосной ноте внезапно потянул носом:

– Кстати, Ирчик, а у нас есть суп? С курицей?

Вопрос: «кого же победили непобедимые японцы?» – застрял у меня на самом кончике языка. Пускаться с Абрамовым в дискуссию расхотелось.

Впрочем, память у него была отличная, и на многих это производило впечатление. Мы же с Юлькой лишь переглядывались и выразительно закатывали глаза, когда Нельсона Манделу он называл Нейсом Мандео, Мандельштама – Мандельштампом, а известного всем Кису Воробьянинова – Воробъянниковым… Не говоря о найденной на полях газеты пометке рукой Абрамова: «Порудчика Кижа перечитать!».

При этом именно мы чувствовали себя неловко! А меня продолжало удивлять, что я смотрела на все эти казусы почти снисходительно – острые углы стирались как-то совсем незаметно, и, перебегая из одной плоти в другую, наши клетки, несмотря ни на что, всё же диффузировали. Правда, эта странная их общность не становилась одинаковостью. Каждая микрочастичка по-прежнему обладала собственным спином. Но факт оставался фактом – инерция долгих отношений всё-таки побеждала.

– Вот-вот! Я и говорю – всё дело в сексе, – усмехнулся Рома, когда при встрече я поделилась с ним своими размышлениями.

– Обалдел? При чём здесь секс?! – ощетинившись, я, невольно запустила в память марево нашей с ним истории. Тогда мы даже слова такого не знали! Прозрачная дымка нашего витания находилась

на таких вершинах духовного товарищества, что плоть была лишь неизбежным и порой даже не всегда обязательным приложением.

– Сама же признаёшь – диффузируете! – Рома насмешливо прищурился и сразу показался мне бесцветным, как солдат из окопа. Даже почудился запах пота от прилипшей к лопаткам гимнастёрки. – Да не смущайся, Ир… Один аспект теряет ценность, другой набирает. Ди-а-лек-ти-ка, – добавил он кисло и нехотя.

Нет, Рома больше меня не понимал! Или за время нашего розного существования он тоже диффузировал? Только совершенно в других, плоских, пространствах?

– Согласись, искренность нужна не всюду и, тем более, не всегда, – не унимался Абрамов, чувствуя, что не убедил. – Говори мы всегда то, что думаем, мы бы уже потеряли всех друзей. – Он подмигнул, готовясь отразить новый выпад.

Но я согласилась. Из неспособности противиться доминантному самцу. Всё-таки та американская теория и в самом деле актуальна. Для высших, но всё же животных.

О Танаки-сан я напоминать не стала. В принципе, меня она особо не уязвляла. Всё, что было прежде, к нам двоим не имело отношения. И хоть изредка где-то на задворках сознания мелькали не вполне определённые сомнения насчёт его нравственности, но чужих следов в квартире № 13 я не просматривала.

А вот разборки с самой собой происходили всё чаще, невольно возвращая меня к почему-то запавшему в память разговору с Ромой. По ступенькам времени я спускалась к прежней себе. И в бесконечных пересудах приятельниц о сексе без любви и о любви без секса искала ту фатальную возможность гармонично соединить эти обе ипостаси. Но невидимый барьер, возведённый раздражённо-презрительным Бабиным пуританством, крепко держал оборону: размышлять, а тем более рассуждать об этой стороне жизни казалось стыдным – а значит, и сама она выводилась за рамки – что не по протоколу – незаконно. Как с религией – все крестят детей и ставят свечки – «а вдруг поможет!», а многие, с любопытством вглядываясь в однополые браки, твердят: «Грех!». И тут же грешат сами. Но уж, если исходить из этой системы координат, – не сам ли Бог (или какая там ещё сила?) вложил в нас наше неистребимое любопытство?! С тех пор ведь и ведёт начало навык жизни по двойным стандартам. А если так, то, похоже, это именно я Рому не поняла: он потому так спокойно произнёс то, ранее устрашавшее, слово, что уже давно прошёл путь моих размышлений?!

15

Юлька появилась за час до отхода поезда «Одесса – Варшава». Было решено, что на время нашего отсутствия она поживёт в квартире Абрамова. Виолетта и её муж Сашка числились в штате Центра: она – мануальный терапевт высшей категории – вправляла позвонки, а Сашка – главный менеджер – гнал ей клиентуру. Сейчас они уезжали вместе с нами, и квартира их тоже оставалась на Юлькином попечении. Чуть позже в Одессу приедет Артём, и присматривать за обоими адресами они будут вместе.

– Так как, выйти мне замуж или нет? – за пятнадцать минут до отхода поезда огорошила меня Юлька.

– Он сделал официальное предложение? – оторопела я.

– Ну да. Вчера, – грызя яблоко, отозвалась Юлька, представляя семейную жизнь тем, что сейчас у Сашки с Виолеткой. Те уже целовались, небрежно забросив чемоданы наверх. – Папа говорит – соглашайся.

– Я не знаю, Юля. Я не могу тебе советовать – я ведь Артёма только один раз и видела…

– Да нормальный пацан, – отмахнулась Юлька, которой теперь сам чёрт был не брат! – Он из интеллигентной семьи, не курит, совсем не пьёт, скоро получит диплом. И мысли о бизнесе у него есть. Интересные!

– А жить где?

– Жи-и-ить?! – глаза Юльки стали совсем круглыми, и даже кожей я почувствовала, как архаичны мои представления. – Да ну! – Юлька рассмеялась. – Можно просто встречаться. Сейчас многие так – штамп в паспорте просто для будущих детей. Или у него в Ереване. Там у родителей большой дом. Артём его перестроит и сделает дом-трансформер.

– Это как?

– Ну, когда стены можно раздвигать и передвигать. К примеру – заснули в спальне, – расхохоталась Юлька, – а проснулись… в чулане! Или, – заметила она мой испуг, – можно построиться где-нибудь возле соснового бора, в Ирпене. Там у папы и местечко есть – гараж стоит. А ещё Артём проходил практику в Калифорнии. В Силиконовой Долине. Его посылали туда по программе обмена студентами, и он придумал что-то насчёт обогрева домов альтернативной энергией. И ему сначала предложили сделать опытный образец, а потом и контракт подписали. На целых пять лет! В общем, он знает, как строить дом за двадцать часов!

– Что-то я не поняла. Как это – за двадцать часов?

– А так. Трёхмерная печать. Не слышала? Ну ты даёшь! Трёхслойная технология, называется. Трёхмерное копирование материалов. Там такие специальные компьютерные принтеры стоят. Он говорит, что уже даже пищу и одежду принтуют – такая еда ничем не отличается от настоящей.

– Обожди! Так мы же живые. Мы же не компьютерная игра!

– А ты уверена? Я – нет. И Артём – нет. Он даже уверен, что мы что-то вроде смайликов с программой. В общем, не волнуйся – проживём! В перспективе – лет, наверное, через …дцать, и у нас такое будет. В Виннице сейчас как раз переговоры насчёт венчурных инвестиций.

– Ой ли! Ты-то сейчас замуж собралась, а не лет через «дцать», – отбила я, пропустив незнакомый термин мимо ушей.

– Ну, мам… У тебя романтики – просто ужас! Нуль по Кельвину! Одни иллюзии про любовь-морковь с козликом Абрамовым. И что мне с тобой делать?! А люди уже и нанопорошки придумали: посыпал – и сотворил что хочешь. Собственноручно! Ты, кстати, в курсе, что уже есть оконные стёкла – нажал кнопку и – смотри футбол. Или оперу слушай. Нет? Ну так и молчи. А то – «где жить, как жить?»… Жить можно везде! Даже на Марсе. Вон же, говорят уже. Но ладно, можно и в Калифорнии, в той самой Долине. А нет – так можно и по старинке: вы с Абрамовым – к Бабе, а мы – у вас. Или комнату в центре Киева снимем. Чтобы гулять по ночам. По-разному можно.

Ни один из вариантов меня, конечно же, не устроил. А сам факт намерения, объявленный столь походя, вызвал во мне полное смятение: ну несерьёзно всё это. Даже если папа рос на Борщаговке…

– Давай-ка, Юленька, через месяц. Я вернусь – и мы всё обговорим. С кондачка такие вопросы не решают.

– О-й-й-й! – нетерпеливо бросила Юлька с выражением съеденного лимона на лице. – Перестраховщица!

Я ехала в очень большом смущении. Целый месяц вдали от дома!

И как в воду глядела.

16

Польша ошеломила высочайшей (я ведь за границей ещё не бывала!) культурой. Зелёные, засеянные газонной травой дворики, тихие парки с чистыми прудами, где плескались утки. Аккуратные, ухоженные домики с каскадами цветов на балконах. И будто промытый водой воздух. Всё это ничуть не напоминало наши бунтарские города с до отказа переполненными урнами и с окурками вдоль выбитых тротуаров. Вечерняя сосредоточенность местных улиц воспринимала с испугом даже громкую речь. Полиция возникала прямо из воздуха! Вежливые полисмены, узнав, что нарушители – русскоговорящие гости, указывали на ратушу с часами: в это время шумят только в специально отведённых местах. Благочинная атмосфера царила и в кафешках, куда мы забегали выпить кофе: на каждом столике – крохотный букетик фиалок и диковинные разовые пакетики сахара. Без привычного звяканья ложек-вилок эта безмятежность так контрастировала с тем, что осталось по другую сторону границы, что от восхищенья у меня не было слов! Неужели когда-то и мы будем такими же?!

Несколько десятков язвенников Войска Польского проходили экспериментальные сеансы лечения по авторской методике нашего Генерального. Одна группа получала лечение безмедикаментозно, исключительно нашими высокочастотными приборами, вторая – при соединении нового метода с медикаментозным. Третьих лечили традиционно. Уже через десять дней наша контрольная вторая группа по своим результатам значительно опередила обе другие. Первая вышла вперёд на неделю позже. Третья – та, где применялись обычные лекарства, отстала от первых двух на несколько недель. Руководство Войска Польского заявило о готовности ещё на год продолжить эксперимент. И это была победа! Мы пили шампанское, мы окончательно избавились от шор подсознательного скепсиса по поводу отечественных методик. Мы давали интервью представителям газет, польскому радио и телевидению, где я напомнила даже о русском Левше с его подкованной блохой. Все улыбались, кивали головами, похлопывая в ладоши, а один журналист всё пытался постичь, зачем блохе подковы? Не зная ответа, я пялилась в мониторы компьютеров – корреспонденты быстро набирали свои тексты, чтобы скинуть их в номер. Мне казалось, что уровня такой цивилизации у нас не будет ещё с поколение.

Утром на рынке, куда я ходила за свежими фруктами – их тут было, не в пример даже Одессе: от винограда до экзотического киви – меня остановила синеглазая полька с волосами цвета пеньки.

– Русская пани знает, что у неё в стране переворот?

– Как это? – опешила я. Ещё совсем недавно, несмотря на перебор эмоций, страна была почти инертна.

– Да. Сегодня с утра передали: в Советском Союзе путч.

Я кинулась в гостиницу. Новость уже обсуждали. Одни её приветствовали, другие считали, что Президент Горбачёв довёл страну до развала. Я была на стороне вторых – та низовая демократия, что захлест-

нула наши города митинговыми страстями, не имела ничего общего с демократией, о которой Михаил Сергеевич так любил поглаголеть. Более того, раздражённые «сухим законом» соотечественники, уже и раньше выбрасывали лозунги «Геть!». Но ни в один из возможных сценариев путчи всё-таки не вписывались.

Более прозорливые боялись гражданской войны. Потому что мятеж в такой огромной стране означал и неизбежный передел собственности. А кто же отдаст её добровольно?

– Срочно возвращаемся, – бросилась я к Абрамову.

Он стоял в холле с нашим польским шефом Чеславом Дидински – элегантным человеком средних лет, который, благоволя нам, часто приглашал нас в гости, где я изумлялась, с какой скоростью накрывается для гостей стол – всякие кухонные автоматы мгновенно нарезали, крошили, тёрли продукты, после чего некоторые из них за считанные минуты превращались в отбивные или жареную утку. «Нам бы так», – любовалась я женой пана. Ей домашняя суета не доставляла хлопот. Среди механических помощников выглядела пани Малгожата, как телевизионная ведущая.

– Чеслав говорит, что все поезда в нашу сторону уже забиты. И на самолёты билетов нет, – растерянно известил меня Абрамов, то снимая очки, то водружая их на нос снова. Позолота доминантного «альфы» определённо покинула своего носителя – Абрамов выглядел, как грибник, потерявший в лесу дорогу.

– Пани Ирина, – всматриваясь в меня цепким взглядом психолога, повернулся ко мне пан Чеслав. – Сейчас все посольства и консульства предлагают вашим гражданам политическое убежище. Если хотите, вы со своей группой можете остаться у нас – контракт подписан. – Уловив на моём лице несогласие, – он быстро добавил: – Можете даже выбрать любую страну – сейчас нигде не откажут.

– Мне домой надо, Чеслав, – сказала я, наблюдая, как запаниковали глаза Абрамова. И мстительно уточнила: – У меня там дочь и мама. Понимаете, Чеслав?

– Понимаю, как не понять… И всё-таки, пани Ирина, – не отступил тот, – у нас с вашей группой официальный контракт, группа продолжает работать. А вам, вам лично, я предлагаю остаться навсегда. Я знаю о вашей семье в Украине. – В его глазах читалось сочувствие. – Мы уже пережили такое. Но наша страна крохотная, у нас всё закончилось быстро. А что будет у вас, даже представить страшно. Подумайте, пани

– Это шанс, Ира! – когда мы остались одни, зашептал обрадованный Абрамов. Перед его глазами замелькали картинки одна соблазнительнее другой.

– Ты только взгляни вон туда, – он махнул рукой в сторону окна, за которым расположился живописный бородач в джинсе и ярких сандалиях на босу ногу. Бородач сидел в окружении дюжины пивных бутылок. – Ты видишь, что пьёт этот босяк, Ирчик?! Он, сволочь капиталистическая, лакает «Paulaner hefe»!!! Это лучшее немецкое пиво! Нам – недоступно, а польскому бомжу – в самый раз!

– Вот и оставайся, – раздражённо бросила я, понимая, что вообще-то, пан Дидински прав. Но пиво, даже самое лучшее, не стоит родины.

– Э-эх, Ирчик, – глаза Абрамова напомнили мне кусочки льда в полынье. – А что мне делать тут без тебя?

На другой день мы ехали домой. На крыше вагона. Пожилой пограничник лишь почесал затылок, разглядывая наши документы, и махнул рукой, мол, что с вами делать, проходите…

Но… когда мы приехали, всё уже закончилось. Мы ещё успели в многоразовом повторе теленовостей увидеть, как, взобравшись на танк, светловолосый гигант толкает речугу, призывая возбуждённую толпу к свободе и независимости. Он возвышался над толпой, подобно бетонной опоре, и в голосе его звучал тот особой ковки металл, что искони шёл на мечи русских богатырей. Но как представлял себе богатырь свободу и независимость, он не сказал. И мы не знали.

Продолжение читайте в следующем номере.

ИРИНА ЧУДНОВА

У ТЕБЯ ПОД НОГАМИ РИТМ

***

..ничто не повторяется, ничто
не повторится –
контровочка, стропа-строка,
кольцо:
«я сам укладывал».

и дай ему раскрыться!
средь прочих
я – нелестнейший Твой шут:
мой крайний стиш,
он – рыж,
он – стриж,
он – ветхий парашют,
в холодном небе дерзкая заплатка –
глагольно-неуёмное крыло,
и помочь голоса,
и горнее тавро..

..нет, птиц ночных нелётная погадка –
моя поэзия.

на кой Тебе? на кой
я сдался – неприкаянный такой? –
тоской, морквой, смоквой
и книжной пылью отравив свой голод,
презрев условность лунных фаз, плен пут
иных, я вновь примусь слагать свой пара_шут,
свой пара_фраз, свой пара_воз,
свой меч, свой бич, свой порох.

и пусть раскроется!
покуда Ты всеблаг,
покуда пред Тобой
я духом наг.

ТОНКАЯ ДИНАМИКА

I.

знаешь, у меня всё, что у всех – целюлит-седина-колит,
недовыплаканный смех, недолайканный общий вид,
лощины-морщины, цинична усмешка, крив рта уголок,
сеансы гламурных салонов туда же: невпрок-сырок,
сурок настигает, сурок бесконечный, суровый рок.

вот так постою с тобой по-над бережком-речкой-дугой,
половлю тени-блики, луч солнца над головой,
обернусь сентябрём-утрём, послежу катерки-курки,
погляжу, как мечут внахлёст сети-удочки рыбаки,
подышу тонким ветром осенним, послушаю их матерок
и пойду, пока пёрышко в небе пишет чей-то последний срок,
а потом голубиной почтой его адресату несут,
призывною повесткой-судьбой меж мозолей в ладони кладут.

придержал мои пальцы в сухой и горячей горсти –
и я слышу: у сердца металл просвистел – и уже не спасти!
помогай тебе господи-боже на долгом и пыльном пути,
и прости меня тоже, быть может сумеешь, прости!
я печаль твою кожей несу и суметь бы её донести:
не раздать, не разъять бы, на атомы не растрясти..

..сквозь трамвайный звонок, на восток – ах, позвольте, позвольте пройти!

II.

зацепиться случайно сердцем за крючок-ништячок рыболова,
смаковать макуху, макову росинку, снова-здорова,
подержать в ладонях кончики пальцев – побежалость-жалость:
да я оставлял, вот те крест, звал с собой, только ты не осталась!
нет, не осталась ты, и не сбылась, не сошлась как пасьянс, вслед не оглянулась,
покачалась с мыска на пятку, углами губ улыбнулась,
и пошла странной походкой витой, как по болотине птица,
по неметенной мостовой, по серым осенним лицам,
вдоль унылой жизни моей, в направленьи земного рассвета,
я стоял на ветру, растягивал трамвайный звонок
на невыносимый литавр конца света, разрезал свою жизнь этим
звуком на раньше и позже, чтоб когда-нибудь, через добрую сотню лет-зим,
посреди ли монгольской степи, на площади в польше
повстречать тебя вновь, на рогатину сна напоровшись
чутким сердцем седым, не щадя ни желудочков и ни предсердий.
я сто раз уходил-годил, наглотался нездешних поветрий,
я калёным железом травил, в океане солёном топил бесконечную память свою,
изворотливый, злой, гибкий вервий.

пощади меня, тонкая кость, карий глаз, мой манок, мой силок-оселок,
моя дудочка крысолова!
..только леса натянуто-сладко дрожит,
и стальной крючок сердце рвёт снова, и снова, и снова..

***

Р.Н.

Мела метла. Метель звала метель,
дразнилась, мол, уйду не раньше мая!
Студент, как долговязый коростель,
шёл, по-кропоткински коленки задирая.

Лёд щерился щербато на залив,
просили каши хлипкие ботинки,
хотелось есть. Курить парадных дым.
Был уговор: у памятника Глинке

забрать конспект. Отдать диплом
в печать. Досдать хвосты.
Доделать два доклада..

..а по Неве неверно –
вверх и вспять
ползла небес железная армада.

а снизу плыл Харон.

Смех, солнце, воробьи
весной растят тротил анархии
в крови.

MAXCOM

Этот мир – не игра-мишура, дело очень серьёзное, детка,
зажмурь уши, разуй глаза, не хнычь, не скули и не бойся,
зачерпни же в ладонь, сколько выдержит, талого ветра,
прошлогодней водицей умойся.
У тебя над макушкой мирт, как у бога, но гуще и шире,
у тебя под ногами ритм: дважды два, послезавтра – четыре.
Послезавтра накормят и выдадут нужные свойства,
послезавтра и выживешь, а сегодня не хнычь и не бойся.

Поезд мчится повдоль кольцевой, дребезжат перегоны-вагоны,
наш привычный, людской-городской, человечий коллайдер адронный,
машинист эталонно плечист, переполнен шального азарта,
возгоняет погонную жизнь из вчера в навсегда, в послезавтра.
Тормозами скрежещет, угля и бензина не просит,
пролетает наш поезд «сегодня» и «лето», летит мимо «завтра» и «осень»,
но едва трубадуры немы у конца остановку пропели,
долетает до края зимы, до утра, до апрельей капели.

Как вы там, пацаны? как вам дышится, пьётся и спится?
как живётся и мрётся вам, элементарным частицам?
как там ваши заначки и нычки, заточки, малины и схроны?
Отженил ваши кочки-кавычки подземный коллайдер адронный,
раскатал весь вагон на протоны-нейтроны, глюоны-бозоны,
склей теперь воедино и наново, в вечный, живой и огромный,
сопричастный друг другу, встающий на хилые плечи, на чужие, свои –
наш измученный рой человечий.

С ржавым лязгом и вонью двойные разъедутся двери,
омываемы ветром, мы двинем на свет, каждый голоден, прав и безмерен.
Там, где чистая музыка сфер грозовой разразится октавой,
нас пред шелестом крыльев незримых и медью небесной поставят.
И поставят так прочно, как ставят свечу к изголовью,
воскрешая упорство и честность, жар сердца и силу воловью,
потому, что в час-пик ты за поручень крепко держался
и собою нас всех удержал, и уже ничего не боялся.

НАДМОДЕРНИЗМ
(аллюзивное)

Н. Зонову

В час, когда всё дотла догорело, осталась одна зола,
и дожди остудили прах, ты в землю воткнул два кола,
на белый повесил тулуп из зайца, на красный – картуз,
и кровавое солнце лепилось на спину в бубновый туз.

С колотушкой явился февраль, нарыдал поднебесье чернил,
гопота расколола фонарь над аптекой в метель – ты чинил,
подобрал наконец башмачки, что в тот месяц всё падали на пол.
Положил эти ночи на дюжины стонущих плеч –
хорошо б наконец от зимы отдохнуть и прилечь,
но слезилась зануда-свеча, воск клепсидрой истории капал…

Небо узкое хмурится, жрёт провода и плюёт шелуху ворон,
ежедневно в Останкине башня играет реквием солнечных похорон,
и в окрестных домах реновацией грезят глазницы,
но страшатся её, подтянув по-хрущёвски балкон
к подоконнику. Если тебе не спится, и чтобы не спиться,
забаррикадируйся вирусом, космосом с тысячи тысяч сторон.

И сполна отработав свой ад, номерку на ноге вопреки,
я, быть может, узнаю, в какую манипулу встанут мои стихи,
и какой позвоночник им флейтой положит посмертный Вергилий.
Надевай же на правую руку митенку с левой руки,
на той самой подножке, на плахе трамвайной тоски,
на которой пристало стоять, пока нас до конца не забыли.

Пока нас наконец не зарыли. До дыр замусолив тетрадь –
если надо стихи объяснять, проще лошадь у бабы отнять
на скаку – пусть пожар до венцов нижних избы-читальни залижет,
как котят. Так-то, брат, Геродот-Герострат, жги глаголом –

они не горят, я же вижу!

СКАЗ О ГОРОДСКОЙ ПАДАЛИЦЕ

В час глухой, когда улиц во чреве тщетой прогорят фонари,
городская падалица восстаёт от земли,
в этот час, когда бредит трава на небе, бредёт по земле трава –
закружится у падалицы едина на всех голова,
постучит ей в сердце свинцовый выхлоп, Четвёртый Рим,
спросит: «выди, в ноги пади! а после и поговорим».

А над городом память травы небесной – смог да зола –
о любви лепечет ей падалица спохмела,
забродившей фруктовой нежностью, раем заёмным смердит –
приложись-ка ушком в поребрик, прислушайся, удивит:
«мол-де соль трав земных неразменна, блаженна, она – подзол,
галунами луны расшит путеводных небес камзол..»

Звон-трава земная прикажет пьяно: «восстань да иди!» –
встрепенётся червивое сердце в немой худосочной груди.
И прозреет подвига трепет падалица тот час,
задохнётся пряно: «эй! иду на вы!», протрубит да пойдёт на вас.

Ей ночная птица сторожко курлыкнет – «никшни, лежи! –
глянь, от нимба фонарного молоху равновелики бредут бомжи».
И ведёт их не долг, не морок, не стон, не предвечный страх –
соколиный-змеиный голод белокаменного нутра.

Как Луна из-под облаков в травы земные отвесно себя прольёт,
так рука человечья плод с тёплой землицы возьмёт.
В нимбе света фонарном присядет мужик на лавку, разинет рот,
и заплачет один на весь город стоглавый за тысячеликий народ.
Эти слёзы горючие пыль разрисуют в узор парчи –
исступленьем дорог наших дороги, лунным песком горячи.

Опрокинется город червивым яблоком, выхлопом, ржавым узлом,
и забудется бомж на скамейке убогим пораненный сном,
меж мозолей баюкая падалицу, как дочь,
и блаженную весть
повторяя изглоданным сердцем –
«Долги нам остави! и хлеба насущного выпеки днесь!»

ЕЩЁ ТОГДА

Из цикла «Современность»

это было в 93-м
в мою первую зиму в субтропиках
в первую уханьскую зиму

я шла на почту
светило низкое солнце
листья платанов скребли асфальт со звуком консервной жестянки
ветер, такой лёгкий, не мог поднять их в воздух и только тащил по дорожке
туда и сюда
мимо ограды детского сада
я заглянула за невысокий забор
воспитанники-трёхлетки стояли паровозиком –
один за другим
и учились завязывать друг другу
матерчатые халатики с рукавами на резинках и завязками на спине
такие надевают детишкам поверх шерстяных свитерков и ватной курточки
чтобы не запачкаться во время прогулки

они делали это в первый раз
и воспитатель терпеливо объясняла –
не надо отвлекаться на то, что у тебя за спиной, надо помогать тому, кто стоит впереди
не у всех получалось
некоторые ленились
некоторые вертели головами и капризничали
некоторым было скучно
некоторые ёрзали и проказничали
воспитатель объясняла раз за разом
пока все не справились
и не разбежались играть шумно и весело

в ту зиму
я часто ходила этой дорогой в такое же время дня
и каждый раз останавливалась посмотреть
как дети помогают друг другу завязывать халатики
с каждым днём они делали это всё лучше

всё больше доверяли друг другу
всё быстрее выстраивались паровозиком
всё меньше капризничали и ленились
эти маленькие дети в разноцветных одёжках из плотного хлопка…

прошло много лет
я давно живу в другом городе
хожу другими дорогами
да и носят ли сейчас такие халатики в больших городах Китая?
но этой зимой каждый раз, когда я смотрю новости
и вижу врачей и медсестёр
паровозиком завязывающих спецодежду друг на друге
я вспоминаю тот детский сад
и трёхлеток, которые учились помогать тому, кто стоит впереди
и доверять тому, кто помогает тебе за твоей спиной

им тогда было три
сейчас тридцать
и они обрели это умение

ещё тогда.

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

ВЫЙДЕШЬ С УТРА ИЗ ЕГИПТА…

***

В ясные дни сквозь меня можно увидеть море
и бело-жёлтый берег. Если не шевелиться,
то из молочной дымки проступят вскоре
дальний корабль и ростр молодые лица.

Видишь? Забытое, растраченное на открытки
спит – неразменной валютой, и воздух над ним фиолетов.
Море, во сне ворочаясь, сияет не хуже слитков.
Море видно сквозь Лотов, тем более, сквозь поэтов.

Жаждет фрегат, ожиданием долгим сморен,
штиль променять на шторм, на полсотни качек.
…Море досталось тем, кто объелся морем,
море для них давно ничего не значит.

Но сквозь меня порой
видно обмылки отлива,
размытую акварель, местных наяд купанье.
Много ли нужно, чтобы прослыть счастливым?
Снится всю ночь строка, далее всё в тумане.

Если начнет саднить задетое неосторожно,
то – на бинокль раскошелиться или визы какой добиться.
В крайнем случае, сквозь меня
море увидеть можно,
если не шевелиться. Главное, не шевелиться.

Odessa-New York

В СТЕПНОЙ ССЫЛКЕ

Dolor hic tibi proderit olim
Овидий

Назначено выжить, велено не горевать.
Здравствуйте и прощайте, ближние и дальние.
Степь одомашнена, и куда же нынче ссылать?
То ли дело при тирании, каком-нибудь Тиберии
Или Августе… В августе за лиманом
Наступают такое спокойствие и желтизна,
Не на что жаловаться ни Богу, ни правителю.

Мы приближаем места отдалённые,
Давая вещам имена. Слава словам, хвала Овидию!
Безымянные, неизменные, как ржание степняка,
Здесь табуны паслись и тавры перекликались.
Как звались до поэтов
Эвксинские берега,
все эти Овидиополи, Татарбунары?

Как назвать эту вьюгу, набившуюся в лакуны пор,
Из сгоревших трав всех оттенков латуни?
Мир в переводе – нестрашный мир.
Спасибо, Овидий, за «степь» на латыни.

***

Выйдешь с утра из Египта, оглянешься – веет песок
Недодуманных строчек, салфеток исписанных мусор.
Внутренний раб устал, от давления слёг,
Точнее, проснулся, вымок, высох.
«Это Исход, моя милая, это иссох
Прежний источник, а до нового –
Тысячелетие с гаком.
Хочешь, пока переспим (он опять о своем!),
Хочешь, прижмёмся мыслью…».
За порогом внюхиваешься, как собака,
В воздуха новые сапоги,
Скрежещущие по обломкам скрижалей.
Как мне жаль, что Египет – это внутри,
Что из него не уйти и не сделать целью.

Полно, случайный попутчик, любитель душ
Полуживых, красоток, щекочущих скротум
И самолюбие! И захочешь, но не довезёшь
До сияния вечного мемориала Субботы.

Я-то пешком, спасибо. Я – нелюди-
мая рабская косточка, невелика потеря.
Выйдешь с утра из Египта – куда идти?
Внешний мир как пирог поделен.

Руку поднимешь – универсальный жест,
Чтобы поймать такси или раздвинуть воды.
Оглянись: за тобой – лес рук – голосуют же,
Не поленившись, «за», другие стрэпхэнгеры[1], следующие народы!

Выходя из Египта, не забудьте кулечки для манны
Подготовить; уйти, уходя, – нет, просто сойти на нет;
Проверить бумаги в кармане и краны.
И, конечно, всегда выключайте свет.

---

1 Пассажиры, содержащиеся за перекладину над головой. Здесь – люди с поднятыми над головой руками во время салюта.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ГОЛУБЯ

Посвящается писавшим письма в 80-ых

Голубиная почта… А как ещё,
Как передать то, что важно, на окраину мира?
От далёкого ветра горит щека
в пятнах бессонницы и эйфории.
Голуби, победившие встречные ветры,
жёлтые от какой-то
паназиатской хвори,
бьются в небесных своих конвертах.
Голубок пятнит голубое.
Я была бы другой, я бы в сорняк
выросла без этих строк,
без доставляемой регулярно
беспричинной веры в меня,
без чернильных высохших радуг.

Спрятала голубей подальше,
сменила адрес, живу одна.
Но однажды прилетает новая стая,
птицы бьются о стекла, пророчат радость,
в крайнем случае, экспресс-деливери.
Жаль, пославший не рассчитал недель и минут.
Продолжительность жизни *Columba livia*
умножена минимум н*а* три.

Голуби падают на подол окна,
голуби столько не живут.

МЫ

По твоей подушке стекает слеза из света.
По моей подушке расплесканы брызги бликов.
Это о них писала в тоске предсмертной
женщина-классик, предрекая пожар великий.

Tablet – это планшет, а не пустая tabula.
Тьма – это правда тьма, не метафора.

То же самое – с предрассветом,
зарей и прочими атрибуциями.
Хорошо, что на тумбочке вспыхивает айПэд,
а не, как у классика, революция.
Будь терпелив, если хочешь проснуться.

Ты отпиваешь рассвет, заводя машину.
Упирается утро, даётся нам нелегко.
Я просыпаю на стол мешанину
из мыслей, сверху
свет монитора,
сухое его молоко.

НАДЕЖДЫ НОЧНОГО МЕТРО

Куда бы ни прибивало в поисках
последнего шанса переместиться в пространстве,
в разноголосице указателей отыскивается
альтернатива,
другая платформа в оплавленном мармеладном свете
казённого флуоресцента,
(откуда ни стартуй, она в противоположной стороне).
Это
к ней
прибывают немногозвучные ночные поезда.
Добежишь?
(если добежишь) – в каблуки
вгрызаются
подвижные челюсти пола,
приглашает неевклидовость, неумолимость
вечно сквознячных туннелей.
Одинакова чернота
под землёй или на мосту.
Одинакова чернота под решётчатым сводом нёба
(есть у неё другое имя, молчание),
под решётками рёбер
(перебои в сердце),
под зарешёченными позвоночниками мостов,
за решётками тощих веток, арестовавших небо.
И пока из подземной ночи не выйдешь под ночь наземную,
остаётся
Прижаться к стеклу и спать;
убаюкать весёлых страшных зверей
за решёткой сознания моего
обещанием, что все ночные поезда
движутся по одному маршруту,
в направлении утра.

ЛЕГЕНДА О ДВУЦВЕТИИ

На вечеринке рассказывает парень,
Перевитый, как лентой, спиртными парами:
«…Там текут две реки, там всего по паре.
Прыгнешь в красную реку – очистишь карму,
Окунешься в зелёную – вспомнишь о Рае.
В одном русле, бок о бок, ЮНЕСКО не знает…».
Я теперь день и ночь о реке мечтаю.
Я ношу её за щекой карамелькой двуцветной,
красно-осенней, зелёно-летней,
Я всеми своими реками
венозно-артериальными
желаю попасть на берега те дальние,
где на зелёной волне красная лодка качается, беспечальная –
где зелёная лодка на красном кажется обречённой,
где что-то изменится в мире моем бело-чёрном,
где легко читаются сюжеты других ситуаций…

«Туда довольно легко добраться:
пять часов лёту, а там найдёшь таксиста,
не словами, так жестами задёшево договоришься,
там не все понимают на деньги, а ты же, ну же…
за полдня домчит, выйдешь на берег, как Катюша.

Закачает время две лодки, заморочит на пенных порогах…
Или так, без порогов, и воду рукой не трогай:
их бациллы опасны для гринго; зевакой ледащим
погляди на слиянье цветов. и живи себе дальше.
И плыви своим пенным Манхэттеном, посещай города-миляги
и храни себе реки на глянцевой фотобумаге,
но храни эти волны в себе, не смешивая краски».

Так сказал мне парняга, тоном вызывающим и бунтарским.
Он чертил ногой по паркету, и танцующие топтали
Две реки, две косы, две вплетённые ленты радости и печали.

Вечеринка сплавилась по течению, я живу по полной.
Я сейчас проплываю по красной,
Зелёную помня.

***

Рюйш Рашель родилась раньше меня
на триста лет и четыре дня.
Они выписывала пестики и лепестки,
жизнь растений была ей близка
и наполнена смыслом и силой.
С утра умывала детей, мыла руки с мылом,
готовила холст, составляла букет.
Сложней составленья букета искусства нет,
Спонтанность не выше искусства детали.
Поэтому картины Рашель покупали,
А муж её был известен тем, что был… её мужем.
Рашель писала маслом весь день, свет теребил за плечо,
потом на масле жарила ужин,
потом укладывала детей,
и назад в мастерскую.
Двери сводили с ума пересвистом петель.

Она подписывала работы:
«Рашель Рюйш, стольких-то лет от роду».

Сегодня, второго апреля, среди полтыщи новых смертей,
я погружаю свой виртуальный нос в букет из десятка затей,
из переплетений света и красок,
и забываю об отсутствии масок,
о вое больничных сирен.
За окном в мертвечину играет
воздушно-капельная третья мировая,
и капелькой на носу повисает вопрос:
зачем было так, на износ?
Во что она верила, не отрываясь от кисти?
Что я могу проснуться опустошённой, если
она не задержит в вечности соотношение
головок, стеблей и листьев,
хризантемы в фижмах, жабо георгинов,
оборки ромашек и рюши груш?
Что натюрморт – изобретённый ею
способ соединения душ?
За построенный натюрмост принимай благодарность,
вечно модная Рашель Рюйш.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА

АБСОЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ

***

Там у ворот седое дерево растёт.
Жена из лотоса, а лотос из слезы.
И сонмы ангелов на острие иглы –
на то и день, на то и Крым, на то и Бах.
Прозрачным почерком волна ведёт отсчёт,
и время истины, и грешен твой язык,
медовой камедью истекшие стволы,
ко всем богам одновременная мольба.

Там нет икон, там ни скульптур, ни алтарей,
там девять входов сквозь порталы лепестков.
Рассвету некогда миндальничать со мной –
миндаль цветёт, для счастья тысяча причин.
Летят страницы отрывных календарей,
никто не спросит нас «чай, кофе, молоко?»,
предложит сам апрельский дождик затяжной
мой генератор неслучайных величин.

…Браслет из лотоса, подарок Элисты,
какую песнь навеешь завтра ты?

***

Арабесок – растительных и музыкальных –
растекаются краски, просыпаны звуки,
не уйти, не отвлечься – все лужи зеркальны,
мир в себе отражён, кто спешит – близоруки,
растекается время, и слово не значит
ничего, кроме графики, музыки, дрожи
волновой синеватой пружинящей сдачи
с воплотившихся смыслов чернеющей рощи.

***

Айва, достигнув рубенсовских форм,
утратив бледноликую пушистость,
всей ласковостью жёлтых хромофор
дебош и буйство лета завершила
и увенчала – подлинна, права,
осмысленна, весома и бугриста –
нет, не листва – последняя айва –
расцветкой нежной радуя буддиста,

тревожным ароматом унося
в незримый рай октябрьского разлива,
в такие дни – простишь любой косяк,
вселенная добра и справедлива
и яблокоподобна. Под залог
страдательный – кредит неимоверный,
волшебная брутальность, монолог,
подслушанный с изнанки атмосферы.

ПОЕЗД

Как много звуков здесь, несовместимых
с пределом человечьих перепонок –
для чьих тогда? Зачем так громко лязгать,
гудеть, стучать, пугая рыбу в море
и птицу в голове,
зачем грозиться –
ведь каждый день, уже никто не верит,
и даже змей на проводах смеётся
лицом ромбическим с улыбкой жёлтой.

…Карениной давно не видно Анны.

В МУЗЕЕ АХМАТОВОЙ

А в комнате царицы – рог вазы, холод печи,
овал зеркальной глади над сонным креденцом[1].
Ещё прекрасный профиль судьбой не изувечен.
Поэту нужен – угол и только снится – дом.

Овал зеркальной глади луну в простом окладе
впускает каждый вечер погреться у огня –
заглядывай в тетради, но только, бога ради,
не пророни ни слова, не спрашивай меня.

Над узкою кроватью – рисунок Модильяни,
олень – хранитель писем на краешке стола.
Овал зеркальной глади не возвращает Ани,
серьёзной дикой девочки из Царского Села.

[1] Буфет для посуды *(укр.)*.

***

Мы будем писать иначе,
иначе дышать и думать,
игриво, вразнос, надрывно,
рассеянно-истерично.
Слова ничего не значат,
а лица всегда угрюмы,
а значит, к чему нам рифмы
болезненная привычка.

Поэзия – та же плесень,
но в ранге пенициллина –
глядишь, помогла бы миру –
да он нас не станет слушать.
Не стоит, куда ты лезешь –
там скользко и без сопливых, –
да ямбы дырявят лиру,
хотя амфибрахий лучше.

Дорогу слонам султана!
Поэзии стало много,
поэзия стала прозой
всеядного – дичь любую –
периода Pax Romana –
из тысячи монологов
уйду со своим неврозом –
хоть вербы перевербую.

***

Я остаюсь твоей аборигенкой,
Баксан, пусть этот душный южный город
плывёт по зною подгоревшей гренкой –
но без меня. Я буду каждой порой
вбирать нарзан, озон, идти до срока
по солнечной извилистой дороге,
где верх и низ условны. Только боги
твои решают, как бежать потоку,
где камню падать, что смывают сели
и под каким углом упрямой ели
противиться твоим ветрам жестоким.

Рождённый ползать – уползай навеки,
обрывки слов, прозренья и догадки
слились в живую бешеную реку –
кто ясно мыслит – ясно излагает.
А человек ли, муравей – пчелою
порхай по травам, ахай над цветами,
дивись – как щепка, унесён волною
твоей судьбы краеугольный камень.

***

Твои диктанты всё короче –
Ты больше стал мне доверять?
А может, меньше? Между прочим,
я разучилась повторять
слова молитвы. Паранойя
терзает эпигонов всласть,
те, кто спасён в ковчеге Ноя,
хотят ещё куда попасть,

да забывают от азарта,
о том, что человек не зверь,
что золотому миллиарду
не уберечься от потерь,

что голодающие дети
нам не простят своей судьбы,
и много есть чего на свете,
что не вмещают наши лбы –

упрямые от страха смерти
и робкие от страха жить.
Не для меня планета вертит
Твои цветные витражи,
В мозгу искажены масштабы –
пыталась верить, не любя,
а без задания генштаба
так сложно познавать себя,

не отвратит Твой гневный окрик
от эйфории, от нытья,
и я сама себе апокриф,
сама себе епитимья,
сложнее пуританских правил
нескромное Твоё кино,
порой Твой юмор аморален –
но что поделаешь – смешно.

ИРОНИЧНОЕ

баклану – бакланово,
моллюску – моллюсково,
собаке – собачья и смерть
знай ранг своего назначения узкого –
не помнить,
не думать,
не сметь.
Не верь,
не проси и не бойся,
глаголами
хлещи свою душу с утра
и пеплом посыпь виноватую голову
и будешь по-своему прав

***

Слова такие не живут в тепле
и в городе.
Зачем качаться стеблю
засохшему
в унылом феврале,
когда не мочит дождь
и юг не треплет
холодным ветром здешние поля,
ломая ветки в жидких перелесках,
и редкий поезд
ржавою железкой
не тянет тонны мелкого угля?

***

Я люблю одинокий человеческий голос,
истерзанный любовью.

Федерико Гарсиа Лорка

На изгибе весны, на суставе грозы с потепленьем,
с набуханием почек, паническим ростом травы,
разветвленьем суждений о жизни и воцерковленьем
всех агностиков – к Пасхе, с прощеньем чужой нелюбви,
во младенчестве млечном и солнечном Вербной недели,
сквозь десант одуванчиков в каждый очнувшийся двор
прорастает отчаянно глупое счастье апреля,
просто так, от души, нашей злой правоте не в укор.

Как на скалах цветы – не для нас распускают созвездья
в раннем марте, под снегом, на северных склонах, во мхах –
да кому мы нужны с нашей правдой, и болью, и жестью,
вечной просьбой бессмертия и паранойей греха –
в царской щедрости мокрого парка. Так что ж мы, уроды,
сами сбыться мешаем своим нерассказанным снам?
Под раскаты грозы пубертатного времени года
в мир, любовью истерзанный, всё ещё входит весна.

***

С воскресным расписаньем незнаком
и равно чужд забот о человеке,
назойливый рассвет ползёт под веки
разбавленным пролитым молоком.

Я – здесь. Ты – где?
Двухполюсный мирок –
Как свет в окошке. Выхожу наружу.
Запрыгивают солнечные лужи
весёлыми щенками на порог.

Сверяя с картой линии руки –
вдоль позвонков просёлочной дороги.
И выведут, как рельсы, две строки,
две параллели, струны-недотроги.

А дальше – просто, как слова легли –
от глупых окон боли не скрывая,
следить, как просыпается вдали
насмешливая мордочка трамвая.

Всё хорошо – рассудку вопреки.
И выглядят ответом на вопросы
бессонница, Гомер, и жизнь, и слёзы,
чай, костромского сыра лепестки…

АБСОЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ

Сколько лет живу уже на свете –
а звезда, как прежде, выше крыши.
Видно, ей действительно там место, –
как мне это представлялось в детстве.

ЕЛЕНА КОРО

ВЕСЬ МИР – POSTТЕКСТ

ОСТРОВ РОСОВ

Попробуй остров оторвать от ойкумены,
получишь орден воскресающих внутри,
прозрачно призрачных как росы от росы.
Не готы, скифы, не сарматы – росы,
их гений – остров, орден на груди.

ОСТРОВ ЗАВЕРШЁН КАК ОБРАЗ

Остров завершён как образ.
Психологи слетаются как бабочки,
а, быть может, сползаются из последних,
чтобы окуклиться в завершённом гештальте,
и упорхнуть в новый цикл.
Поэты на острове экзистенцируют с космосом
в полной незавершённости образов.
Поэты гениями места длят экзистенцию острова.
Дар острова – вечность –
Длящийся миг незавершённого esse.

***

Художница подарила мне вечер,
акварелью вылившийся на бумагу,
белой башенкой августа,
перезвоном белого колокольца,
улетающего в небесный сентябрь…
В сентябре в белом городе
я отпускаю в полёт белые звоны,
звонарём тишины.

КЕННИНГИ ОДУВАНОВ

В колеснице Одина для дочери Ньерда
Святилищем Оду ваны избрали
Прекрасную в слезах богиню
Пламенем юного лета,
Посылающего богатство июня –
Слёзы липы золота,
О, дева ванов!

***

Лето слепками лепоты – ракушками – лепечет
и лечит раковые к(летки) в матрице Леты.
Лето уйдет с рассветом лепетом Ле-
Ты – единственный путь в небо.
Засентябрит с(лепоту) поцелуев лета
клёнописью под сенью осень.

О ЗИНЗИВЕР! О КРЫЛЫШКУЮЩИХ

О, зензивер велик и чист,
как сладостный маис!
источник силы – зензибиль,
целебен зензевер,
зезир, зинзир, зингибери
и…
«Пинь, пинь, пинь! –
Тарарахнул зинзивер»

Великий Велимир писал о двух Чудесных: крылышкующем Кузнечике и тарарахнувшем Зинзивере.
Зинзивер – дивная птица-синица, поющая «Пинь-пинь-пинь!».
И такое это удивительное слово, и так оно само по себе звукописно, что не могу удержаться и продолжаю ряд аллитераций: зензивер, зинзир – проскурник, зензибиль – имбирь, зезир – алтей, зинзивер – мальва – и «пинь, пинь, пинь тарарахнул зинзивер» – птичка-синичка ибн Хлебников))) а всё коралловый Занзибар!
И где-то на коралловом Занзибаре

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

Кузнечик в кузов пуза уложил и зензивер, и зензибиль, зезир, зингибери
и
«Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

Как велик образ малой птицы-синицы!

***

Выжженные виноградники в римской
провинции, со смертью цивилизации
рука об руку смерть агрокультуры,
засуха и выжженная хора,
как опустошённая матрица.
Такие вот сны в конце лета –
в матричном переходе в осень.
Мысли о том, что кривая
несовместимости с жизнью
в столице зашкаливает,
а в провинции просто осень
и выжженные степи.

МОНОГАМНЫМ ОРГАЗМОМ ДО ПЛАЧА

Полигамные всеядные любовники и любовницы,
Словно билингвальные переводчицы,
Переключаются фразой: «Я – женщина».
Малейшим касанием пальцев.
Им хочется в полиструктурной матрице
Обнажиться до сброшенной кожицы,
До семантического казуса,
До наслаждения в интервалах би и поли.
Слишком много любви, дорогая,
Моногамным оргазмом до плача,
Пригубленным соло, совлекаю с себя, болью,
Не переключаясь на полилингвальные триоли.

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ НА КОНЧИКЕ ПЕРА

Счастливый дом на кончике пера,
Здесь жизнь со смертью вечера
Так мирно коротают за пасьянсом.
А мы с тобою, дорогая, стансы
к Августе, монотонный говорок,
И кто-то пробегает между строк.
В проёме мальчик, он из многоточий
У смерти вытянул Шута.
Сестра моя, ты нынче жизнь моя,
И Пастернак ноктюрном со двора.
Сестра моя двуликая, вот миг,
ты смерть моя, мне речь твоя мила.
Счастливый дом на острие пера.

***

Я слышу, полощется парус,
И нет моей воле судьбы.
Звучит Дебюсси, и свет
Камертоном из тьмы
Меня распыляет
На островки синевы.
Я знаю, меня больше нет.
Но я слышу твой парус,
В нём нет черноты.
Синева моих глаз
Пространство спасает от

***

Я – человек эпохи перемен,
постскриптум смены парадигм,
я клаузура нелинейной переменной,
мгновенно становящейся вселенной.
В линейной смене многоточий
я двоеточия пророчий,
постквантовый скачок в трюизм
я зауми эквилибрист.
p.s. весь мир – posttекст.

ОДИССЕЯ

В паузе цезуры на пути от Трои к Итаке,
как в портале, сквозящем Омегой,
появится Фортунатос, человек в сером,
забирающий тень, как любимую, Эвридику.
Ты вернёшься в город, где на белых камнях ни тени,
беглецом из чужих сновидений.
Первым встречным здесь Фортунатос,
проводник от темпоры к хорис,
от альфы к омеге.

ЮГА СЛАВИЯ

пройди со мной сквозь пять балканских стран,
мой неиндеец, неулисс, нездешний,
неизбранный, растрелянный нетрижды,
netrizna но на тризне по отчизне,
распятой не пятой но пятерьмя,
мой проводник на остров неблаженных,
распята пятничным крестом здесь нестрана.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

КОГОТЬ И РОЗА
рассказ

Солнце заливало город, на ветвях акаций выясняли отношения воробьи, одесские коты занимали свои законные места на крышах автомобилей, чтобы оттуда, сверху, вальяжно обозревать потоки горожан, двигавшихся во всех направлениях.

Было утро субботы, дня отдыха и сладкого предвкушения завтрашнего воскресенья. Елена решила сходить на Староконку, блошиный рынок, раскинувшийся вокруг официального Староконного рынка. Там, на расстеленных на асфальте клеёнках и самодельных фанерных столиках, продавцы раскладывали ненужное им дома имущество или, наоборот, антикварные вещи в надежде поправить своё текущее финансовое положение. Покупатели прохаживались – кто в надежде отыскать в куче барахла что-то необыкновенное и редкое, кто просто подышать воздухом Одессы, показать новый наряд и повстречать знакомых, таких же любителей этого вида субботнего отдыха, потому что почти все здесь друг друга знали, и продавцы, и покупатели.

Елена надела жемчужно-серое платье с розовым поясом первый раз после покупки, она ещё не надевала его. Полюбовалась на себя в зеркало в прихожей, взяла сумку и вышла на улицу.

Она проехала пятнадцатым трамваем несколько остановок до улицы Серова и окунулась в атмосферу торгового азарта, поисков той самой, единственной вещи, которой не хватает в коллекции, споров об исключительном качестве и неповторимости данного товара с применением исконно одесских выражений – в обычную тёплую и пряную атмосферу летней Староконки.

Обошла по периметру весь рынок, и собиралась уже ступить с тротуара на проезжую часть дороги, ведущей к трамваю, когда на старой скатерти, расстеленной под деревом, нечто необычное привлекло её внимание.

Это был коготь. Или клык. Что-то такое, металлическое, длиной сантиметров семь, шириной сантиметров пять, не совсем правильной для когтя или клыка формы, с двумя рожками наверху.

«Стилизованный медвежий коготь?» – подумала Елена. Явно вышедшее из рук мастера произведение. Коготь был покрыт въевшейся пылью, но когда Елена оттёрла её, на чистом месте блеснул яркий сполох отразившегося солнца.

– Сколько вы хотите за это, бабушка? – спросила Елена.

– Ну, гривночек пять, я думаю, не меньше – подняла на неё выцветшие глаза старуха.

Елена снова потёрла коготь, повертела его в руках. Наверху – отверстие между рожками, в него можно продеть цепочку и носить на шее. Не слишком ли брутально такое украшение для женщины? Елена хотела было положить коготь на место, но он чем-то притягивал её, от него исходила сила и власть.

Она ещё потёрла коготь влажной бумажной салфеткой, выбросила салфетку на землю, коготь заблестел серым строгим блеском.

– А ведь это похоже на серебро, бабушка, – сказала Елена, – я беру это у вас.

Она положила на подстилку банкноту в 100 гривен.

Дома Елена промыла коготь под краном холодной водой, натёрла бархоткой, продела в отверстие цепочку и застегнула её сзади на затылке. Коготь улёгся ровно в выемку между её тонкими ключицами, туда, где сквозь нежную, слегка загорелую кожу просвечивала розовая пульсирующая жилочка. По цвету её жемчужное платье и коготь очень сочетались друг с другом.

«Как красиво, – подумала Елена, – какая удачная покупка!».

Она уложила Коготь в шкатулку. Шкатулка была лакированная, тёмно-коричневая из прессованного папье-маше, строгого вида снаружи, но внутри обитая торжественным красным бархатом. Там уже лежало одно из самых любимых украшений Елены – серебряная Роза, огромная, величиной в ладонь, со сложно закрученными лепестками, символ женственности и любовного счастья. Так назвал её продавец – турок в художественном салоне Стамбула на улице Лалели. Елена не могла не согласиться с ним – закрученные

внутрь лепестки напоминали то ли рисунок Галактики, то ли женское лоно, но настолько завуалировано и деликатно, что ничего неприличного в этой подвеске усмотреть было нельзя. Скорее космический масштаб женского начала, прародителя всего живого.

Рядом на красном бархате Роза и Коготь смотрелись парно. «Словно Инь и Янь» – подумала Елена. От Когтя веяло стальной мощью и надменностью, его серый блеск завораживал и тянул к себе. Роза, напротив, приковывала взор изяществом линий, мягкостью изгибов, переливающихся тёплым блеском лепестков.

Коготь и Роза.

Инь и Ян…

Лосёнок устал. Он давно уже ждал маму, а она всё не возвращалась. Несмотря на свой маленький возраст, он инстинктивно понимал, почему мама вдруг бросилась бежать в сторону от него и скрылась за деревьями. Непонятно было, что могло привести в ярость эту медведицу, но то, что мать бросилась уводить медведицу в сторону от него, лосёнок сообразил. Вот только почему она так долго не возвращается? Хотелось пить. Еды в лесу полно, но где водоём, лосёнок без матери не знал, и боялся уйти с места. Она вернётся, а его нет. В конце концов, он всё-таки побрёл куда глаза глядят, потому что пить хотелось всё больше и больше.

Они уже бродили с матерью по этим местам, и лосёнок знал, что где-то недалеко должна быть маленькая речка. Он осторожно перешагивал через кучи валежника, время от времени поднимая голову кверху, втягивая носом воздух. Обоняние должно было подсказать ему, где вода. Его мягкие влажные ноздри пропускали воздух внутрь, чётко ощущая струи запахов, различая травы, кусты, съедобные и несъедобные… Но запаха воды не было. Вот эти заросли дуба он помнил, тут они с мамой уже ходили раньше. Значит, он правильно идёт. Он надеялся, что вот-вот покажется тот кустарник с серыми словно обожжёнными листьями, но его всё не было.

Вторая голова, свисающая с его шеи, тянула шею вниз, он всё больше уставал. Она была недействующая, эта голова, не произносила звуков, не ела еды, не думала, но она была частью его самого, его шеи, и он ничего не мог с этим поделать.

А вот тут они точно с мамой раньше ходили. Он вспомнил тропинку, ведущую в деревню, где стояли пустые каменные дома, распахнутые двери вели в комнаты с брошенными впопыхах вещами, во дворах тоже валялись всякие вещи, назначение которых было лосёнку непонятно. Несъедобные, ненужные, глупые, на его взгляд. Но там в каких-то ёмкостях накапливалась во дворах дождевая вода и, пока она не высохла, её можно было пить. Значит, он всё-таки правильно сделал, что выбрал это направление.

Вот и первый дом в деревне. Лосёнок вошёл во двор, поискал, где может быть бочка или корыто, в котором сохранилась дождевая вода, но не увидел ничего такого. Из любопытства заглянул внутрь комнаты. Там, как всегда, не было ничего съедобного, не было ни травы, ни воды, у стены стояла железная печка, валялись ещё какие-то железяки, а на большом деревянном столе посередине лежали блестящие предметы, напоминающие когти той самой медведицы, которая набросилась на него, разинув пасть, а мама увлекла её за собой. Он хорошо разглядел эти когти, когда она подбегала к нему, огромные, коричневые, такие страшные. Эти когти были ещё больше, только серые и блестящие. И все разные, но похожие друг на друга. Их было много на столе.

Лосёнок вернулся во двор, когти нагоняли на него страх. Он опустился на землю, как всегда, когда боль в шее становилась нестерпимой. Тогда надо было лечь, вторая, недействующая, голова опускалась на землю, и шея отдыхала, пока он лежал.

Он лёг, вытянул шею, повернулся слегка, чтобы вторая голова уложилась поудобнее, и закрыл глаза. Мама найдёт его по следам. Она такая большая и умная. Она найдёт его.

Андрей родился и вырос в деревне, но когда исполнилось ему восемнадцать лет, понял, что из деревенских профессий его ни одна не привлекает, и решил податься в город, получить образование. Поступил в ПТУ, где готовили кадры для ювелирного завода, получил место в общежитии, отучился четыре года и был принят на завод мастером в цех серебряных изделий. В цеху ещё двадцать мастеров, работают по эскизам главного художника, ни на йоту от эскиза, всё точно, как разработано и утверждено начальством. Через год ему стало невыносимо скучно.

Он понимал, что может работать самостоятельно, что он художник больше, чем исполнитель чужого эскиза. Ему хотелось самостоятельной работы, участия в выставках, славы. Для этого надо было уйти с работы, потерять стабильную зарплату, съёмное жилье в городе, которое он не сможет больше оплачивать. Но тяга к самовыражению и творчеству пересилила. Андрей решил организовать свою мастерскую в родной деревне, где у него сохранился дом, а выставляться и продавать свои работы он сможет в городе. Купил все необходимые инструменты, муфельную печку. Купил лом серебра у знакомого, промышлявшего выплавкой серебра из старых радиоприборов и начал работать.

Первые же кольца и подвески, сделанные Андреем и сданные в комиссионку, разбежались в городе на ура. Он стал готовиться к выставке. Подал заявку. Ему хотелось сделать что-то необычное, что сразу обратит на себя внимание. Хватит тратить время на разбег. Ему уже за тридцать, пора выходить на большую дорогу.

Совет друга сделать что-то на деревенскую тему сначала был отвергнут Андреем, как просто смешной. Что может быть изящного в деревне? Но потом он подумал: «А почему изящного? А если сильного? Что-то такое, что имеет корни здесь, в родной земле?». В конце концов, он пришёл к решению сработать подвеску в виде клыка кабана или когтя медведя. Набросал эскиз, получилось. Он сделал несколько вариантов, выбирая лучший. Первая выставка, надо заявить о себе сразу и громко.

Да, вот этот экземпляр точно подойдёт. В нём мощь и сила медведя и, в то же время, точность и красота линий. Именно благодаря этой работе Андрей увидел, убедился, что он талантлив, что он может создавать настоящие произведения искусства. Он – художник! Настоящий художник, не подмастерье, он Мастер! Радость и трепет заливали его сердце. Всё получится, всё будет хорошо.

Рано утром в деревню ворвались автобусы с милиционерами, принявшимися обегать дворы с требованием: немедленно всё бросать и грузиться в автобусы. Причины никто не объяснял, люди были поражены. Всем велели немедленно выйти и ничего не брать с собой. Никаких вещей, воды и еды. Садиться в автобусы и уезжать. На месте, куда они приедут, им объяснят, что к чему. Женщины пытались всё-таки что-то прятать в одежде, кто деньги, кто немного еды для детей, но милиционеры всё отбирали, бросали на землю и кричали на них:

«Только паспорта, всё, больше ничего, слышали, в автобус, вашу мать!».

Растерянные сельчане грузились с детьми в автобусы, решив, что начальству виднее, что там им всё объяснят и потом вернут домой. А как же иначе? Ведь тут их дома, их вспаханные огороды, их домашний скот и дворовые собаки.

В автобусе, куда попал Андрей, все ехали молча, даже дети не шумели. Все были ошеломлены и только на переднем сиденье о чём-то шептались главный зоотехник и учитель физики местной школы, они в селе считались элитой, образованными, почти городскими.

Кто-то попросился по нужде, милиционеры сказали, что ранее, чем на 100 километров по трассе останавливаться не будут. Проехали сотый километр, остановились, мужчины вышли в одну сторону по делам, женщины в другую.

Андрей вышел тоже, по делам ему не хотелось, хотелось курить, но сигареты и спички брать не позволили. По привычке он сунул руку в карман и ощутил там что-то твёрдое, вытащил свой выставочный образец – коготь медведя. Он забыл, что сунул его вечером в карман, хотел сходить в гости к другу – показать эту работу.

Что с ним делать теперь? Милиция сказала, у кого что-то обнаружат вывезенное из села – посадят. Ничего не понятно, но ладно, у него там дома, на столе ещё несколько таких лежит. Андрей размахнулся и швырнул коготь в куст придорожной дикой вишни.

Коготь пролетел, сверкнув на солнце полированным боком, и скрылся в траве. Андрей побежал обратно к автобусу.

Он умер через два месяца от скоротечной саркомы в одной из больниц Киева, так и не вернувшись в деревню, где на столе лежали остальные образцы его будущей выставочной работы.

Коготь остался лежать в зарослях дикой вишни, где дожидался своего часа ещё целых десять лет.

Елена чувствовала себя всё хуже и хуже. К врачу некогда было сходить, она заканчивала научную работу, сроки поджимали. «Вот поставлю последнюю точку и пойду» – думала она. Надо будет сделать анализ крови, посмотреть, что с гемоглобином и лейкоцитами. Кости все ноют, сил совсем нет.

Авто с путешественниками не спеша взбиралось на холм, куда вела асфальтированная дорога, хотя первоначально отец семейства планировал проехать другой дорогой, разрешённой. Зону отчуждения положено было объезжать. Но на той дороге шёл ремонт. Прораб ему указал объездную, длинную, а они планировали приехать в Одессу ещё до часу дня, так как в час их будет ждать на въезде в город их родственник, чтобы отвезти к себе на квартиру. Надо отыскать на карте другой путь. Вот он есть, но они немного заедут в зону отчуждения. Совсем немного, километров на пять в глубину зоны и километров двадцать внутри её, ничего страшного. Туда уже экскурсии ездят.

Отец посовещался с матерью, трое детей на заднем сиденье грызли печенье, маленький той-терьер скулил, ему наскучило в машине. Решили поехать коротким путём. На середине этого отрезка, как назло, Манюне приспичило. Она хныкала и вертелась. Мать велела ей успокоиться и потерпеть: «Вот сейчас мы приедем в лучшее место. Там и выйдешь». Манюня испустила громкий звук. Двое её братиков демонстративно взвыли и зажали носы. Делать было нечего.

Отец взял девочку на руки, чтобы было быстрее, бегом отнес её в кусты и там оставил на минутку с куском туалетной бумаги в руке. Вскоре появилась Манюня и села в машину.

Родственник ждал их на въезде в город, как и было условлено. Он сел впереди показывать дорогу. Мать пересела назад и взяла на руки одного из детей. Машина проехала автовокзал и свернула вправо, объезжая Староконный рынок. Мать заметила зажатый в руке Манюни какой-то кусок железа.

– Что за гадость? Выбрось немедленно! – сказала она.

Манюня взвыла, пытаясь запихать железо в карманчик кофточки, но оно туда не влезало. Мать вынула из её руки железо, скривилась: «Вечно всякую ерунду подбираешь». Авто остановилось на светофоре, на углу Серова и Станиславского.

Отец обернулся назад, спросил, что там случилось. Мать дала ему кусок железа, отнятый у Манюни. Отец рассмотрел его и отдал бабуле, сидевшей со своим барахлом, разложенным на старой скатерти прямо на асфальте.

– Возьмите, бабушка, – сказал он, – это какое-то старое украшение, продадите его, за сколько дадут. Всё ж деньги вам будут.

Бабуля благодарила. Манюня ревела. Авто двинулось дальше.

Елена поставила последнюю точку в статье. Всё, можно вычитывать ошибки и отсылать в редакцию научного журнала, где её давно ждут, а Елена запаздывала из-за плохого самочувствия. Она решила прогуляться к морю, подышать воздухом. Устала очень.

Она надела своё любимое жемчужное платье, на шею серебряный коготь и вышла из дому. Прошла по Дерибасовской вниз к Ришельевской, свернула к Оперному театру. Справа журчал фонтан, взлетали к небу голубоватые струи, распространяя вокруг себя желанную прохладу.

Внезапно Елена ощутила непонятную злобу к своему украшению, уютно расположившемуся у неё в выемке между ключиц, на розовой жилке, которая билась всё чаще, когда ей не хватало воздуха. Вот с тех пор она и заболела, когда купила на Староконке этот страшный коготь – сейчас она чётко это поняла. Дело в нём, он, Коготь, убивает её. Она схватила его в приступе непонятной ей самой истерики, сорвала с шеи и швырнула в фонтан.

Коготь пролетел, сверкнув на солнце полированным боком, и скрылся в воде.

Всё, кончено. Он больше не сможет ей вредить.

Да и зачем он ей, ведь у неё есть Роза, её любимая серебряная Роза, которую она перестала носить, когда купила Коготь, её нежная женственная роза, вот её любимое украшение на будущее, с ней она не расстанется никогда. С розой ей ничего не грозит.

Нежная серебряная Роза, её Роза с закрученными внутрь лепестками, символ женского лона, прародительницы всего живого, пролежавшая два месяца в одной шкатулке с Когтем, вобрала от него радиации столько же, сколько было в нём самом. По ночам в своей закрытой лакированной шкатулке Роза светилась зеленоватым светом, но Елена об этом не знала. Радиация не вода – прибывая в одном месте, она не убывает в предыдущем, а растёт и ширится, обволакивая свои жертвы невидимым облаком распада и тлена.

Будучи однажды выпущенным на волю, порождённое человеческим гением и человеческим преступлением, зло, любое зло, никуда не уходит, не тает, не уменьшается, напротив, оно растёт, живясь, питаясь своими жертвами.

Вечная, неостановимая, расползающаяся, бессмертная смерть.

В фонтане плескались дети, лакала излившуюся на асфальт воду подбежавшая собака, влюблённые, сидевшие на парапете фонтана, опустили туда руки, выводя пальцами какие-то понятные только им слова.

Всё лето фонтан журчал, обрызгивая визжащих от удовольствия детей, щедро давая попить собакам и птицам, привлекая к себе туристов и просто одесситов, вышедших прогуляться к любимой Опере. Осенью его выключили и начали готовить к консервации на зиму. Коммунальные рабочие стали чистить чашу фонтана, один из них заметил под внутренней частью парапета сверкающую непонятную вещь. Он вытащил её наружу. Это был отливающий холодным металлическим блеском коготь, длиной сантиметров семь, шириной сантиметров пять. Наверху между двумя рожками в отверстие была продета цепочка, а на ней даже проба – 925. Серебро. Значит, и коготь серебряный. Грамм на 100 не меньше. Вот это находка. Вот это повезло!

Он не мог оторвать взгляда от Когтя, в котором было что-то завораживающее, сильное, непобедимое.

От него исходило холодное сияние мощи и безразличия.

Удивительная вещь.

Решено, он подарит эту штуку своему сыну на день рождения, через неделю.

Это будет ему достойный подарок на двадцатилетие. С таким украшением на груди, мальчик непременно станет победителем во всех своих начинаниях!

Да, бывает, что и в жизнь таких серых, незаметных людей, как он, тоже врываются удачи! Целый месяц он думал, что подарить сыну. Двадцать лет – это же для молодого человека настоящий юбилей, и он так хотел порадовать его чем-то необычным. Вот и получилось, мечты сбываются, это правда!

Он тщательно вытер Коготь и сунул его нагрудный карман рубашки.

ИГОРЬ СЕРЕДЕНКО

ИСЧЕЗНУВШИЙ
повесть

1.

Налив воды в лейку, священник обходил свой цветник, который он завёл в оранжерее лет пять тому назад, поливая каждый вазон и распрямляя ветви, убирая пожелтевшие листья, шелестя рясой над цветами, словно большой чёрный шмель.

– Что, мои хорошие? – сказал батюшка, глядя на своих молчаливых подопечных. – За окном морозец, а вы у меня в полной безопасности, как у Христа за пазухой.

Вениамин Исаакович подошёл к окну, потрогал радиатор, выпучил губы, задумался, оценивая. Его тело внезапно почувствовало прохладный воздух, едва уловимое морозное дыхание коснулось его пухлых ног. Он вспомнил, что вчера вечером в саду рухнуло дерево. Давно надо было спилить, не дожидаясь мороза. Ранняя зима, подумал он, и про себя чертыхнулся. Перекрестился один раз и три раза сотворил крестное знамение на свой зеленый оазис.

– Да-а, – протянул он, задумавшись, – надо утеплять. И дело сие спешное.

Не успел он выйти из оранжереи, как из противоположной двери, распахнувшейся настежь, вместе с холодным воздухом, влетел человек. Это была лет сорока пяти, маленького роста, толстая баба с выпученными от природы чёрными глазами, чем-то схожими с глазами святого отца. Это была его двоюродная сестра. Брат был моложе её на пять лет, но крупнее и выше. Она уважала его, как брата и как священника, а временами побаивалась.

Выпученные глаза толстушки, в которых Вениамин Исаакович всегда видел глубокое уважение, перемешанное с рассеянностью, теперь выражали страх, вызванный грехопадением души. Ему показалось, что эти два чёрных перепуганных свинячьих глаза в белом ареоле, уставившихся, стали ещё шире, раздулись, как и её тело. Глаза же Вениамина Исааковича выражали нетерпение, в котором зарождалось недовольство.

Женщина подбежала к священнику и с виноватым видом сипло произнесла:

– Ничего, – её большие черные глаза впились в грозный взгляд батюшки, словно молили о пощаде.

– Что ничего, дура?! – рявкнул Владимир Исаакович.

Женщина смутилась под грозным взглядом брата, поглядывая на его белоснежные руки, которые он сложил на выпученном брюшке. Исполинский рост, короткая чёрная бородка и ряса священника уже сами по себе внушали уважение любому прихожанину.

– Его нашли? – спросил он.

– Нет, я же сказала, он… – она смутилась, не решаясь поднять глаза, – пока не вернулся… я… – от волнения она говорила неуверенно и сбивчиво.

– Чего же ты сюда припёрлась? Я же тебе говорил: лишь в крайней нужде приходить, – злобно прошипел священник. – Все мирские дела решать вне божьего дома. А если кто увидит тебя в церкви? Что тогда? Тень на меня падёт, – он вкрадчиво покачал головой, словно отчитывал провинившегося школьника, – ладно, и так грехов на мне хватает.

– Но ты же сам говорил… – начала оправдываться женщина, волнение взяло верх, и она вновь потеряла мысль.

– Что, что говорил, дура?

– Если на крайний случай… если будет в том надобность… – затараторила толстушка.

– Ну и что? Разве он нашёлся?

– Нет.

– Тогда чего ты пришла в святую обитель? – с недовольством, переходящим в гнев, спросил Вениамин Исаакович.

– Это не я пришла, а они, – не выдержала Дарья.

– Кто они? Ты о чём? – с удивлением спросил он.

– Врач и какой-то сосед.

– Врач? – ещё больше удивился поп, почесывая брюшко, размышляя.

– Ты вызывала врача для Анатолия Петровича?

– Нет, но она говорит, что она – его домашний доктор.

– Ах, да, я знаю её. Это Раиса Петровна, она иногда навещала старика. Но ведь он последнее время не жаловался.

– То-то и оно, что здоров был. С памятью, правда, проблемы, иной раз не мог вспомнить, чем занимался в последний час, а то и вовсе забывал своё имя. Но ведь это не смертельно.

– Для него – нет, а для нас – хуже смерти. Так, так, – он вновь задумался, – а сосед-то, зачем пришёл?

– Говорит, что старик кофейник у него одалживал, да так и не вернул. Это было два месяца назад.

– Что, какой ещё кофейник? – удивился батюшка, – так ведь старик не пил кофе, ему нельзя.

– Что нельзя? – не расслышала Дарья.

– Кофе пить, дура! Давление у него. Ты их спровадила?

– Нет, они там остались.

– Как там? У него в квартире?!

– Ну да, говорят, что не выйдут, пока не поговорят с ним, потому что давно не видели его.

– Что? – на этот раз Дарья увидела страх в глазах брата. – А им-то откуда известно, что он пропал?

– Да с объявления, наверное. Ты ведь сам говорил, чтобы я в полицию за помощью…

– Да, да, всё верно, – он немного успокоился, – лучше ты, чем я. Обо мне они ничего не должны знать. И что, они сидят в его квартире?

– Да, и ждут.

– Вот чёрт. Нам только этого недоставало, пойдём сестра, – и он направился к выходу.

– Чего этого?.. – спросила Дарья, прикрывая дверь за собой.

– Не здесь, – оборвал её брат.

Они вышли в церковный двор, пересекли его, и через калитку служебного входа оказались в переулке, откуда вышли на улицу. Здесь он бросил пристальный взгляд на свою машину, припаркованную у стены, приметил недавно обнаруженную лёгкую царапину, в остальных местах машина сверкала, как белоснежная яхта. «Надо в магазин сходить за краской», – подумал он, переходя с Дарьей дорогу, и всё ещё оглядываясь на белую красавицу.

Однокомнатная квартира семидесятидвухлетнего пенсионера, Анатолия Петровича, находилась в пяти кварталах от церкви, и батюшка решил пройтись пешком, не используя свой ниссан. В чёрной рясе, прикрывающей ноги до щиколоток, с выпученным брюшком, огромный, он шёл исполинским шагом, уверенно, обдумывая по дороге, иногда поглаживая чёрную бородку. Еле поспевая, рядом, то быстрыми мелкими шагами, часто переходящей в галоп, шла маленькая толстушка, напоминающая шар, поглядывая выпученными глазками то вперед, то снизу вверх – на уверенного брата.

– Если спросят, скажешь, что вызвала меня – старик велел, – сказал Вениамин Исаакович.

– Хорошо, скажу. А кто спросит?

– Гости, что у вас. Нам только их не хватало. Спровадить их надо, да поскорее.

– Может, они ушли уже, – предположила она.

– Хорошо бы. Кофейник отдала?

– Какой кофейник? – задыхаясь от быстрой ходьбы, спросила она.

– Соседа.

– А, нет, нет никакого кофейника. Всё пересмотрела.

– Странно. Раиса Петровна ушла, наверное. У неё ведь много пациентов, она не станет ждать. Как бы сосед дверь не оставил открытую, – он с укором поглядел на сестру. – Впрочем, у него воровать нечего. Что говорит полиция?

– Утром звонила, говорят, ищут.

– Третий день как. Сегодня морозец ударил. Слабоват, правда, но для старика достаточно.

– Что достаточно?

– А если он где-нибудь замёрз, что тогда? Зима ранняя.

– Да плохо, – догадалась она, о чём говорит брат, – а ведь он в одном домашнем гольфике вышел…

– Вышел!.. – с раздражением сказал брат, – Как это он у тебя вышел?!

– Сама не знаю. Ключи я держу в кармане. Наверное, пока готовила, стирала, убирала на кухне, он убёг.

– Забыла закрыть дверь, так и скажи.

– Нет, брат, что ты. Я всегда все твои инструкции соблюдала. Ведь год как смотрю этого старика. Он ни разу за это время не уходил. Дверь запирала, как ты и велел.

– И сколько раз тебе говорил: не называй меня при посторонних братом – опасно. Можешь сболтнуть ещё кому.

– Извини, запамятовала.

– Значит, не заперла, раз ушёл. И что теперь, ведь у него проблемы с памятью? Он имени не помнит, что делал – не знает, где живёт – не ведает, как же теперь он вернётся? Где искать его теперь? Может, к родственникам поехал? Кто у него там? Бывшая жена и взрослый сын. А если они приберут его к себе, примут назад одинокого старика, что тогда? Целый год потеряли, ты это понимаешь? А сколько денег-то потрачено.

– Могут забрать его? – взволнованно спросила, задыхаясь от быстрого шага, Дарья.

– Как про квартирку-то его вспомнят, да увидят, что он болен умишком, сдадут его в дом престарелых или в психлечебницу. Я этих тварей знаю. Грех на их душах негде записать.

– Нет, не сдадут, – уверенно, но с отдышкой возразила Дарья. – Там платить за досмотр надо.

– Может, и не сдадут, но за квартирку уцепятся, не сомневайся.

– Ухватятся непременно, – согласилась она.

– А если он замёрз этой ночью, не дай господи, околел? У него и еды-то нет с собой.

– Может, люди добрые помогут, накормят?

– Дура, какие люди, нынче каждый за себя, люди злые, жадные, каждый о себе печётся, а иные – выживают, с нашим-то правительством… Да и в твоём рванном гольфике, да в тапочках, – он ведь в тапочках вышел? – его за бомжа примут. А к таким не подходят, их не жалеют, потому как побоятся заразиться.

– Да, жаль его, глаза у него грустные. Иной раз войду в его комнатку, а он лежит в кровати, в своих лохмотьях, заросший щетиной седой, волосы на голове спутанные, да из-под лохматых бровей в потолок глядит не мигая. И так жалко мне его становится, старика этого одинокого, покинутого всеми. А ведь он целую жизнь прожил, а рядом теперь никого не оказалось. Старость никому не нужна, ничего приятного в ней нет. За ней только смерть. Вот все и отворачиваются, а ведь все мы стариками будем. Она часть нашей жизни.

– Не лучшая часть, лучше бы её и вовсе не было. А ты бы ему жениться предложила.

– Да ты что, брат? – от неожиданного предложения удивилась сестра.

– Батюшка, – напомнил он ей.

– Да, да, батюшка.

– Тогда проще нам было бы, надёжней. Не бойся, уже поздно. Сон у меня давеча из-за тебя был. Снилось, что я в каком-то тумане заблудился, ничего не вижу, никого не слышу, будто все люди и весь мир живой куда-то разом пропали. А туман этот всё плотнее и чернее.

– А я вот совсем сон потеряла, брат… батюшка, – поправилась она, – всё об этом старике думаю, даже молиться начала. Чтобы он жив оказался, чтобы отыскался, вернулся в свою квартирку.

Он бросил на неё взгляд, словно проверяя: не помешалась ли она?

– Это совесть твоя заиграла, чувствуешь, что не уберегла и его смерть на тебе виной отразится. Хотя брак со стариком сыграл бы нам на руку. Надо будет эту идею на будущее оставить. А так…

– Что так?

– Помрёт – скажут, что мы его убили, чтобы квартиркой завладеть.

– Это нехорошо, – согласилась Дарья.

– Да, что же делать? Плохи дела, но… – он задумался.

– Что но?

– Твои гости, которые поначалу казались лишними и нежеланными, теперь могут быть полезными, и ой как необходимыми.

– Не понимаю.

Они подошли к ветхому трёхэтажному дому.

– Поднимемся, поймёшь, – ответил Вениамин Исаакович, отворяя дверь парадной, – только бы они были на месте.

2.

При виде батюшки в чёрной рясе, вошедшего в комнату, низенький худой мужчина лет пятидесяти тут же вскочил со стула, подошёл к святому отцу, поклонился и поцеловал большой серебряный крест, висящий у Вениамина Исааковича на груди. Раиса Петровна, полная высокая женщина, в очках, с сумкой на руках, из которой выглядывали пожелтевшие потёртые тетради, осталась сидеть на диване. Батюшка был хорошо знаком с ней: несколько раз она давала ему своих клиентов – бабушек, отошедших, в силу старости и дряхлости или какой болезни, на тот свет. Но теперь клиентом был батюшкин старик, – хотя об истинной причине его заинтересованности домашний доктор не знала. К больному старику полгода назад вызвала её Дарья, присматривающая за ним – по поручению святого отца.

– Вот и увиделись, Вениамин Исаакович, – первая заговорила Раиса Петровна, поглядывая на батюшку из-под очков, опуская их ниже – на кончик носа. – Тут необычный случай, – продолжила она, – пациент, вероятно, жив, а доктор и священник уже беспокоятся, – она перевела свой ястребиный взгляд на Дарью, – это вы, голубушка, поторопились.

Дарья не знала, что ей ответить, за неё сказал брат.

– Женщина волнуется, беспокоится за старика, как бы чего не случилось. Хочет освятить квартирку, бесов прогнать. Икону тут нужно повесить, – он посмотрел в пустые углы потолка, затем на сжавшуюся Дарью, и, увидев, подумал: «Дура дурой, хоть бы что сказала, от страха язык проглотила».

– А что, говорят, ушёл Толя, и не вернулся? Третий день как нет, – осторожно заговорил сосед, Артём Павлович.

– Да, люди в старости, да ещё одинокие, больные нуждаются в людской помощи, поддержке, – сказала Раиса Петровна, не обращая внимания на слова Артёма Павловича, и переводя взгляд с Дарьи на Вениамина Исааковича, словно о чём-то догадываясь.

– Иногда и тёплого слова достаточно, – поддержал её священник. – Но тут, как вы заметили, особый случай: человека нет, а мы уже здесь, ждём его. Он был чем-то болен?

– Нет, его сердечные боли прошли, – ответила доктор.

– Ваши лекарства помогли, он мне рассказывал, – сказал сосед.

– И что, давно пропал? – спросил Вениамин Исаакович, делая вид, что слышит об этом в первый раз.

– Разве вам это неизвестно? – доктор покачала головой, – вот, только что Артём Павлович сказал, что третий день, как пропал. Ушёл и не вернулся.

– Ах да, – произнёс батюшка, поглаживая бороду – он всегда так делал, когда волновался, – третий день.

– У него проблемы с памятью. Вот я и беспокоюсь. В полицию сообщили, да найти не могут. Как бы не замёрз.

– Найдут, обязательно отыщут, человек не иголка, – сказал батюшка, почёсывая выпученный живот – так он делал, когда был уверен в чём-то, – А вы кто ему будете? – неожиданно спросил он Артёма Павловича.

– Я сосед его, моя квартира рядом. Он кофемолку у меня брал, и забыл её у себя.

– Ну, кофемолка отыщется. У неё ведь нет ног. На кухне надо искать. Глядели? – батюшка хотел поговорить с каждым в отдельности.

– Нет, не искал, я ведь не хозяин здесь. Не имею привычки рыться в чужих вещах.

– Он всё равно не вспомнил бы о вашей кофемолке, – сказала Раиса Петровна. – Вы пойдите на кухню и там поищите, Дарья вам поможет, она там всё знает.

– Да, идёмте, – словно проснувшись от литургического сна, быстро и надрывно заговорила Дарья, – следуйте за мной.

Сосед и горничная вышли. Первой заговорила Раиса Петровна. Она давно обо всём догадалась, и хоть не знала, что Дарья и батюшка в родстве состоят, но схожесть их выпученных глаз о чём-то таком ей сообщила, что и послужило догадкой.

– Вам ведь всё известно, зачем скрывать? Дарья досматривает старика… за плату.

Нельзя сказать, что прозорливость этой умной женщины удивила Вениамина Исааковича, но и не смутила. Он всё так же был решительно настроен на победу, хотя теперь его тайный и неосторожный поход к клиенту был внезапно раскрыт.

– Ну и пусть заботится, если ему от этого только хорошо. Должен же кто-то за ним досматривать. Одному ему не справиться, сами знаете, – ответил батюшка.

– Знаю, а коль не помрёт, долго жить будет? Сердце его хоть и болело разок, да ещё долго послужить может – лет десять, а то и…

– А то и меньше, – договорил Вениамин Исаакович.

– Что же это вы раньше времени его хороните? Я врач, знаю. Может прожить ещё…

– Может, вполне может, на всё божья воля, и только Ему известно, когда наш час настанет.

– Стало быть, незачем освящать его квартирку, ведь если только богу известно, – с иронией ответила врач. – Хотя не только богу, но и мне, – добавила она подумав.

– Очень хорошо, что это вам известно.

– Давайте начистоту, Вениамин Исаакович, без лукавства, – она почувствовала, что пришло время для серьёзного разговора. – Мы ведь с вами уже работали вместе, знаем друг друга.

– Ну, – делая вид, что не понял, сказал батюшка.

– Вам ведь нужна будет бумага, справка о его состоянии здоровья, а потом и заключение о смерти – на что вы рассчитываете в будущем, лет через десять или раньше, – на её губах скользнула едва уловимая улыбка. – Сиделка это ведь ваша?

Батюшка продолжал молчать.

– Да, и бумага у вас, наверняка, имеется?

– Какая бумага?

– Ну, дарственная на квартиру или расписка, соглашение, – вкрадчиво говорила она, не отрывая от священника своего ястребиного взгляда. – Что там у вас подписано с ним?

Батюшка и на этот раз не открыл рта, ни единой складкой лица, ни единым движением глаз или губ не проявил удивление от её слов.

– А коли родственники объявятся, что тогда будете делать? Судиться? Я слышала, что они у старика имеются.

На этот раз он не выдержал и заговорил.

– Я смотрю, вы хорошо осведомлены насчёт старика, чтобы не быть заинтересованной в нём самой.

– Хм, пути господни неисповедимы, или как там у вас, батюшка? Господь молча наблюдает, а мы располагаем и размышляем. Главное, чтобы в этом не было преступления, – сказала Раиса Петровна.

– Само собой.

– Не грех ведь ожидать, когда человек помрёт, чтобы завладеть его собственностью? – продолжила она доискиваться.

– Ничто не появляется из ниоткуда. Кто-нибудь да и возьмёт, без особых стараний. А человек ведь всё равно смертен.

– Не появляется из ниоткуда, но исчезает в никуда, – шутливо заметила она. – Да вы, я погляжу, материалист, святой отец. А как же бескорыстная вера, чистая и непогрешимая душа, законы божьи? – спросила с укором и иронией.

– Душа принадлежит богу, но пока человек жив, его тело бродит по земле, а душа страдает в этом божьем соблазнительном мире. Материи не надо стесняться, она ведь тоже создана господом, в нагрузку душе.

– Чтобы страдала, – улыбнувшись, сказала Раиса Петровна.

– Надо верить в Бога. Он поможет, всё с его помощью, – батюшка перекрестился.

– Интересно получается: господь полагает, что мы ради него, а мы думаем, что он ради нас.

Она замолчала, уставившись в выпученные совиные глаза Вениамина Исааковича, словно ожидая от него смелых действий. Молчание было недолгим. Батюшка сдался.

– Да, есть, – признался священник.

В её глазах, в глазах не только доктора, но и предприимчивой женщины, в которой проснулся бизнесмен, он увидел огонёк надежды на положительный исход дела.

– Сколько вы хотите? – спросил он.

– Вы же понимаете, что здесь речь идёт не об обычной справке, и о молчании, даже прикрытии. Только заранее предупреждаю вас: без нарушения закона.

– Разумеется, ни божьего, ни человеческого закона не нарушим. Я священник, а не какой-то преступник.

– Но грешник, – съязвила она шутя.

– А какой, скажите, священник не имеет греха? Мы ведь тоже люди, такими нас создал Бог – грешными, – согласился Вениамин Исаакович, поглаживая свою руку, – так он делал, когда чувствовал, что дело завершено.

– Ну, что ж, тогда, если вы действительно будете за стариком доглядывать, а не заглядывать в календарь…

– Что вы, Раиса Петровна! – он всплеснул от негодования руками и перекрестился.

– Я ведь всё равно узнаю, заключение я буду давать, – она задумалась, не сводя глаз с батюшки, который чего-то ждал. – Тогда тысяча.

– Долларов? – переспросил он, не ожидая такого быстрого сговора.

– Ну да, квартира ведь на тысяч двадцать пять потянет. Она, конечно, не ухожена, я бы сказала – страшная, но ведь район, район-то поднимет цену даже такой квартиры.

– А расходы, вы ведь сами заметили, что он здоров, и может протянуть лет десять, – возразил он, – давайте пятьсот.

– Ладно, согласна. Только вперёд, – потребовала она.

Батюшка прикинул в голове все за и против, посчитал затраты, разложил и вновь соединил, на том и решил:

– Половину – двести пятьдесят, остальное потом.

Она кивнула головой в знак согласия.

С соседом, Артёмом Павловичем, он говорил наедине меньше пяти минут. Узнав, что имеет дело с наивным пенсионером, он договорился с ним за сто долларов, чтобы тот сказал полиции, что якобы видел хозяина квартиры выходящим из дома одного. Это нужно было Вениамину Исааковичу для того, чтобы не пала тень подозрения на Дарью. Чтобы не подумали, что она могла вывести старика за город и там бросить его. Вениамин Исаакович предполагал, что старик, вернее всего, где-то замёрз и помер. А стало быть, квартира принадлежит Дарье, а значит и ему. И вот, когда он сладостно купался в этих грёзах, мечтая, а сосед и доктор собирались уходить, неожиданно зазвонил в коридоре звонок.

3.

Дарья отворила дверь, на пороге стоял мужчина средних лет, брюнет, с подвижными зелёными глазками. Его впустили, вернее, он вошёл словно в магазин или контору, Дарья отступила. Все с удивлением посмотрели на незнакомца.

– Прошу прощения, здесь живёт Анатолий Петрович? – вежливо спросил вошедший, уставившись на Артёма Павловича. – Хотя нет, это не вы, – вдруг сказал он.

– Я знаю, кто я. А вы кто? – спросил Артём Павлович.

– А я, представьте себе, тоже знаю, кто я, – улыбаясь, ответил мужчина. Но так как трое присутствующих не улыбнулись ему в ответ, то и с него улыбка быстро сползла.

– Меня зовут Даниил Степанович, – представился он, – я представляю фирму «Готивка сейчас», – но и эти слова не произвели впечатления на присутствующих.

– Анатолия Петровича сейчас нет, – ответил Артём Павлович.

– А когда он будет? У меня к нему важное дело.

– Никто не знает, где он. Ушёл и не вернулся, вот уже третий день как ищут.

В этот момент в коридор вошёл Вениамин Исаакович, который весь диалог слышал из комнаты. Увидев священника, Даниил Степанович раскрыл рот, видимо, желая что-то сказать, но потом передумал, опустился на табуретку в углу коридора, положил портфель на колени и вынул из него папку, из которой извлёк какой-то исписанный лист.

– У меня записано, что он проживает в квартире один, – сказал Даниил Степанович, ожидая ответа.

– Всё верно, один, – согласился сосед.

– А что вам собственно нужно от Анатолия Петровича? – не выдержала Раиса Петровна. – Я его лечащий врач, – пояснила она, замечая, что её собеседник чем-то смущён.

– Видите ли, недавно я обнаружил в нашей конторе старую бумагу – обязательство.

– Простите, а чем ваша контора занимается? – спросил священник.

– Мы работаем, как банки, выдаем людям кредиты.

– Под залог? – догадался священник, и от собственной догадки у него похолодело в спине.

– В наше время – только так.

– И какую же сумму занял Анатолий Петрович у вас? – поинтересовался сосед.

– Пять тысяч гривен, – ответил Даниил Степанович, держа бумагу перед собой, как доказательство его слов.

– Что же он заложил, не квартиру ли? – спросила врач, догадываясь.

– У него ничего более ценного не оказалось, – пояснил работник ломбарда.

– Ясно, и вы, стало быть, пришли за долгом или за квартирой, – заключил священник. В его голосе чувствовалось нарастающее раздражение. Он подозвал к себе Дарью и что-то тихо спросил у неё.

– Нет, этого не может быть, – тихо ответила Дарья.

– Чего не может быть? – спросил Артём Павлович, пытаясь расслышать их разговор.

– Я уже год здесь работаю, помогаю старику, присматриваю за ним. Он не мог…

– Да он из квартиры не выходил один, – добавил Вениамин Исаакович.

Даниил Степанович заглянул в бумагу и усмехнулся.

– Он был у нас два года назад. Вот, сами посмотрите, – сказал представитель ломбарда.

Дарья подошла к нему и заглянула в документ, подписанный, с печатями.

– Да, но меня тогда здесь не было, – сказала она, глядя на брата невинным взглядом.

– Вот видите, – сказал довольный Даниил Степанович.

– И зачем это ему деньги понадобились? – спросил священник с недовольством, твёрдым голосом.

– Он сказал, что деньги нужны ему, что бы погасить долг по квартире, коммунальные услуги.

– Да, было такое, – подтвердил сосед.

– Что было? – спросил священник.

– Ему газ и свет отключили, а потом и воду грозились отключить. Пенсия маленькая, понимаете, а коммунальные услуги огромные. Накопился долг. Человек он честный, вот, видимо, и решил разом погасить. Как без газа-то жить?

– Ясно, – сказал с нетерпением священник, включая мысленно в свой список нового кредитора. – Что ж, сумму оплатим. Но сначала надо хозяина квартиры найти.

– Кто же уплатит? Где хозяин-то? – спросил Даниил Степанович растерянно.

– Пусть вас это не беспокоит, – ответил батюшка. – Дарья, возьми адрес у человека, потом оплатишь пять тысяч, и не забудь эту расписку забрать.

– Какие ещё пять тысяч? – удивился Даниил Степанович.

– Вы же сами озвучили эту сумму.

– Пять тысяч он одолжил у нас под залог, но это было два года назад. А проценты?

– Проценты?! – воскликнула Дарья, поглядывая на брата.

– И какова теперь сумма долга? – спокойно спросил батюшка.

– Учитывая просрочку, проценты за два года… – казалось, что Даниил Степанович подсчитывал всё в уме, а не заранее знал ответ, – долг составит двадцать с небольшим.

– Это приличная сумма. Откуда у пенсионера такие деньги?

– Не знаю, ничего не знаю…

– Может, он на что-то рассчитывал? – предположила Дарья.

– Надо было думать, у кого одалживать, – сделала своё короткое заключение врач.

– Что же это вы только теперь заявились, – спросил Вениамин Исаакович, – спустя два года?

– Понимаете, вот какая штука произошла: мы переезжали в новый офис, бумаг много, вот эта расписка и затерялась среди старых бумаг. Я вспомнил о ней, когда журнал стал проверять. Стали искать…

– И нашли, – с какой-то иронией сказал батюшка.

– Да, а как же. У нас ничего не пропадает. Все бумаги подшиваются и хранятся в сейфе.

– Наверное, сейф у вас дырявый, раз из него пропадают документы, – язвительно сказал священник. – Два года назад… – он размышлял, – а вы знаете, что ваш клиент, Анатолий Петрович, болен, с памятью у него проблемы?

– Ну и что?

– А то, что бумага ваша, им подписанная, не имеет силы, то есть недействительна.

– Это как же? – возразил Даниил Степанович без всякого волнения. – Вот же, вот его подпись, – и протянул расписку батюшке, – а вот и печать нашей конторы. Здесь сказано, – он указал на очень мелкий шрифт в конце расписки, который невооружённым глазом с трудом можно было прочесть, – что ответственность по закону за несвоевременную уплату несёт он, то есть тот, кто берёт кредит.

– Да у нас и врач тут есть, – возразил священник, не глядя на бумагу. – Раиса Петровна, подтвердите, что Анатолий Петрович был болен, и не имел права ничего подписывать.

– То есть как так, болен? – глаза Даниила Степановича расширились, теперь он мог видеть и доктора и священника разом, дыхание участилось почти мгновенно.

– А вот так, – казалось, что батюшка насмехается над ним, – вы дали деньги больному человеку.

– Он не имеет права подписывать такие бумаги, – сказала доктор, – он недееспособен. Он страдает потерей памяти, понимаете? Взял, да забыл, подписал, да ничего не помнит.

– Как вы потом это в суде будете доказывать? – добавил священник.

– Ничего не знаю. Деньги были взяты, а бумага подписана, – настаивал Даниил Степанович, меняясь в лице.

Батюшка, слушая подробные разъяснения доктора и замечая на лице Даниила Степановича реакцию на её слова, вычеркнул его из своего списка, куда недавно вписал. Его размышления были прерваны криком.

– Да я в суд подам! И выиграю, на моей стороне закон. Думаете, что мы впервые сталкиваемся с подобным мошенничеством?

– Я не сомневаюсь, – всё также спокойно ответила Раиса Петровна, отмечая покраснение на лице собеседника, – что у вас таких дел достаточно много.

Видя ожесточённое упорство, Вениамин Исаакович вновь включил Даниила Степановича в список. «Что делать, – подумал он, – а ведь суд нам обоим ни к чему». Он уже собирался увести несговорчивого и упрямого клиента в комнату, чтобы там наедине уладить это дело, как вдруг в дверь кто-то позвонил.

На пороге стояла худенькая крашеная блондинка лет тридцати. Она сильно удивилась, когда увидела в квартире столько народу, уже не помещающихся в небольшой прихожей.

– Что здесь происходит? – спросила она.

– А вы, собственно, кто? – спросила Дарья.

– Это из ЖЭКа, – ответил вместо блондинки сосед, по-видимому, узнавший её.

– Что, трубу где-то прорвало? – с иронией спросил батюшка.

– Нет, святой отец, – ответила крашеная блондинка. – А здесь разве кого-то хоронят? – язвительно спросила она в ответ.

– Анатолий Петрович пропал, – пояснила Раиса Петровна.

– Я знаю об этом, – скорбно ответила блондинка.

В прихожей было довольно тесно, и блондинка предложила продолжить разговор в комнате. Но и в комнате оказалось тесновато. Все присутствующие расселись вдоль стен: кто на кровати примостился, кто на диване, кто на стуле. Молчание длилось недолго.

– Меня зовут Светлана Александровна, кто не знает, – представилась блондинка. – Родственников здесь нет.

Все переглянулись.

– А зачем вам родственники? – спросил Артём Павлович.

– А разве есть родственники? – с удивлением спросил Даниил Степанович. – У меня отмечено, что он проживает один.

– Да один, – согласилась Светлана Александровна. – А вы, собственно, кто?

– Анатолий Петрович брал у нашей конторы кредит, – пояснил Даниил Степанович.

– Придётся списать, – коротко ответила она.

– То есть как так «списать»? – почти раздражённо спросил Даниил Степанович, чувствуя, что кровь внутри закипает.

– А вот так. Сегодня из полиции нам позвонили, и сообщили, что Анатолия Петровича нет ни в одной больнице города, и что он, вероятнее всего, замёрз где-нибудь на улице. То есть умер, – заключила она. – Квартиру мы опечатываем, её забирает государство. К тому же у него долг по коммуналке имеется.

– Нет, нет, – начал возражать Даниил Степанович, – сперва пусть расплатится по моему долгу.

– Какой долг? – спокойно, почти равнодушно, поинтересовалась она.

– Свыше двадцати тысяч, – повысил голос Даниил Степанович, чтобы придать этому значительную цену.

– Ого! Ну, у нас немного скромнее сумма задолженности, всего восемь.

– А вы, собственно, кем работаете в ЖЭКе? – спросил батюшка, ему показалось, что он где-то это лицо уже видел.

– Я заместитель начальника ЖЭКа и по совместительству – риэлтор, занимаюсь квартирами. Да мы с вами знакомы, не припоминаете?

– Нет, – ответил священник. Теперь это лицо показалось ему ещё более знакомым.

– Вы работали инженером на железной дороге, каким-то начальником там были. Вас, если я не ошибаюсь, Вениамином зовут.

– Верно, Вениамин Исаакович, – ответил обескураженный священник.

– Я смотрю, вы сменили свой костюм начальника на рясу священника, – с иронией заметила Светлана Петровна.

Пять лет назад Вениамин Исаакович действительно работал чиновником на железной дороге, но потом, почти в самом пике его карьеры, когда провожали на пенсию начальника вокзала, он был уличён во взятке. Хотели посадить, ему удалось откупился, но вернуться обратно – в кресло начальника, не смог. На его месте появился молодой парень, лет двадцати с небольшим. Вениамин Исаакович сразу понял, кто виновник его несчастья, но было слишком поздно. Виновник – его друг и коллега, оказался более проворным: влезая на освободившийся пост начальника вокзала и убирая своего главного конкурента – то есть его, он смог усадить на его место своего племянника. Так разом – одним увольнением и отправкой на пенсию, освободилось два кресла и тут же были заняты. Вениамин Исаакович остался вне дел, безработным. Хорошо, что хватило денег, скопленных им, и он смог занять другой пост – менее престижный, но не менее прибыльный, если всё рассчитать. Правда, в небольшой церквушке для этого, как заметила Светлана Александровна, ему пришлось сменить одеяние.

– Да, пути господни неисповедимы, святой отче, – заметил сосед.

Вениамин Исаакович посмотрел на Дарью, намекая взглядом: пора и ей пару слов сказать. Пока она расшифровывала его взгляд и собиралась со словами, он сказал:

– Вы хотите отобрать у старика квартиру?

– У него ведь нет родственников, насколько мне известно, – сказала блондинка, – а если он умрёт, то квартира достаётся государству.

И тут Дарью осенило, она поняла, что от неё хотел брат.

– Это невозможно, – выпалила Дарья.

– Что невозможно? – спросила Светлана Александровна, глядя на Дарью, как кобра на жирную муху – и есть охота, да мало будет, одна возня, а мяса на зуб не хватит.

– Эту квартиру Анатолий Петрович завещал мне, – быстро выговорила Дарья, словно заучила этот ответ.

– А вы кто? – с презрением спросила блондинка.

– Я досматриваю его, – коротко ответила Дарья, она решила больше ничего не пояснять, посчитав, что краткость – соперник глупости.

– Досматриваете? – удивилась Светлана Александровна, её глаза сузились, испепеляющим взглядом она смотрела на конкурентку. Как это её смогли обойти?

– И какие у вас есть документы? – спросила она Дарью.

Дарья молчала, поглядывая на брата, ожидая поддержку, но он молчал тоже.

– Кстати, квартира эта не приватизирована, – вспомнила Светлана Александровна. – Как вы собираетесь оформить документы, да ещё без нас?

– Ну, наверное, на основании дарственной, – предположил Даниил Степанович, зная толк в этом деле.

Никакой дарственной не было, и батюшка об этом хорошо знал, не успел он сделать этот документ, от того и волновался. Но соглашение, подписанное у нотариуса, было. По соглашению: Дарья должна была проработать у старика год, после чего он должен был подписать дарственную. Это придумал сам Вениамин Исаакович, посчитав, что такой ход дела более заманчив для клиентов – одиноких стариков, и поэтому им с Дарьей станут доверять.

Надо признать, что Дарья работала честно, всё выполняла, заботливо ухаживала, и клиенты, как правило, подписывали дарственную. Но случилось так, что год не прошёл, а клиент пропал. И это было большой ошибкой в разработанном плане предприимчивого батюшки.

Зная, что квартира может ускользнуть, Вениамин Исаакович решил не говорить о несуществующей дарственной, пусть все считают, что она имеется.

– Конечно, на основании дарственной, – согласился батюшка.

– Но даже в этом случае, вам, моя дорогая, – последнее слово риэлтор произнесла с каким-то отвращением. Она ещё не могла понять, где ошиблась, и когда это её обошли. Она уже давно знала часть печальной судьбы одинокого старика, знала о бывшей властной, сварливой жене и равнодушном сыне, о болезни Анатолия Петровича. Он был, можно сказать, у неё в кармане, и вот теперь, когда старик почти помер, её вдруг опередили.

– Вам придётся сделать уйму бумаг, – продолжила она, собравшись с мыслями, – часть из которых пройдут через нас, то есть ЖЭК, не говоря уже о долге за квартиру.

– Я думаю, она справится, – сказал Вениамин Исаакович и тут же осёкся. Он понял свою ошибку, наблюдая, как два маленьких чёрных глаза кобры гипнотизируют его. Сделал он этот опрометчивый и поспешный шаг потому, что увидел какую-то решимость в глазах осмелевшей сестры. «Как бы она ничего лишнего не сболтнула, – подумал он. – Лучше сильный соперник, чем глупый помощник».

И он был прав. Светлана Петровна начала его подозревать. «Ах, так вот где зло спряталось», – подумала она, улыбнувшись так, как люди, которым внезапно открылась истина. «И как это я сразу не поняла, – размышляла риэлтор, – батюшка, святой отец, в прошлом взяточник и лгун, впрочем, – почему в прошлом? – он и теперь такой. Так-то вы грехи очищаете».

Наступившее молчание в комнате, в течение которого каждый хищник думал о своём куске, было прервано ещё одним… нет, не звонком. На этот раз в дверь постучались – довольно вежливо, можно сказать, осторожно. Но не успели гости сообразить: почему это новый гость не позвонил, а стучится так тихо и осторожно, словно мышонок норку роет, как вслед за тремя постукиваниями, скорее напоминающих какую-то мелодию, послышались два быстрых и уверенных поворота ключа в замке. Дарья вздрогнула.

Вениамин Исаакович подумал, что если он впишет в свой список кредиторов ещё кого-то, то тогда его добродетельная сторона души отвернётся, уступив место его хищнической деловой стороне. И тогда берегитесь, граждане! Ибо в каждом священнике, в каждом добродетельном мученике, – по личному наблюдению Вениамина Исааковича за пять лет службы духовным отцом, – может проснуться дьявол, скрывающийся за маской фанатичного постника. И тогда список кредиторов может превратиться в список должников, а постник вступит в фазу своей новой тёмной жизни.

4.

В прихожей послышалось шуршание одежды, запирание двери, шаги и тяжёлое дыхание нескольких человек. В комнате все замерли в ожидании, некоторые даже забыли: с кем и о чём спорили. Спустя мгновение на пороге нарисовался симпатичный молодой человек лет тридцати, плотный высокий блондин. Видимо, молодой человек никак не ожидал увидеть в комнате такое число людей и вообще кого-либо. И потому замер в нерешительности, сильно удивлённый. Ему пришлось посторониться, когда в комнату вошла дородная пожилая женщина лет шестидесяти пяти, блондинка, выкрашенная до неприличия. И так же с удивлением, граничащим с безумием, что мгновенно отразилось на её морщинистом лице, посмотрела на присутствующих.

Она обвела всех перекошенным взглядом старой волчицы и остановилась на священнике, у которого похолодело в затылке, догадываясь, кто перед ним стоит. Вениамин Исаакович уже позабыл о списке кредиторов, который поминутно пополнялся, и уже готов было сдаться и уйти ни с чем, но внезапно, как это бывает с сильными, предприимчивыми хитрецами, он нашёл в себе силы и усидел на месте, не побоявшись, устояв перед тяжёлым гипнотическим взглядом старой волчицы.

– Боже, я опоздала… мой Толенька… – вдруг взвыла пожилая женщина, и с этими словами всё её лицо, вся эта крашеная маска, весь её вид переменился – из старой замученной волчицы она чудесным образом превратилась на затравленного жизнью ягнёнка, с глубокой маской скорби на израненном морщинами старческом лице. Батюшка невольно встал со своего небольшого стульчика, на котором ему неудобно было сидеть, почувствовав начало какой-то исповеди.

– Где мой Толенька? – спросила пожилая дама с набухшей слезинкой, начавшей проступать из её левого глаза.

– Вы не опоздали, мы не знаем, где он, – спокойно и уверенно ответила Раиса Петровна. Лишь на её бесстрашном лице ничего не отразилось, тогда, как лица других присутствующих выражали жалость, страх и ожидание ещё больших слёз и душевных страданий этой дамы.

Эта старушка и молодой человек были родственниками пропавшего старика. Бывшая жена и сын. Когда-то Анатолий Петрович работал преподавателем анатомии в медицинском училище, и там познакомился со скромной блондинкой, новым бухгалтером учебного заведения. Он был довольно застенчивым, робким молодым человеком, изучавшим строение человека – учёным, изучающим внутренности: кости, мышцы, системы и аппараты, внутренние органы, работу мозга, нервную систему. Он знал о человеке больше, чем тот, кто его создал, и так гармонично и разумно распределил в нём все системы и органы,

соединив ткани в одну единую субстанцию, наделив её жизнью и страданием, способную к зарождению и развитию. Знал он её чистую, божественную природу – этот идеальный механизм защиты и размножения, а потому – неограниченно уважал создателя, преклоняясь перед его непревзойдённым гением. Знал он и о печальных необратимых финальных аккордах гениального изобретения – старении, необратимости разрушения ткани, её разложении и неминуемой смерти. Что-то всевышний гений не доработал в своём изобретении, думал Анатолий Петрович, и всеми силами искал ошибку своего кумира. Что и говорить: лишь Бог вечен, а всё кругом имеет свой конец. Увы, человек смертен, и как Анатолий Петрович не постигал в своих научных стараниях вечность, он так и не приблизился ни к одному его началу – ни за полы, ни за воротник вечность не удалось ему захватить. Бог дал жизнь, но не дал её навеки, словно усмехаясь над собственным изобретением и дразня его. Но и этого было достаточно Анатолию Петровичу, чтобы узреть истину: если Он может, значит, сможет и другой, ведь истина существует, а значит, её можно найти. Надо лишь усердно работать. Не я, так мои потомки доберутся до цели человечества, думал он.

Может, он и всю свою жизнь так бы работал над изучением человеческих костей и систем, если бы не появление в его жизни женщины. Да ещё какой! Сперва она была довольно скромна, и даже застенчива или делала вид, но на самом деле: она изучала молодого человека, как питон изучает обезьяну, перед тем, как её заглотнуть целиком, в самое чрево. Не успел наивный учёный разложить свои системы и аппараты перед глазами бухгалтера, как оказался в её острых коготочках и не менее острых зубках. Поначалу это были мягкие и даже ласковые лапки дикой кошечки, поглаживающие и с любовью сжимающие своего мужа, но потом лапки стали твердеть и прижимать теснее. Из подушек молнией возникали коготочки, да так, что и слово сказать не успевал. Она овладела им и играла на свою потеху, как кошка с мышкой. Самодурство и самолюбие преобладало в ней.

Многие свои привычки холостяка ему пришлось бросить, забыть о вольной жизни, теперь он был погружён в семью, воспитание сына. Науку пришлось забросить, ведь теперь то, что было раньше научным исследованием, стало называться «дурью и глупостью сумасшедшего неудачника». Вместо химии и биологии, семинаров и научных статей появились магазины, вещи, телевидение, дальние поездки и прочая обыденная жизнь заурядного человека. Когда жена сменила училище на частную строительную фирму и влезла в кресло главного бухгалтера, бедному учёному мужу и вовсе пришлось позабыть биологию, преподавание и все те «бесполезные связи старых маразматиков». Он влился в новую жизнь, как рыба в ванную, где не он изучал, а его рассматривали в качестве еды. Теперь Анатолий Петрович «стал подниматься вверх», к лучшему, но по своему собственному мнению, – которое ещё теплилось внутри, боясь проявиться снаружи, побаиваясь сильной и властной жены, – не в том направлении, по которому он шёл вначале исследования мира. Теперь вечность, к которой он когда-то приближался, превратилась в плоскость, прямую, отрезок, а иногда и в точку. Теперь он смотрел на небо не большими глазами учёного, в которых отражалось иступлённое желание изучить, а взглядом дрожащего мышонка, подсматривающего в кухне в дырочку за хозяином. Так он удалялся от истины с той скоростью, с которой когда-то приближался к истокам существования человечества. Вместо химических экспериментов и лабораторных исследований появились соцсети, сериалы и компьютерные игры. «Что ж, может, это и есть та истина и цель жизни, которую человечество выбрало для себя: покупки, поездки, бесконечные просмотры фильмов, клубные вечеринки, платья», – думал он, боясь, чтобы даже мысли его не были прочитаны всюду проникающим и всевидящим оком жены, знающей обо всём. Он даже забыл, когда в последний раз брал в руки научный журнал, и как называлась прочитанная им научная статья. Так он познал и другую сторону человека, не исследованную им ранее. А ведь и это Бог тоже создал, запрограммировал, учёл. Зачем? Сложив кости, мышцы, системы в один гармоничный организм, он так же сконструировал и нервную систему, которая начала управлять человеком, всеми его косточками. Насколько гениально был выстроен человек внешне, настолько безобразно он был наполнен внутри, ибо всегда стремился, – и это у него не отнять, – окружить себя оазисом лишь ему понятным и лишь для себя одного, а кто ему мешал в этом, того он стирал с лица земли, как ошибку создателя. Кто же не мешал – должен был помогать строить ему этот оазис. Иначе говоря, человек видел в себе бога, а в других – конкурентов и низших тварей, мешающих наслаждаться жизнью.

«Но знает ли Бог, что он создал? Проверял ли он свою работу? – думал Анатолий Петрович, прячась и уединяясь от жены в туалете. – Проводил ли он эксперименты? А может, вся эта короткая человеческая жизнь и есть эксперимент, чтобы потом Он смог бы построить нового сверхчеловека, с исправленными ошибками, и тогда уже подарить ему вечность?». Анатолий Петрович на этот счёт думал очень много, то созерцая дверь уборной, то нажимая на сливной бочок, услышав шаги за дверью.

И вот однажды в нём, в этой безмолвной и податливой овечке, проснулся человек или сверхчеловек, всё в нём восстало. Но, к сожалению, это произошло в закономерный период его жизни – в шестьдесят лет, когда его собственная нервная система начала давать сбой. Война была страшной, ужасной и жестокой. Летели клочья овечьей шерсти, волчий грозный рык разрывал пространство и всю пятикомнатную квартиру, оставленную ему по наследству после смерти матери. Результатом этой безжалостной баталии был

размен квартиры: помятый старик, с ещё дымящейся, опалённой, вырванной местами шерстью оказался в скромной однокомнатной квартирке на третьем этаже трёхэтажного дома. Жена с сыном переехали в трёхкомнатную квартиру, подальше от «подлеца и неудачника».

Жили они в разных районах города, не общаясь друг с другом. Видеть сына жена запретила, да и сын, воспитанный властной и самолюбивой матерью не проявлял желание видеться со своим отцом, которого мать называла бомжем, сухарём и старой мразью, не способным почувствовать любовь и оценить женщину.

С тех пор прошло много лет, и вот теперь, когда многое было забыто и прощено, кое-что выплыло в памяти бывшей жены, Ольги Васильевны. А именно – квартира. Ведь больной, одинокий старик, думала она, долго не протянет, а квартира пригодится. Когда вчера к ней домой пришли двое молодых полицейских и сообщили о пропаже её бывшего мужа, в её расчетливом мозгу зародилась неожиданная мысль. Это и привело её в квартиру бывшего мужа. Дубликат ключей от квартиры она сделала давно, ещё при размене – на всякий случай. И вот он неожиданно выдался.

Глядя на поднявшегося со своего места священника, в глазах которого Ольга Васильевна ошибочно прочитала скорбь вместо беспокойства, она вдруг разом всё осознала: он умер! И горе и радость нахлынули на эту пожилую женщину. Эти два несовместимых чувства разом проявились на её морщинистом разукрашенном лице. Отдышавшись и восстановив энергию, которой всегда была в ней с избытком, как у всякого холерика, она изменилась вновь. Теперь скорбь переполняла её, она даже стала вспоминать былые, почти стёртые из её памяти, приятные моменты совместной супружеской жизни. Ведь о покойниках нельзя думать плохо. Восстановившись полностью, она тихо произнесла, не сводя скорбного взгляда с батюшки:

– Где я могу увидеть своего мужа?

Присутствующие переглянулись в недоумении. Так как Ольга Васильевна сильно была поглощена своими воспоминаниями и душевными муками пробудившейся совести и жалости к бывшему мужу, – лишь с осознанием утраты и чувством смерти в человеке просыпается жалость и совесть, – её сын первым увидел и почувствовал, что происходит что-то не то, какую-то ошибку сделала мать. Он дотронулся до руки матери и она, вскинув голову и словно отрезвев, вмиг, ещё моргающим от слёз взглядом ещё раз, но уже трезво, оглядела присутствующих. Теперь и ей так казалось: что-то здесь было не так, как она думала вначале, объятая грустными воспоминаниями.

Первая нарушила тишину и внесла ясность Раиса Петровна.

– Мы не знаем, где ваш муж. Он ушёл три дня назад и не вернулся. Предполагаем, что всему виной его проблемы со…

Но она не успела договорить, её перебила вспыхнувшая Ольга Васильевна:

– Проблемы! У моего мужа не было проблем, – догадавшись, что здесь происходит, она продолжила уже требующим голосом, не терпящим возражения: – Поясните мне, что вы здесь все делаете? И кто вы такие?

После того, как все представились, Ольге Васильевне ещё больше стало всё понятно. Теперь уже надменно, почти с презрением она глядела на них.

– Что, квартирки его захотелось?! – так и бросила она смело, прямо им в лицо. Именно это она и прочла в их глазах.

Сказав это, она продолжила уже более ехидно, с какой-то исступленной ненавистью к присутствующим:

– Риэлтор из ЖЭКа пришла за квартирой, принадлежащей моему мужу и моему сыну – единственному законному наследнику; священник, что-то вы рановато явились – хоронить некого, не так ли; домашний доктор, – взгляд Раисы Петровны был бесстрашный, но это не остановило её, – пришла к здоровому старику, какой курьёз; сосед вовремя на чаёк залетел; прислуга за свои мелкие услуги решила отнять у старика квартирку, – она бросила свой волчий взгляд на вжавшуюся в диван Дарью, – и прочее, и прочее… Я подам на вас всех в суд. Это сговор с целью убить старика и завладеть его квартирой, организованная преступность, – она посмотрела на сына, – Серёжа, звони в полицию, немедленно, пока они ещё все здесь не разбежались.

Блондин и в самом деле полез по первому требованию матери в карман за телефоном.

– Вы с ума сошли! – воскликнул Даниил Степанович, – у меня всё законно… – он волновался, по этой причине сбился, задыхаясь от горлового спазма. Его руки полезли в сумку, вслепую пытаясь что-то там отыскать. – Ваш муж задолжал нам…

– Какой же ваш муж здоровый? – не соглашаясь, пыталась что-то вставить врач, но её тут же перебили.

– Вот значит вас сколько, – воскликнула Ольга Васильевна. – Вот, Сережа, гляди, какой был твой любимый отец, – любимым он ему никогда не был. – И вся эта мразь примчалась сюда, когда он стал болеть. Что, почувствовали его гибель?!

– Да как вы смеете! – не выдержала Дарья, почувствовав поддержку.

– Это шок у неё, вы успокойтесь, – сказал Артём Павлович.

– Ну ничего, – продолжила Ольга Васильевна, – закон на нашей стороне.

В этот момент зазвонил телефон Дарьи, все замолчали. Звонили из полиции. Дарья всё слушала, прижимая телефон к уху, она боялась что-либо ответить. Но голос молодого полицейского всё же достиг

ушей присутствующих, превратившихся в слух. Полицейский сообщил, что Анатолий Петрович был только что обнаружен, с ним находится врач со скорой помощи. Трубку перехватил Вениамин Исаакович, просто вынул телефон из окаменевшей руки бледной и не дышащей Дарьи. Узнав место, где находится пропавший Анатолий Петрович, и выяснив, что он в очень тяжёлом состоянии, он бросился к выходу. Все, кроме Ольги Васильевны и её сына, также последовали к двери. Бывшая жена с каким-то тяжёлым не то выдохом, не то стоном села на освободившийся диван. Но спустя минуту, видимо, собравшись с силами, схватив сына за руку, чтобы не упасть, она спешно последовала за всеми. Началась гонка.

5.

Он не помнил, как оказался в парке «Победы»; он не знал времени, дня, года, которые царствовали ныне; многое из своей жизни позабыл или растерял; одиноких прохожих, сжавшихся от лёгкого утреннего мороза, внезапно проникшего в город этой ночью, он видел впервые; он не смог бы вспомнить, – даже если бы напряг все извилины мозга, – что делал вчера или неделю или месяц назад, ему было известно лишь настоящее, лишь те картины, что лениво проплывали перед его мутным старческим взором; но никогда он не смог бы забыть эти молчаливые чудные аллеи, эти извилистые проторенные дорожки, эти едва заметные тропинки, что петляли средь деревьев, тянулись вдоль пруда, поднимались по холмикам и спускались с мостиков. Нельзя сказать, что видел он их в своём вялом, желеобразном мозге всегда, боясь упустить из памяти хоть фрагмент дорогих сердцу картин, навеки запечатлённых им, словно древние наскальные рисунки, в те далёкие годы его зрелой жизни, когда ещё память не подводила его. Вот сейчас, бродя по этим дорожкам, средь голых осенних деревьев и кустарников, то шагая нетвёрдым шагом, то останавливаясь и оглядываясь, словно он что-то или кого-то искал, уже дряхлый, одинокий, помятый жизнью Анатолий Петрович, семидесяти двух летний старик, почти исступлённо рассматривал каждый уголок так полюбившегося ему когда-то парка. В жизни каждого человека есть такие места на земле, к которым его тянуло, где ему было бы хорошо, где он желал бы остаться на всю оставшуюся жизнь и даже после неё – если есть вечность (настолько, порой, сильны чувства человека). Именно такие места, где человек впервые почувствовал счастье, запоминаются неизгладимо.

Этот парк был из его прошлого, как сказочный, сладостный давно ушедший мир, испарившийся во времени, но ещё не истёртый в памяти до дыр. Тогда ему было почти сорок лет. Он был весьма подвижен, имел широкий лоб, большие красивые зелёные глаза, на его продолговатой голове колыхалась чёрная копна кучерявых волос, а лицо украшал орлиный нос. Вот уже пятнадцать лет он преподавал анатомию в медицинском училище и занимался научными исследованиями. Сдав кандидатский минимум и защитив диссертацию, он с головой окунулся в свои новые исследования в области физиологии человека. Женат он не был и, несмотря на то, что в училище было много женщин на любой вкус, он, казалось, их не замечал. Отчасти в этой его холостой жизни виновно его увлечение наукой, но главным образом, связи с женским полом разрывались, ещё не успев укрепиться, в силу его застенчивости и нерешительности в поведении с женщинами. Поначалу он так был увлечён физиологией женщины, что не замечал её вовсе, а потом, когда какая-нибудь красотка флиртовала с ним, он замыкался в себе, спешно удалялся и даже прятался. А спустя время он вылазил из своего панциря, как рак-отшельник – осторожно выглядывая из-за укрытия парой застенчивых робких зелёных глаз. Когда же он стал постарше и возраст приблизился к сорока, на его чёрные кудри, небольшую сутулость, нос с горбинкой и открытый взгляд уже не смотрели, да и он не питал желания, потому как привык быть холостяком, заученным, прижившимся к кафедре, лаборатории, лекциям, отдалённым от людей робинзоном, погружённым в науку. Он окружил себя скелетами, макетами, плакатами, книгами, пробирками, химическими реактивами, и почти не выходил из лаборатории и кабинета. Вся его зрелая жизнь, как и у ракообразных, проходила в закрытом панцире, разрушить который он не мог, да и не хотел, в то время как мир грациозных, изящных, стройных рыб проплывал мимо, не замечая его.

И всё бы это продолжалось неизвестно сколько времени, если б однажды не появилась Она. Ничем не примечательная, среднего роста, худенькая девушка семнадцати лет, с вьющимися локонами русых волос. Впервые он обратил на неё внимание, когда делал перекличку, знакомясь со студентами первого курса, появившимися в сентябре на его паре в количестве сорока пяти человек. Когда он произнёс: Береговая Юлия, читая список студентов и поднимая голову, то увидел у окна стройную девичью фигуру, с продолговатым личиком, на котором ещё не сошли юношеские веснушки, окаймлённом золотистыми прядями волос (косой луч утреннего солнца проникал в аудиторию, и вливался в эти русые девичьи локоны, как бы освещая их изнутри), с парой синих сапфиров, робко глядевших на учителя. И даже тогда, когда он впервые её увидел, он не обратил на неё особого внимания. Но её образ просветлел в его сознании уже вечером и раскрылся в полном свете поздней ночью, когда не мог уснуть, и когда уснул – он видел лишь её.

На следующий день он пытался забыть её, потерять среди заученных глав множества учебных тем, правил, определений, списков студентов, большого количества лиц, встречавшихся ему в коридорах учебного

заведения. Но уже после первой пары он стал испытывать какое-то странное волнующее чувство, стал слышать своё учащённое дыхание, ускоренный ритм сердца и странную пульсацию в жилах, словно весь его организм чего-то ожидал. Это был не страх, не чувство какой-то непредвиденной опасности, это было хоть и необычное для него, но весьма приятное чувство, будто в нём разом начала пульсировать какая-то сеть неведомых ему ранее нейронов, сигнализирующих о начале чего-то. Какое-то новое неведомое чувство насквозь пронизало его, словно невидимыми, утончёнными иглами. Теперь это неясное чувство хотело ему что-то сказать, напомнить. Когда он проходил по коридорам среди студентов, ему казалось, что вот-вот из-за спины какого-нибудь студента или преподавателя появится она, Юлия. Имя он запомнил, фамилию почему-то не сберёг, хотя, когда он впервые произнёс её, она показалась ему знакомой.

Когда начиналась очередная пара, и в аудитории ещё не умолкал студенческий гул, а за дверью были смутно слышны чьи-то шаги, он с трепетом ожидал, что сейчас откроется дверь и войдёт она. Такой напряжённой недели у него ещё не было в жизни, даже когда он сам ещё был студентом и сдавал экзамены в медицинском университете, он не был так взволнован. И вот теперь, почти в сорок лет, он чувствовал себя, словно студент, ожидающий экзамена. Когда в аудитории появилась Юлия, он выяснил, что студентка болела, пожелал ей больше не простужаться и старался во время лекции не замечать её. Прятал или отводил взгляд от неё даже тогда, когда она с подругой подходила к нему во время перерыва, чтобы выяснить какой-нибудь неясный вопрос, возникший во время лекции.

Так продолжалось несколько месяцев. Анатолий Петрович помимо лекций проводил для желающих студентов факультативы. На этих дополнительных занятиях, проводимых поздно, в небольшой аудитории, вне основного учебного времени – на восьмой паре, студентов этих вольных курсов по гигиене, как правило, не было. И Анатолий Петрович, просидев с какой-нибудь книгой в обнимку час-другой, с чувством выполненного обязательства, назначенного ректором, уходил домой. Но на этот раз он оказался не один – на его факультатив пришло две студентки, одна из которых была Юлия.

Теперь ему не удавалось смотреть в сторону, он не прятал, не отводил от её синих глаз своего взгляда, а напротив, отвечал на все вопросы, они вместе обсуждали научные темы, размышляли о тех или иных проблемах здоровья. Они сидели близко друг от друга, он мог рассмотреть все её гибкие линии фигуры, каждую веснушку на её юном личике, заглянуть без какой-либо робости в синеву её глаз, наслаждаясь неповторимой свежестью её золотистых волос, ниспадавших на изящные плечи. Её подруга, вероятно, была фотомоделью, во всяком случае, выглядела она весьма привлекательно, но красоту её он не замечал, как и прежде, когда мимо него проходило много симпатичных и красивых студенток. Лишь Юлия могла так неосознанно на него воздействовать и объяснить этот магнетизм, это смутное желание он не мог. Со временем подруги Юлии, пожелавшие прийти на дополнительное занятие, менялись, постоянным слушателем была лишь Юлия.

Она была весёлая, живая в общении, но, как он потом заметил, – только с ним. Среди студентов она не отличалась общительностью. Частенько она приходила на дополнительные занятия одна, и он этому внутри себя был несказанно рад. Ни он, ни она пойти на первый шаг не решались, так как оба были достаточно робкими для этого. Даже когда она пришла в январе к нему с зачёткой, он молча, не опрашивая её, не задавая ни единого вопроса, поставил ей зачёт, так как она присутствовала на всех его занятиях. Получив зачёт, она тихо попрощалась и пошла к выходу. Он сел на уголок парты, глядя ей в спину, и вдруг она остановилась, у самой двери, обернулась, словно что-то хотела сказать, робко посмотрела в его глаза, тоже чего-то ожидавшие, но, не получив поддержки, она опустила голову и быстро вышла.

Весь январь он мучился, проклиная свою застенчивость и нерешительность. Тогда ему показалось, что надо было лишь остановить её, и она бы сама заговорила. Не было ни дня, чтобы он не вспоминал её образ, в его голове звучал весёлый девичий голос, в воображении он не раз разыгрывал сцену с зачёткой, когда он мог поступить иначе: набраться решимости и пригласить её куда-нибудь, расспросить её об увлечениях, хотя бы предложить провести до остановки. Что же сдерживало его? Что останавливало в нём мужчину? Да, всеми своими извилинами и артериями он чувствовал новое сладостное ощущение, что был влюблён, влюблён впервые. Ощущал, что это новое чувство, набирающее в нём силу, росло с каждым днём, становясь всё сильнее и покоряя его всего, поглощая целиком, захватывая все его мысли. Это была не наука, к которой он питал особую страсть с самого юношеского возраста, это была сила, которая раз проявившись – долго не может утихнуть, штормя внутри, переворачивая всё, выкручивая наизнанку каждый нейрон его сухого мозга. Но вместе с тем, питая всё его тело, казалось, неиссякаемой живительной энергией. Впервые в жизни он почувствовал себя счастливым, всё вокруг него засияло, приобрело цвет, стало гармоничным и таким родным.

В феврале начался второй семестр. Теперь он шёл на пары, не прячась, ожидая и желая встречи с Юлией. Было всё так же: лекции, поздние факультативы, робкие взгляды, невидимые вздохи, тёплые, прожигающие насквозь, приятные ощущения и даже жар внутри тела. Он пытался всё это объяснить самому себе: висцеральные связи, давление, кровь, работа сердца, нейронов, чтобы хоть как-то унять, успокоить эту бурю нежных чувств к этой девушке, невидимо покоряющей его с каждым днём, с каждой

встречей, с каждым взглядом. Анатолий Петрович прекрасно понимал, что между ним и этой юной золотоволосой синеглазкой лежит пропасть, через которую он не может и не вправе перейти. Нравственные человеческие законы и его совесть останавливали его, сжигали все мосты, которые поминутно строили его чувства к девушке вновь и вновь. Он прекрасно осознавал, что их отделяет впадина глубиной в восемнадцать лет, – он был почти вдвое старше Юлии.

6.

Это произошло пятнадцатого февраля, когда Анатолий Петрович пришёл рано утром на работу. На его письменном столе стояла ваза с цветами и каким-то праздничным шаром, с которого спускались вьющиеся пёстрые ленты. «Видимо вчера, – подумал он, – на кафедре была какая-то вечеринка, кто-то веселился, может, справляли чей-то день рождения». Обычно его приглашали, но он вежливо отказывался. Он уже давно отмечал только один праздник в году – Новый год. Но сейчас середина февраля, последний месяц зимы.

Вынув журнал из шкафа и сев на стул, он положил журнал перед собой на письменный стол. Взял ручку и хотел было открыть журнал, как вдруг в сознании промелькнула мысль: почему цветы и шарик с лентами находятся именно на его столе? Может кто-то по ошибке переставил их на его стол. Но почему не забрал с собой домой? Он поднялся, чтобы переставить вазу на подоконник, на нейтральное место, не зная кому принадлежит этот предмет. Неожиданно он приметил в ней прикрепленную к шарику небольшую записку в форме красного сердечка. Раскрыв поздравительную открытку из чистого любопытства, он увидел несколько аккуратных строчек, в которых его поздравляли «С днем святого Валентина». В конце поздравления он увидел подпись: «Целуем вас, Юля и Света». Любой бы на его месте подумал, что это коллективное поздравление студентов, ведь именно эти две студентки обычно присутствовали на его факультативах. Но Анатолий Петрович увидел лишь одно имя: Юля. Конечно же, второе имя здесь было дописано, чтобы коллеги Анатолия Петровича не подумали дурное.

Теперь он думал только о ней: что он скажет, когда увидит её в коридорах училища или в аудитории? Он был рад, что она решилась первой. Он никогда бы не смог переступить через эту черту. Первый шаг был сделан, думал он, и не им – зрелым мужчиной, а юным созданием. Однако он не знал, что скажет, и потому решил не говорить о своей догадке. Но с другой стороны: цветы, шарик, эти прекрасные пёстрые ленты – ведь это всё было соединено в одну композицию с такой заботой, любовью, – этого невозможно было не заметить. Поэтому он твёрдо решил поблагодарить Юлию и её подругу за подарок.

Вечером того же дня на факультатив никто не пришёл. И он грустный, сам не зная от чего, стал собираться домой, прождав своих нескольких студентов почти час. Когда он уже подходил к двери, то в коридоре вдруг услышал шаги. Он открыл дверь и увидел группу из пяти студентов. Это были Юлия, её подруга Света и ещё трое молодых людей. Дав студентам задание, которое надо было выполнить к следующей паре, он отправился домой, весь в раздумьях, терзающих его.

Они пришли впятером на следующее занятие, но занимались лишь девушки, а молодые парни сидели на задних партах, сказав, что пришли не на лекцию, а лишь для того, что бы проводить девушек, Юлию и Свету, домой после занятия. На занятии Анатолий Петрович не был в хорошем, весёлом расположении духа. Он не был оживлён, разговорчив, как это бывало с ним, когда появлялась Юлия одна или с подругой. Какое-то сдержанное напряжение чувствовалось в его голосе. Он выражался сухо, давал задание и молчаливо сидел за столом, уныло поглядывая в окно. Впервые он почувствовал в себе новое чувство – ревность. Но к кому и почему – он не знал. Молодые люди, сидевшие на галерке, были, в противоположность ему, веселы и о чём-то хихикали, переговариваясь между собой и поглядывая в его сторону. Один из них, тощий, долговязый брюнет, с курносым носом, симпатичный, даже позволил себе сесть на парту, высунув ноги в проход. Но после вежливого замечания Анатолия Петровича он покорно сел за парту, опустив голову, вернее, уткнувшись в телефон.

На следующий день они случайно встретились на лестничной площадке. Юлия поднималась одна. Она остановилась, опустила свои большие глаза, словно чувствовала за собой какую-то провинность. Теперь решился Анатолий Петрович.

– Кто эти молодые люди, что вчера пришли с вами на занятие и не занимались? – он спросил не строго, а как бы между прочим.

– Да это так… увязались за нами, – неопределённо сказала она.

Трое молодых людей приходили ещё на несколько занятий, потом исчезли. Однажды на факультатив пришли лишь Юлия и Марина, последняя была одной из подруг Юлии (обычно они сидели на лекциях за одной партой). Анатолий Петрович вновь обрёл какой-то душевный подъём: он был весел, шутил, рассказывал забавные случаи из жизни студентов. В конце занятия, когда Юлия осталась одна в аудитории и уже собиралась уйти, он подошёл к ней и предложил провести её. Неожиданно для него девушка легко согласилась, словно ожидала этого.

На улице накрапывал прохладный дождь, небольшой холодный ветер приятно дул им в спину, начали зажигаться фонари, сумерки опустились на улицы Одессы.

Он рассказывал ей случаи из своей практики, она внимательно слушала, приветливо улыбалась, робко поглядывая на него, рассказывала о себе, делясь впечатлениями нынешней студенческой жизни. Так они шли до самой остановки, где она села в маршрутку, а он ещё долго стоял один, прибывая в какой-то тёплой, приятной неге. Уже дома, когда ложился в кровать, он словно в какой-то сладостной дрёме вспоминал, как шёл рядом, как её золотые волосы касались его плеча, как взял её тёплую руку, когда переходили дорогу, как она улыбнулась, глядя в его глаза благодарным взглядом за то, что проводил её.

На следующем занятии он набрался смелости и вновь предложил проводить её. На этот раз он был смелее, решительнее и предложил Юлии встретиться на выходные. Она согласилась. Они стали встречаться каждое воскресенье, и каждый раз, прогуливаясь в парках города или у Чёрного моря, они не могли наговориться. Анатолий Петрович не подозревал, что может быть таким разговорчивым и откровенным, не догадывался, что есть в мире человек, с которым ему будет так хорошо. У моря он держал её за руку, помогая перебраться через груду камней; на склонах трассы Здоровья он придерживал её за талию; ему приятен был её запах, когда он впервые прикоснулся к её волосам. Он остановился, чтобы передохнуть, когда они поднимались по длинной лестнице, расположенной на склоне. Она прижалась к нему, а он, обвив её одной рукой, стал нежно гладить по голове, окуная пальцы в золотистые локоны. Ему захотелось прикоснуться губами к волосам, и он сделал нежный, едва уловимый поцелуй в затылок. Она неожиданно развернулась и влажными губами, так, что он почувствовал её свежее дыхание, поцеловала его в щеку. Этот невинный поцелуй он унёс с собой, сохранив его до самого дома. Даже когда ложился спать, он всё ещё ощущал нежное прикосновение девственных губ и чистого девичьего дыхания.

Они встречались ещё несколько месяцев, до самого лета, втайне от всех. Казалось, что они были созданы друг для друга, что не было между ними никаких противоречий, и никогда не могли бы возникнуть – настолько хорошо они подходили друг другу. Однажды они заговорили о родителях, и Юлия загорелась желанием познакомить Анатолия со своим отцом. Анатолий Петрович согласился, но предложил встретиться не дома, а на вечеринке, корпоративе, который должен был состояться в конце учебного года, в мае. На корпоративе, проходившем в одном из одесских кафе, должны были присутствовать как студенты-выпускники, преподаватели училища, так и родители студентов.

Анатолий Петрович сильно волновался, и не из-за речи, с которой он должен был выступить, а из-за встречи с её отцом. Из-за этого волнения, которое усиливалось тем более, чем ближе он подходил к месту встречи, он опоздал на полчаса, а когда появился на празднично украшенной площадке, расположенной перед входом в кафе, то оказался среди множества людей, разодетых по случаю праздника, между весельем и едой.

Он пытался отыскать Юлию первым, чтобы издали разглядеть её родителей, ведь она наверняка будет в их компании. Юлии нигде не было видно. С ним здоровались преподаватели, студенты, куда бы он ни шёл, всюду были знакомые, приветливо улыбающиеся лица. Людей оказалось слишком много, и он уже хотел было куда-то спрятаться, хоть в какой-нибудь тихий угол. И вот, когда он уже нашёл такой угол, вдруг рядом с собой он услышал приветливый мужской голос.

– Толик?! – кто-то окликнул его.

Он обернулся и увидел худенького мужчину с русыми волосами, глядевшего на него с удивлённым восторгом. Всмотревшись в незнакомца, он вдруг почувствовал, что когда-то хорошо знал его.

– Миша? – почти интуитивно произнёс Анатолий Петрович.

– Он самый. А ты не изменился, Толик. Если бы вот так, только на улице, то прошёл бы мимо и не узнал, – они горячо обнялись, как два старинных приятеля, давно не видевших друг друга.

– А я и теперь бы тебя не узнал, если бы ты не опередил меня, – признался Анатолий Петрович. – Миша Береговой! Сколько же это лет прошло? – в каком-то торжественном восторге произнёс он.

– Пролетело, Толик, пролетело, как миг, осыпав нас несколькими морщинами.

– Миг длиной в двадцать лет. Этого мига достаточно, чтобы мы с трудом узнали друг друга.

Это был его школьный товарищ, бывший одноклассник. Они стали вспоминать прошлое, рассказывать, чем занимаются теперь, во что верят, чем увлекаются, и когда разговор затронул их семьи, Анатолия Петровича вдруг посетила какая-то смутная тревога, какое-то неясное волнение отразилось в его словах. Он вдруг замолчал, весь поник, предчувствуя что-то. И, когда услышал, что его бывший школьный товарищ пришёл на вечеринку с дочерью – выпускницей училища, то разом обо всём догадался, внутри него что-то взорвалось. Юлия, с которой он встречался, и которую он полюбил, была дочерью его школьного товарища. Он сконфузился, извинился, что должен спешно покинуть его, и убежал, скрылся от всех.

Оказавшись наедине, в том самом парке, где когда-то прогуливался с Юлией, он сел на скамейку, опустил голову и погрузился в мрачные раздумья. Ему было тяжело на сердце, какая-то тьма накрыла его, из счастливого человека он вмиг превратился в самого несчастного. Он понял, что никогда не сможет переступить эту черту. Да и бывший товарищ, с которым он провёл детство, не поймёт его. Но больше

всего достанется ей – и от отца с матерью, и от подруг. А что он скажет коллегам, и что они подумают о нём? Он твёрдо решил порвать с ней. Но что он скажет Юлии, как он объяснит внезапное решение? Какую выдумать причину, да и нужно ли было её придумывать?

С тяжёлым сердцем он пошёл домой и лёг в холодную холостяцкую постель. Если его сердце уже взяло на себя эту тяжесть, то сознание ещё сопротивлялось. Всю ночь он не мог уснуть, воображая их встречу и разговор, фантазируя, рисуя в голове образ, так полюбившийся ему и ставший таким родным, наделяя его чудным, неповторимым голоском, созерцая золотистые локоны, окружающие прелестную девичью головку, и всматриваясь в глубину синих глаз, от которых невозможно было оторваться.

Прошло три мучительных, тяжёлых для него летних месяца, наступил новый учебный год. Он был и рад этому, – наконец-то кончатся душевные муки и начнутся учебные будни, – и расстроен, потому что теперь не встретит так ему полюбившиеся милые черты Юлии. Новые лица, лекции, коллеги, работа вновь окружила его. Но не было её, ни звонка, ни записки.

Спустя несколько лет он решил найти её через интернет, так, просто, чтобы посмотреть со стороны. Он набрал её имя и фамилию, и на одной социальной страничке случайно отыскал её. Фотографий было всего две. На одной ей было ещё семнадцать лет – такой он впервые её увидел. Внутри него всё закипело, словно в первый раз, но какая-то боль всё же царапала где-то в глубине души, напоминая о реальности. Он почувствовал, что не забыл её, и по-прежнему горячо любит. Стал проклинать себя и свою застенчивость, робость, оставшуюся ещё с юных лет и преследующую его, как мрачная, уродливая тень.

На другом снимке ей было лет двадцать пять. Её с нежностью обнимает какой-то высокий худощавый брюнет, показавшийся ему знакомым. Брюнет целует её в губы, глядя в её закрытые глаза. Ему показалось, что её глаза были закрыты не то от наслаждения, не то от нежелания видеть его карие узко посаженные глаза, с деланной нежностью глядевшие сверху. От первой фотографии Анатолий Петрович испытывал трепетное волнение и смутную боль, от второй – отвращение и что-то мерзкое, ненастоящее.

В течение полугода эта страничка, найденная им в соцсетях, не менялась – в ней ничего не добавлялось и не убавлялось. Нельзя сказать, что он заглядывал в неё каждый день, как в зеркало прошлого, пытаясь увидеть хоть малейшее изменение, но регулярно. И вот однажды он увидел на этой самой страничке целых десять новых фотографий. Это были свадебные фотографии, на которых невеста была окружена женихом, прилипшим к ней, со всех сторон. Но и здесь её взгляд казался невесёлым, а если и встречались улыбки, то глаза, в которых он когда-то мог видеть отражение целого океана, теперь были тусклыми и могли отражать разве что вспышку фотоаппарата. Они показались ему чёрно-белыми, куда-то делся синий цвет, будто в них фотобумага оказалась засвеченной. Эта страничка продержалась ровно неделю, потом всё разом исчезло. Видимо, Юлия её удалила. С тех пор он о ней нигде ничего не находил, и ни разу не встречал её в городе, словно она испарилась, как давний фантастический сон, который забывается со временем, но не исчезает навсегда.

7.

Рядом с парком Победы столпилась небольшая группа людей, стояло несколько машин, от которых отъехала, мигая синим светом, полицейская машина. Артём Павлович, сосед пропавшего Анатолия Петровича, видимо, прибыл последним.

– Где он? – спросил Артём Павлович у Даниила Степановича, неотрывно глядевшего на пожилую даму с золотистыми кудрями лет пятидесяти пяти, сидевшую на скамейке в окружении только что прибывших охотников за квартирой. – И что это за женщина, которой всё так увлеклись?

– Говорят, что она первой обнаружила Анатолия Петровича, – ответил Даниил Степанович, – она же и вызвала скорую.

– Так… – раздумывал он, – а полицию кто вызвал?

– Понятия не имею… наверное… – он говорил неуверенно и с неохотой, потому что весь превратился в слух, подслушивая разговор у скамейки, где Раиса Петровна и Вениамин Исаакович подробно расспрашивали пожилую даму, казавшуюся моложе своих лет.

– Ну, что там? – спросил Артём Павлович, почувствовав, что разговор у скамейки окончен.

Дарья отошла от батюшки и направилась к Даниилу Степановичу и Артёму Павловичу, чтобы сообщить радостную весть.

– Жив, жив он. Слава богу, что его нашла эта женщина. Медик в прошлом, она спасла его, – сказала Дарья, направляясь к своей старенькой тайоте, – только он в очень плохом состоянии, – добавила она, оглянувшись, – увезли на скорой в Областной медицинский центр.

Услышав эту новость, все сели в свои автомобили, кто парами, кто поодиночке и быстро куда-то умчались, оставив пожилую даму одну. Женщина сидела на скамейке, не склонив голову, не сутулясь, её фигура была всё ещё стройной, а лицо, несмотря на почтенный возраст, казалось свежим, синие глаза не были тронуты временем, но сегодня в них затаилась какая-то грусть. Она смотрела на переплетённые

кустарники и деревья, дугой окаймляющие скамью и скрывавшие её от проезжей части, каким-то задумчивым взглядом, многое повидавшим в этом равнодушном мире, где люди живут вместе, но каждый думает о себе.

Она вспомнила, вспомнила, как прогуливалась по одной из аллей парка, как любовалась первым, выпавшим ночью, снегом, укрывшим тонкой вуалью голые деревья и кустарники, как наслаждалась свежестью утреннего воздуха, стоя на мостике или прохаживаясь у ещё не застывшего пруда. Вспомнила, как обнаружила пожилого мужчину, одетого не по погоде: в каком-то гольфике, широких спортивных штанах, схожих с пижамой, и домашних тапочках. На вид ему было за семьдесят, как ей показалось. Он уныло сидел на одной из скамеек, напротив пруда, согнутый, сжавшийся, окаменевший, с опущенной головой и, как ей тогда померещилось, остекленевшими мертвенными глазами. Она коснулась его плеча, но старик не шевельнулся, он как будто застыл от холода, превратившись в ледяную фигуру. Тогда она заговорила, присев рядом. Она спросила его: не холодно ли ему, и почему он так странно одет – несоответственно погоде? Вероятно, он услышал, потому что поднял голову и уставился на неё. Они сидели молча несколько минут, глядя друг на друга: она – в жалости и недоумении, а он, как ей тогда показалось, – внимательно изучал её, словно что-то вспоминая, что-то давно позабывшееся, но не потерявшееся, не исчезнувшее. Он смотрел на неё старческими мутными глазами, с открытым ртом, то глядя в синие глаза, словно хотел в них что-то увидеть, то переводил взгляд на её губы, будто хотел в них что-то прочитать, то скользил загадочным взглядом по золотистым русым прядям волос, ища в них что-то давно ушедшее, но проясняющееся в его памяти. Губы его то вытягивались в улыбке, то размыкались, округлялись в удивлении, то принимали изгибы, говорящие о восхищении. Наконец он произнёс:

– Юлия, это ты… я нашёл тебя… – слова, по-видимому, с трудом давались ему из-за высохшего рта и каких-то горловых болей, которые он испытывал, пытаясь что-то сказать.

– Молчите, умоляю вас, молчите, – она прикоснулась к его запястью, пытаясь прощупать пульс.

– Я знал, знал, что когда-нибудь увижу тебя вновь, – он глядел на неё с каким-то безумно восхищённым взглядом, с еле заметной улыбкой, застывшей на потрескавшихся губах. Она не сводила с него взгляда, замечая, как было важно для него сообщить ей что-то и, вместе с тем, как тяжело было ему произнести хоть слово.

Прослушав пульс и бросив взгляд на почти сизые от холода пальцы, нос и уши, она вынула из сумочки мобильный телефон и вызвала скорую помощь, затем стала разминать его ладони: то нежно поглаживая их, то растирая от запястья до самых кончиков пальцев, затем от плеч до запястья. Потом она перешла к его закоченевшим ногам, но вдруг старик остановил её. Одной рукой он нежно взял её за руку, другой прикоснулся к волосам, окунув в эти мягкие и всё ещё густые локоны несколько пальцев и медленно проведя пальцами вдоль головы до самых плеч, где они заканчивались.

– Сколько времени вы пробыли здесь? – спросила она с волнением.

– Очень много, иногда мне казалось… всю вечность. Юлия, я очень… рад, рад видеть тебя… очень рад, ты для меня…

– Вам нельзя говорить, – она с жалостью смотрела в его счастливые глаза, представляя и чувствуя, как ему было сейчас больно говорить.

– Ты спасла меня, ты… сделала меня счастливым.

– Но откуда вы знаете, что меня зовут Юлей? – спросила она, внимательно всматриваясь в него.

– Разве ты не помнишь… мы с тобой… ах, как давно это было, – вспоминал Анатолий Петрович, – а мне всё мерещится, что это было вот теперь, только что…

Его голос стал тише, а дыхание слабее.

– Боже, где же эта скорая? Почему так долго? – с негодованием сказала она.

Он попытался выпрямиться, но какой-то внутренний спазм согнул его, не дав сказать и причинив страшную боль. Она поглаживала его руки, с волнением поглядывала в безлюдные аллеи, тревожно прислушиваясь к вою сирены.

– Ещё немного, – сказала она, – потерпите, скоро вы будете в тёплой комнате.

Но не это волновало старика, и она увидела это в его глазах.

– Юленька, – он нежно улыбнулся, не сводя взгляда с её глаз, словно боялся потерять её, – а мне ведь уже тепло, даже… жарко, потому что… ты рядом.

Когда приехала скорая, пожилая дама сообщила врачу, что это, вероятнее всего, переохлаждение. Старика положили на носилки. Она держала его слабеющую руку до самой машины, куда его поместили на носилках. Пообещала ему навестить его в больнице. Затем узнала адрес от врача. Когда умчалась скорая помощь, включив сирену, она подошла к скамейке, где только что сидела с ним, тяжело опустилась на неё и осталась наедине со своими мыслями. Откуда он пришёл, как попал в таком странном виде сюда, почему назвал её Юлей? Кого он узнал, когда с таким трепетом глядел в её глаза?

Спустя три часа, после того, как старика отвезли в больницу, он скончался, не приходя в сознание. Врач, констатировавший смерть пациента, отметил для себя одно странное обстоятельство кончины старика: пациент умер с улыбкой на устах; в его открытых, уже остекленевших глазах, всё ещё витало какое-то необъяснимое счастье; казалось, что его душа так и не угасла, тогда как всё тело стремительно теряло тепло.

МАРК ШЕХТМАН

ФЛАМИНГО БЫЛ ПОХОЖ НА НОТНЫЙ ЗНАК

АДАМ И ЕВА В АДУ

Сто бомб кровавыми усмешками
Мир превратили в прах и пыль.
Планета стала головешкою
Диаметром в семь тысяч миль.

Её клубящиеся живностью
Селенья, воды и леса
Огнём и радиоактивностью
Война убила в полчаса.

Мир умер. Лишь в часы безлунные,
Не видимы ничьим очам,
Два призрака, навеки юные,
Здесь проплывают по ночам.

Бесплотны и как будто сказочны,
Через расплавленный бетон
Легко, капризно и загадочно
Скользят во тьме она и он.

Их шелест – о чудесном августе
И о блаженном сентябре,
О светлом мире, полном радости,
О поцелуях на заре.

Не ведают две тени белые
Ни бед, ни боли, ни тревог.
И что им небо обгорелое,
Где вместе с миром умер Бог?

НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

Бог земли этой странной порой беспричинно сердит.
Древен он, и капризен, и трудно меняет привычки.
Над Израилем ветер четвёртые сутки гудит,
Стонут сосны в горах, и ломаются пальмы, как спички.

Пожилой кипарис расскрипелся, как старая ось,
И вороны орут, по безвестному поводу споря.
А страна так мала, что её продувает насквозь –
От предгорий Ливана до самого Красного моря.

Бог с начала времён здесь являет своё волшебство,
Напоив даже пыль пряным запахом воска и мирры.
Дует ветер, и будто сквозь серые крылья его
Выступают из прошлого пр*а*отцы, храмы, кумиры.

Вот любимого сына идёт убивать Авраам,
Вот в застенке Иосиф, вот Ной, уплывающий в стужу.
Ну а там, вдалеке? – да, похоже, тот самый Адам,
Рядом с Евой молчит, как и *до*лжно еврейскому мужу!

Из молитвы и памяти варится крепкий бульон
С ароматом предчувствия вместо петрушки с укропом:
Не сулят ли зарницы предсказанный Армагеддон?
Ливень, хлещущий землю, не станет ли новым Потопом?

Меж огнём и водой, что сойдутся, друг друга круша,
Лишь надеждой и волей спасётся живая частица.
И, учась не бояться, под ветром взрослеет душа, –
А без этого здесь, в этой малой стране, не прижиться…

ВИЗИТ В ПЕРЕДЕЛКИНО

Как многое тут изменилось за год!
И гуще лес, и обмелела заводь,
А дом осел и стал совсем уж крив,
И нам бы жить в нём не было охоты.
Он потемнел – как будто чьё-то фото,
Сойдя с ума, вернулось в негатив.

Как многое тут изменилось за год.
Во флигеле, что окнами на запад,
Уже не распускается герань,
Но прочь плохие мысли о потере! –
Дверь приоткрыта, и клюка у двери,
И патефон играет падэспань.

Забытое ведро на огороде
Есть бодрый символ жизни! – мы заходим
К хозяйке, чья судьба была страшна,
В чьей памяти и Колыма, и Прадо,
Чей стих изыскан, словно крыши пагод.
…Да, многое тут изменилось за год,
А ей всё снятся лагерь и война.

ФЛАМИНГО

Фламинго был похож на нотный знак –
Как будто Бах в заношенном халате,
Склонив над партитурою колпак,
Черкнул пером на розовом закате.

Мой век мне много чудного явил,
Но никакая музыка не пела,
Как эта, где строку благословил
Небесный ключ фламингового тела.

В изгибах шеи, в линиях крыла
Иных миров здесь царствовали меры,
И в их непостижимости была
Соединённость грёзы и химеры.

И полной столь возвышенных тревог
Казалась мне пернатая токката,
Что я подумал: это Бах и Бог
Играют вместе музыку заката!

А птичий клюв, гармонию презрев,
Зарылся, чёрный, в радужные пятна;
И был фламинго – как живой напев,
Как фуга, что светла и непонятна.

О ЛЮБВИ С ГЛАГОЛОМ «БЫТЬ»

– Светает, – ты сказала, – посмотри!..
Я посмотрел. Был свет. И был он тонок.
День выходил из домика зари,
Как золотисто-розовый цыплёнок.

Уже был звонок он и голосист
И к нам стучался лапкой многолистой,
И на стекле пластался каждый лист
Изнанкой голубой и серебристой.

Был ближе новый день скорее сну,
Чем яви утра, и, казалось, снится
Нам ранний мир, где к каждому окну
Прильнула вновь родившаяся птица.

В любом луче, в касании любом,
Которыми нас утро одарило,
Всё было просто – солнце, ты, любовь,
А главным было то, что это было.

И «быть» – глагол великой простоты –
Нас делал повсеместными, но всё же
Я быть хотел с тобою – там, где ты
Была, и есть, и завтра будешь тоже!

ЭВЕЛИНА ШАЦ

ОЛОВЯННОСТЬ

BOLERO

Евгению Волкову

цветаевское несогласье с веком
и шум костей – смертельное Bolero
оркестры как армии
кастеты – кастаньеты
проигрывают ноты в кости
всего их – двести
к обрыву танца
всего их – двести
изнурительных шагов
испанская трагедия
о, тавромахия
война и страсть
любовь и смерть
и каблуки фламенко
чеканят вспять
той смерти чернь
на серебре
взорвавшегося
века
и человека голова
глуха как кости
а тело звонко
оно как кегли
и война
как игры детства
шумен и звучен
голосами детворы
тореадоры и быки
двор детский
арена и коррида
что омывает кровью
толп берега
и со двора
в такт мессершмиттам
летят безлюдные слова
и музыка взрывается
отмщением
и завещанием тоже
то штиль торжественности бытия
смертельное Bolero

КОЛЛЕКЦИЯ МАЙСЕНА БАРОНА УЦ

вариации с итальянского

Будущее не родившая мёртвая земля
Прошлое блистает фарфоровым музеем
Настоящее – солдатик на одной ноге
оловянный оплывает в лодочке бумажной
Лишь огонь, который сплёл его
с неповторимой танцовщицей
ворожит и завораживает время
множащееся между множеством пространств
или оплывающее в отсутствии своём

В ЛЮБВИ КАК НА ВОЙНЕ

в любви как на войне
все средства хороши
и всё к двусмыслию взывает
всё – к беде

я беду любовью отведу…
и под меч с тобою вместе лягу

не лечит ни разлука от любви
ни даже смерть её прервать не может

прощай, мой друг,
мы расстаёмся, знаю я, не навсегда

ей нет конца, когда она любовь
необъяснимый спор и всполох вновь

прощай, мой друг, уходят эшелоны
чтобы когда-нибудь назад вернуться вновь

ОЛОВЯННОСТЬ

оловянные жестокие солдатики
маршируют по кошмарам и кишкам
на войне в миру в толпе и в доме
норовят насилие продлить
как непромокаемое детство

оловянные жестокие солдатики
слёзы льют по недобитым чревам душ
странно безобидные солдатики
в пейзаже рдяном птиц с зубами вовсе

в послушании неосознанном
железный смысл, ребятушки
у религии многообразные глаза
плюс зависимость с закрытыми глазами
совесть в слёзы, в тряпочке сознание

заводные убеждённые солдатики
черепами сеют чрево – оловянными

ОЛОВЯННОСТЬ 2

у системы длинные мечи
македонские и сталины несут
счастие на кончиках мечей

меченосная солдатская судьба:
землю-матушку навозом откормить
но собой семью никак не прокормить

кости лишь экологически белы
Верещагин в пирамиды черепа
безыдейно, но системно собирал

ни добра тебе, ни зла, ни флага
череп, ворон и земля – могила брату
брат-и-враг в одном, и Бог над ними

беспричинный, беспартийный, но родной
он в экспансии систему не врубался
просто он задумчивый такой

О ВОЙНЕ И МИРЕ
вариации с итальянского

Мир это – Паунд в клетке
под индиговым небом Италии
мир – это офицер СССР
из лагеря в лагерь ходящий
вперёд и назад – марш!
эй, ты, Война! прочь! эй, да брось, Сатана!
десять тысяч *км* [1] = колючий металл
в мозги раскалённые вжат
Шекспиром сотрясён набат, до самой Сибири песнь
пизанская бьёт: бред под сдвинутым небом с оси
остальные – в загон! степь взаперти! Звёзды, что виснут
над страшным острогом, всё же теплее, чем звёзды тайги
но небо над нами всё то же, ужасное небо измены
на раскалённой решётке распластан в чернилах Селин
Иосиф, проткнутый в сердце, обживает славу бесстыже
а где-то в желанном Нью Йорке на границе войны и мира –
две башни валятся в мусор.
Старый раввин вещает
когда-то бубнил и сейчас «Не будет больше войны
но борьба за мир такая, что не станет камня на камне»

молчи! о мире взрывном не говори – сглаз! дурная примета
ведь могут бросить *атомику*, вполне в мирных целях
пусть убиваются с миром – акт массового самоубийства
не в первый ведь раз такое! снова пойдём войною? Ну, да!
Или нет? Нужда ли ведёт за собою? Да будет мир и покой!

гласит считалка детская во взорванном мира дворе:
«чёрного и *белого* не называйте, *да* и *нет* не говорите»

---

[1] Произносится КА-ЭМ.

МАЛЬЧИШКЕ, КОТОРЫЙ ИДЁТ В ШКОЛУ

в этом мире мы ходим в школу
а потом идём на войну
и война никогда не кончается
и экзамены в жизни этой
не кончаются никогда[1]
мы рождаемся и рождаемся
будто это всё навсегда
и война всегда как всегда:
победители = побеждённые
и экзамены вечно сдаём
я хотела б спросить у Боженьки:
«и потом нам сдавать экзамены?
о, Боже, скажи! и *Потом*?»

[1] Пьеса Эдуардо де Филиппо «Экзамены никогда не кончаются».

МИРОВЫЕ ЧАСТИЦЫ ВОЙНЫ

«…Та же гуманность, уживающаяся вместе с молчаливым допущением страшной бесчеловечности, возмущала и Герцена, и Толстого, и Достоевского, и очень много чутких людей…».

А.С. Глинка-Волжский, Гармония народной правды

Утро – ад духа. Рай – вечер худа.
Мир ли, война ли: день – наша жизнь.

Война – это свято? Мир – это бренно?
Кто дал тебе мудрость; она от кого?

Что воспевают художники мира?
Войну или мир. Что дальше? – Ничто.

А Лев Николаевич – прозы Эйнштейн –
Гармонию ищет в единстве двоичном.

И он точно знает: мы – точки на жизни,
Война и мир – в нас; там нам и шарить.

«… Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на неё, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл, только, как частица целого, которое он постоянно чувствовал».

Л.Н. Толстой, Война и мир

ИННА РЯХОВСКАЯ

ПРИРОДЫ ПРОБУЖДЁННОЙ ВЗДОХ

НОЧЬ 19 АВГУСТА 2018

Падаю, падаю в звёздное небо,
падает небо навстречу ко мне.
Этот пробитый алмазами невод
Землю, как в люльке, качает во сне.

Зыблется нежно-туманно стремнина –
Млечный текучий и призрачный Путь,
словно Вселенной родной пуповина
греет Земли одинокую суть.

Преображенье.
Глубин постиженье,
смыслов и знаков, намёков и снов,
и потаённых, подспудных движений,
несокрушимых и вечных основ.

Стук спелых яблок и шорохи ночи,
месяц – но близко явленье луны.
Весь ты наполнен и сосредоточен,
будто несёшься на гребне волны

августа, взмывшего к финишу лета.
Апофеоз – и паденье в сентябрь.
Следом – дожди без конца, без просвета,
дальше – промозглый московский декабрь.

Не торопись уходить, благодатный
месяц прозрений, прощанья, любви,
тысячеусто и тысячекратно
лозами песен поэтов увит.

Пир урожая, вина молодого,
проливень звёздный – и тишина.
И притяженье родимого дома,
где вся душа этой ночью бездонной
мудростью августа напоена.

***

Ещё не все погасли свечи –
одна, упрямая, горит.
Перед беспомощностью речи
молчанье больше говорит.

И память птицей сизокрылой
своим крылом обнимет нас.
Я ничего не позабыла –
я помню каждый день и час:
слова, что ты шептал мне тихо
в осеннем сумраке ночном,
беду и радость, счастье, лихо,
сирени запах под окном.
И этот неостывший пламень
осветит путь в аду, в бреду,
когда неверными стопами
по краю пропасти пойду.

ПОДУМАЙ ОБО МНЕ

Весенней ночью думай обо мне…
Е. Евтушенко

Подумай обо мне, когда
слезами заливает стёкла
осенний дождь, асфальтом мокрым
несётся палая листва,
ночь – как бессонная сова,
и кровь в природе замирает,
и жизнь по кромочке ступает.

Подумай обо мне, когда
завесой снег нисходит с неба,
застряла колесница Феба
в свинцовых тучах, тишина
стоит державой нерушимой,
сокрыта даль морозным дымом,
не выбраться душе из сна.

Подумай обо мне, когда
весна засовы отворяет –
никто ещё не помышляет
ни о тепле, ни о плодах
в вишнёво-яблонных садах,
но разрастается звенящий,
освобождённый и пьянящий
природы пробуждённой вздох –
и застаёт тебя врасплох.

Подумай обо мне, когда
дохнёт любовью и печалью
от трелей соловьёв ночами,
под солнца жаркими лучами
побеги прянут в полный рост,
глашатай лета – певчий дрозд –
свои рулады заведёт,
и пчёл прилежными трудами
наполнятся ячейки сот.

А я – везде: в порыве ветра,
в сирени ластящейся ветке,
в строфе, летящей из тетрадки,
и в дочке, что моей повадки,

и в блике солнца на окне,
в речной искрящейся волне –
я эта быстрая вода[1]…

Подумай обо мне тогда…

[1] Имя Инна (готское, старорусское, греческое, латинское или германское) в переводе с латинского означает «сильная вода», «бурный поток».

***

Из цикла «В Черничем лесу под Киевом»

Вдруг в ноябре вернулось бабье лето,
лаская непредвиденным теплом,
обрушив волны золотого света,
сквозь чащу продираясь напролом.
И в сосняках, и в сумрачных дубравах,
где запах листьев палых и грибов,
и осени горчащая отрава,
и небосвода синяя оправа,
бескрайняя – без дна, без берегов –
я ощущаю с миром единенье,
гармонией наполненную связь,
и самых главных смыслов постиженье,
глубинные значенья слов и фраз.
Внезапно тихий дождь заморосит,
как будто мышь в траве прошелестит.
И шорох еле слышных капель
взрезает тишину, как скальпель,
И влажно дышащий покой
обнимет тёплой, лёгкою рукой.
Не шелохнётся лес, насупившись, молчит,
лишь дятел-труженик по дереву стучит.
И с грустью принимаешь неизбежность
зимы суровой –
видно потому
пронзительна до замиранья сердца нежность
к живому, хрупко-беззащитному всему.

ШИПОВНИК

Не чванливая роза –
милее мне скромный шиповник,
беспороден, в углу у забора ютится в саду,
будто просит и ждёт: «Приласкай же,
прилежный садовник».
И дурманит мне голову
сладостный, чувственный дух.
Так дурнушка колючая
вдруг полыхнёт красотою
лишь навстречу тому,
кто сумеет её разглядеть.
Залюбуюсь однажды
бесцветной былинкой простою,
что под солнцем горит на закате,
как жаркая медь.

ЮРИЙ МАКАШЁВ

НАПИСАТЬ О НЕПРИДУМАННОМ

НЕ О ПОГОДЕ

Давай поговорим…
Да нет, не о погоде.
Хотя…
Вчерашний дождь – конечно же, не зря.
Я был в твоём саду /не изменился вроде…/.
А всё, что кроме, – так…
Листки календаря.

Давай, поговорим…
Под веткой старой вишни
На мокрую траву прольётся полусвет.
Не знаю, для чего я научился слышать.
Случайность, может быть.
А, может быть, и нет.

Давай, поговорим…
Привычная неловкость
Разделит разговор на паузы /без слов/.
И полдень на часах,
И птицы над Церк*о*вкой
Покажутся на миг
Лишь парой пустяков…

---

* Церковка – гора в Белокурихе.

ЗИМОРОДОК

Говорят, что позёмка – к бурану…

И, казалось бы – что тут такого,
Подменяя обычное странным,
То печального ждать, то смешного,
То из паузы между словами
Собирать
Кружевное
На спицы…

Даже перед большими снегами
Мне всё думалось:
Что ты за птица?

В ОДНО КАСАНИЕ

Пришла пора дышать молчанием.
Вслух переспрашивать не хочется.
Две тишины в одно касание
Рисует осень-полуночница.

Привычкой стали неслучайности.
Спит мимолётность настроения.
Хватает самой малой малости
Под кофе в ночь на воскресение:

Запоминая, чем наполнено
Всё недалёкое от истины,
Жить в нарисованном безмолвии
И календарь… не перелистывать.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Луч солнца – след от фотовспышки…

Проворный «зайчик» по стене
Ко мне, совсем ещё мальчишке,
Крадётся в раннем полусне.

В железной кружке – морс брусничный,
Как будто талая вода…

Я опоздать боюсь туда,
Где будет всё не как обычно:

На долю выпадет летать,
Но время скажется бескрылым
И, обернувшись белым дымом,
Напомнит, что такое «ждать»
На многолюдном перекрёстке,
Среди обидных неудач,
Где колыбельную для взрослых
Сыграет уличный скрипач.

НЕПРИДУМАННОЕ

Хочется под вечер погулять
скверико знакомым
в одиночку.
Не спеша, у жизни срисовать
что-то настоящее.
Без точки.

Вспоминая, где оставил зонт,
под берёзой спрятаться от тучки.
Улыбнуться деду у ворот,
что купил мороженое внучке.

Спутать напоследок у скамьи
толстую сороку с гордым турманом…
И придумать (около восьми),
что мне написать
о непридуманном.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

За ночью – день,
Благословенье свыше,
И этот миг свершается однажды:
Нам дарят жизнь.
Кричим.
Смеёмся.
Дышим.
И каждый день
Считаем самым важным.

*

пришла пора не думать, не гадать,
а принимать как должно эту странность:
с улыбкой о прошедшем вспоминать
и собирать разбросанные камни…

*

который год цветёт в лощине жимолость,
живёт родник в таёжной круговерти.
а люди…
верят в чудо Божьей милости
и даже в справедливость
после смерти.

ТОЧКА РОСЫ

День за днём или день ото дня.
Пусто-густо – игра в равновесие.
Если истины нам не понять,
значит, просто так жить – интереснее.

Значит, просто отстали часы,
сбились запросто с ритма сердечного…
В двух минутах от «точки росы».
Где-то здесь остановка.
Конечная.

БОРИС БЕРЛИН

КАЛЕЙДОСКОП
рассказ

– Эту перегородку можно снести, мы вместо двух одну большую комнату сделаем, иногда ведь довольно много народу собирается, правда? Будет каминный зал и гостиная. Нам столько спален и не нужно, на втором этаже вполне хватает. Вот только не знаю, что с портиком делать, понимаешь? Не нравится мне вся эта лепнина. Не нравится и всё. Слишком уж стариной отдаёт, как из прошлого века или даже раньше. А вообще-то, если по правде, тот первый дом мне больше понравился, который мы на прошлой неделе видели, и если бы ты не заупрямилась…

Мужчина был большой, плотный и как будто коричневый. Занимал очень много места, а голос его, словно густой, вязкий дым, клубился, плавал под потолком и никак не хотел таять. Слова перегоняли друг друга, толкались и ссорились. Не пришёлся он мне, не пришёлся и всё.

– А я как раз будто раньше здесь жила и даже была счастлива. И река, погляди. Ну, пожалуйста, а? Мне так хочется остаться тут надолго, остаться жить. Ты же согласен, правда? Потому что есть такие ясноглазые дома, у них крепкие плечи и улыбчивые двери. Этот как раз такой. Я чувствую его, понимаешь?

Золотистого цвета, голос колокольчиком. Слова её звенят и повсюду рассыпаются смехом. И места она занимает совсем немного, а запах её – ландышевый – уже везде, даже в самых дальних комнатах. Ах, вот если бы она осталась. И пусть её ладони гладят перила, а маленькие босые ступни порхают по моим ступеням, как по клавишам: па-пам, па-пам, па-пам – мне так не хватает музыки. Почти как детского смеха и солнца в распахнутые окна. А она… В ней одной – и сразу всё. Так не бывает.

Понимаете ли, мы, дома, ужасно привязчивы и влюбчивы. Иногда злопамятны. Ну и всё остальное. То есть совсем, как люди. Как вы.

– Как ты сказала? Ясноглазые дома? Надо же такое придумать. Смешная ты у меня. Ну, не смотри так. Ладно, поглядим, что из этого получится, и во сколько, само собой, станет. Я, пожалуй, архитектора приглашу, вот что, пусть своим глазом глянет и нам расскажет, а там видно будет. Н-да… А всё-таки знаешь, мне кажется, лучше эту старину, портик этот…

– Нет, нет, не торопись! Пожалуйста! Пожалуйста! Чем ломать, лучше уж совсем не покупать. Не надо, пусть себе живёт. Без нас, зато целый.

– Так я и говорю, поглядим, посмотрим, что специалист скажет, как раз я тут с одним недавно пересёкся.

Я обрадовался. Потому что вдруг повезёт, архитекторы, они ведь тоже, ох, какие разные попадаются. Вот и Ася тоже ландышами пахла. Говорю же, так не бывает.

Самый-самый, конечно, первый, тот, который меня строил. После него были и другие – ломали, перестраивали, снова ломали, но вот первый… Он меня увидел, когда меня ещё и не было вовсе, увидел именно таким, именно мной, здесь, на набережной, вот на этом самом месте. Сначала мысленно, потом на бумаге – на больших, чуть шершавых листах ватмана – таких и не найти уже давно. С какой нежностью он вычерчивал мои линии, и каждая, каждая пела. Меня ещё не было, но я помню, как он, насвистывая, подогревал тушь на спиртовке, как, прищурившись, любовался тенями на моих фасадах. Это он выбрал для моих стен первый цвет, живой и тёплый – топлёного молока. От него давно уже не осталось и следа, поверх легли другие цвета, другие краски, чужие и холодные, но тот самый – первый… Так я родился, ожил, научился давать тепло и покой, любить и защищать. Научился жить.

Сначала были только его тёплые руки и его смех. Потом появились другие: мужчины, женщины, дети, их дети – я вырос. Я был красивым, просторным и светлым, таким же, как мир вокруг. Я был молодым.

Вечерний чай за большим столом, вишневое варенье, фортепиано, чтение вслух. По четвергам принимали – облака табачного дыма, разговоры об искусстве. А ещё Ася – профессорская дочка, тоненькая, воздушная, живая, моя первая любовь. Никто ведь не мог знать, что даже десяти лет не пройдёт, и она умрёт от тифа в больничном бараке, а все остальные просто сгинут, словно и не жили никогда, без следа. Солнце станет холодным, воздух серым и невкусным, а люди перестанут улыбаться.

И из всей семьи останусь только я один.

Второй архитектор… Да он им и не был вовсе. И руки у него были грубые, неотёсанные, с обгрызанными ногтями. Он разрезал меня на узкие крохотные клетушки в пол-окна и обклеил газетами стены. Я решил, что жизнь кончилась, но оказалось, что это закончилась молодость. Я изменился внутри и снаружи, и мои комнаты тоже стали называться по-другому, одинаково. Не гостиная, столовая или спальня, а жилплощадь. Мои ослепительно белые ванные превратились в места общего пользования, а коридоры пропахли кислой капустой. Стало тесно и шумно на много-много лет. Я, конечно, привык, лишь иногда, изредка мне казалось, что я умер. Тогда я забыл про время, его просто не стало.

Труба была очень большая и чёрная, а траншея, в которую её должны были уложить, ещё больше. Когда в ней показался край моего фундамента, я почти обрадовался – стена стала креститься, затрещали перекрытия, казалось, ещё чуть-чуть, и я сложусь, как карточный домик. Жильцы разбежались, некоторых мне было даже жалко, как-никак, столько лет вместе. Да и в чём они виноваты, скажите на милость? Ну, не было среди них Аси, так ведь и не могло быть, первая любовь она первая и есть. Первая и единственная. Да и всего-то их две за всю жизнь единственных – первая и последняя. Всё остальное между, можно сказать и неважно вовсе.

На следующий день приехали какие-то люди в трёх больших чёрных машинах и стали произносить странные слова:

«исчезающий стиль»,

«народное достояние»,

«классик современной архитектуры»,

«народ нам не простит»…

Они уехали, а назавтра появился третий, от которого я тоже услышал много новых, незнакомых слов: угол обрушения, портал, консоль, эксцентриситет, всех уж и не упомнишь. Меня начали заливать бетоном, опоясывать арматурой, ломать фанерные перегородки – этот третий своё дело знал. Я стал почти как новый, а к стене прикрепили табличку «Охраняется государством».

Наконец-то я остался один. Это было блаженство – после стольких лет хотя бы отоспаться. Ну, это я так говорю, на самом деле я просто погрузился в воспоминания, потому что жаль, жаль всего того, что я помню: профессора с семьей, Асю и ещё многих. Если не я, кто ещё их вспомнит, никого ведь не осталось. Может быть, я бы так и не проснулся, да честно говоря, не слишком и хотелось, но…

Нет, пожалуй, хватит. Хватит воспоминаний, тем более, что в какой-то момент они становятся так похожи друг на друга: было, было, было. Просто однажды я услышал:

– Эту перегородку можно снести…

И в ответ:

– Будто я раньше здесь жила.

Интересно, как её зовут?

– Здравствуйте, я Ася. А вы, наверное, архитектор, про которого мне муж говорил?

– По-видимому, так. Добрый день. Мы с ним…

– Да-да, я знаю, он предупредил, что вы с ним договорились. Только вот имени вашего…

– Илья.

– Муж скоро будет, вы пока проходите, Илья. А хотите, я вас чаем напою? Или кофе?

– Да нет, спасибо. Хотя, знаете, пожалуй, чаю выпью. С удовольствием.

Всего через несколько минут они сидят за небольшим круглым столом, на столе тонкие чашки с витыми ручками, позванивают, переглядываются, пританцовывая на блюдцах. Чайная церемония, да и только.

– Вы знаете, муж очень аккуратен во всём, что касается времени, даже педантичен. Я уверена, он вот-вот появится.

– Не беспокойтесь, Ася. Это я пришёл немного раньше, просто не рассчитал время. Извините, если помешал.

– Вы не помешали, даже наоборот, мне очень интересно познакомиться с вами, ну… неофициально, что ли, до разговора с мужем. Без всяких технических и прочих деталей – это на самом деле с ним, с Володей. Мне важно другое.

– И что же это?

– Не что, а кто. Вы.

– Э-э-э… Простите?

– Как вам объяснить? Представьте, что на вашем месте сидел бы другой. Тоже профессионал, ни в чем вам не уступающий. В чём-то ваше и его мнение скорее всего совпали бы, потому что профессия. Но в чём-то оказались бы разными, верно?

– Думаю, да. И что?

– Ну вот. А мне интересно, насколько сможем совпасть мы с вами, понимаете? По отношению к этому дому, разумеется. Я не имела в виду…

– Я понимаю. Знаете, Ася, мне до сих пор не приходилось слышать такое ни от кого из моих заказчиков. То есть, это верно, всё, о чём вы говорите, но как-то никто раньше… Мне ведь тоже не всё равно, – он опустил глаза и улыбнулся. – Чашки у вас красивые и как-то правильно в руку ложатся. Скажите, а что этот дом для вас? Ваше ощущение его? Вот вы его увидели, вошли и…

– Это ужасно просто. Я в него влюбилась в самом прямом смысле, вот и всё. Как только вошла.

– Хм, предельно неконкретно и предельно ясно. Ну, что же, самого дома я пока не видел, ничего сказать не могу, очевидно, ближе к вечеру, но вот вы… Совпасть с вами мне бы хотелось. Очень.

Взлетели и тут же опустились ресницы, звякнула ложечка о блюдце.

– Очень, Ася, очень. Я не оговорился, – он смеётся, потому что есть взрослые, которые смеются, как дети. – Если хотите, я объясню. Хотите?

– Нет. Не знаю, я не уверена.

– Что хотите или что надо объяснять?

– Не знаю. Пожалуй, объяснять в любом случае не надо.

– Не буду, вы правы. Вы ведь и так всё понимаете, правда?

– Не угадали, Илья. Да вы так и не думаете.

– Почему же? Ведь дом этот – его-то вы поняли сразу.

– Напротив, даже не пыталась, это было совсем-совсем другое.

– Расскажите.

– Видите ли, трудно сформулировать. Ближе всего, наверное, ощущение дежавю. Но не совсем. Дежавю, ведь это то, что кажется знакомым, то, что было в прошлом, всё в прошлом, понимаете? А я почувствовала его в настоящем. Не знала, а знаю, не жила, а живу, не была счастлива, а счастлива. В этот самый миг, не когда-то там. Машина счастья, вот! Я сделала шаг, переступила порог и почувствовала себя счастливой, вот так, просто. Я себя такой и не помню, да и не было такого никогда. Вдруг – его привкус на губах. Счастья.

– И на что это похоже?

– Ну, я правда не знаю. Разве что… В детстве однажды – я совсем маленькая была – мы с мамой наткнулись в лесу на заросли земляники. Я тогда её впервые попробовала – лесную. Спелая, крупная, во рту лопается, и солнце сквозь листву, и комары. И на губах вот этот самый привкус, понимаете?

– Наверное, каждый может вспомнить нечто похожее. Но вот рассказать, как вы…

– Я рада, что вы поняли. Просто этот дом необыкновенный, он живой, и я не хочу, в нём нельзя ничего менять. Ну, почти ничего, ладно?

– Но это зависит не только от меня. Всё-таки мне надо его увидеть и поговорить с вашим мужем, узнать, чего хочет он.

– Конечно, поговорите. Только мне кажется, я знаю, чего он хочет, ведь на самом деле всё очень просто. Разве не так?

– Может быть. Смотря, что вы имеете в виду.

– Ну, он хочет, чтобы я была счастлива. Спокойна и счастлива, с ним и при нём. И покупку дома затеял как раз поэтому. Тогда и он, Володя, будет спокоен и счастлив. Ведь вы, мужчины, все так считаете, правда? Что по-настоящему женщина не может быть счастлива сама по себе. Только если при вас.

– Если вы хотите знать моё мнение, то да, скорее всего, так оно и есть – при нас. А ещё, знаете, на что я обратил внимание? Сколько раз всего за несколько минут вы произнесли слово «счастье». Пожалуй, больше, чем иные за год или даже за всю жизнь.

– И что из того?

– Вот и я думаю: что из того? То ли его у вас так много, то ли…

Они смотрят друг на друга и молчат. Или всё-таки нет?

Но вот она запрокидывает голову и смеётся – радостно, звонко, колокольчиком. И чай, словно не стерпев, выплескивается на блюдце, на юбку. Ася вскакивает, и – секундная неловкость – чашка с блюдцем уже на полу, уже осколки. Смех обрывается и вслед за этим мужской голос громко произносит:

– Ничего, ничего. Значит, счастья будет на капельку больше.

– Володя! Наконец-то!

Много это или мало – капелька счастья?

Всего лишь разбитая чашка.

Они пришли почти перед самым закатом, когда река уже понемногу затихает, чтобы потом, всего через несколько минут, замереть вовсе. Небо наливается и тяжелеет, провисает над деревьями – ниже, ниже, стекает сумерками вдоль улиц и гаснет, наконец, в лужах, в окнах, в её прищуренных глазах.

Всё проходит, иногда даже одиночество.

Но как же это было долго, боже мой.

– Ну вот, Илья, вот он, дом этот, смотрите. Это из-за него Ася успокоиться не может и мне не даёт. Короче, как всегда: если женщина хочет… Тем более, такая, как моя жена. Мне он, честно говоря, не так, чтобы сильно по душе. Веет от него то ли старостью, то ли ещё чем-то, не пойму. И завитушки эти повсюду, всё время взгляд за них цепляется и словно назад тянет. А у меня ритм жизни такой… Правда, место знатное, богатое место, да? Река вот, и вид, и вообще. Пошли теперь изнутри на него глянем.

Ася стоит у высокого, почти в потолок, открытого окна, придерживая его створку и лаская кончиками пальцев гладкое, сухое дерево – меня. Легко, едва-едва. И улыбается серыми туманными глазами – себе, времени, заходящему солнцу?

А может, я просто понял, что уже не смогу без неё жить, и если она так же сгинет от боли, холода, несчастной любви, какая разница, отчего. Да нет, нет, время уже не то, всё другое, и она другая – сильная, хотя и грустная очень – моя последняя женщина. Только бы она осталась здесь, со мной, сейчас. Время, оно ничего, почти ничего не значит, я знаю. Прошлое – это память, а будущее ещё не настало. Только сейчас вечно.

Ещё видна река и контуры крыш на другом берегу, и обрамлённый закатом, её силуэт в моём окне. И значит, счастье пришло. Ну и что, что ненадолго?

Ненадолго – это ведь почти навсегда.

– Всё-таки, когда профессионал берётся за дело… Во всяком случае, я понял достаточно для того, чтобы решить, а это уже много. Договоримся так, Илья. Вам две недели хватит, чтобы всё, о чём мы говорили, изобразить графически в читабельном для нас виде? Разумеется, включая ваши предложения и достаточно подробно. Не готовый проект, но и не просто эскизы. Чтобы всё более-менее соответствовало. Конечно, мы потом всё окончательно откорректируем, но на данном этапе этого достаточно. Согласны?

– Вполне. И срок и объём работы, и ваши пожелания, всё соответствует. Надо будет только сделать обмеры, эти чертежи очень старые, и на них трудно полагаться. Завтра мои ребята этим займутся, думаю, к вечеру закончим.

– Договорились. Ася, ты слышала? Видишь, всё выходит по-твоему, впрочем, как всегда. Даже на портик этот меня уговорили, вот уж не думал. И знаешь что? Возьми-ка ты пока это на себя, ладно? Поработайте с Ильей вместе это время, на этапе, так сказать, предварительного проекта. И потом, тебе ведь тут командовать, это твоё царство будет, вот и царствуй на здоровье, тем более, ты, кажется, очень хорошо знаешь, чего хочешь. Даже удивительно. А, как известно, чего хочет женщина… Вот и объясни Илье, так будет проще и быстрее.

Она отвечает не сразу, она как будто не слышит, потом, словно с усилием повернув голову, кивает.

– Хорошо, Володя, только командовать здесь буду вовсе не я.

– Само собой, в нашей семье только один мужчина, и это точно не ты. И слава богу, – улыбка на его лице.

– Дело не в этом. Главнее всего он сам – дом. Я просто слышу его и всё. Его мысли, его слова и всю его жизнь, понимаешь? Он шепчет, посмеивается, иногда напевает. Бывает, молчит, но я всё равно слышу и делаю то, что он просит.

Они уходят, но я знаю, они вернутся. Я знаю. Ася выходит последней, оборачивается, и беззвучно, одними губами произносит:

– Не скучай, ладно? Я вернусь.

Дверь за ней закрывается, но это ничего. Это не страшно, когда есть, кого ждать.

Ведь это главное: чтобы было кого ждать.

– Ася, вы почти всё время смеётесь. Почему вы смеетесь?

– Потому что мне легко. До такой степени легко, даже беззаботно. Сама себе не верю, словно в детство вернулась. Помните, я вам про лесную землянику рассказывала – вот так же.

– Привкус счастья?

– Да. И он всё острее с каждым днём. И я не могу к нему привыкнуть.

– А зачем привыкать? Совсем это вам ни к чему. Счастье оно сегодня есть, завтра нет. И неизвестно, вернётся ли. Я банальности говорю, вы ведь и сами все это знаете, правда?

– Знаю. Но теперь я знаю и другое. Что его может быть столько – захлебнуться, и тогда… А говорят, что от счастья не умирают.

– Я над этим не задумывался никогда, но видимо таков наш мир, ничего не поделаешь. У всего на свете есть обратная сторона. Минуту назад вы радовались, смеялись даже и вот грустите.

– Я знаю, у меня перепады настроения, и вы совсем не обязаны, Илья, им следовать. Я просто очень хочу его увидеть таким, каким он должен быть, каким я его представляю, каким я его знала раньше, дом этот.

– Раньше?

– Ну да. Я же говорила, я слышу, я знаю всю его жизнь, всё, что с ним было, с самого начала. И всё мне ужасно знакомо, я словно возвращаюсь к самой себе, понимаете? Словно вспоминаю забытое, очень давно забытое счастье.

– Ася, знаете что? Предлагаю заняться делом. Это самое лучшее лекарство от перепадов настроения, да и времени у нас не так много осталось.

– Вы правы. А на чём мы вчера остановились?

– На этой вот круглой стене. Это вы её так назвали. Если так, как вы хотите, на втором этаже мы вылезаем за линию застройки, а этого нельзя, этого вам просто никто никогда не разрешит. Никто и никогда, понимаете? Я уж не говорю, что пришлось бы вывешивать консольно второй этаж, соответственно выйдет очень серьёзная несущая балка, а это материалы, работа, время, деньги. И кстати, сразу скажется на фасаде. Короче, одно тянет другое. Поэтому я вчера сделал вариант, поглядите. Всё то же самое, только зеркально, по другую сторону от лестницы, не справа, а слева. Зато и спальня с кабинетом на втором этаже, точно, как вы хотели, и внизу несущая стена. В общем, никаких проблем, и даже ваша круглая стена – вот она.

– Но симметрию сохранить не удалось. А я так хотела…

– Видите ли, как вам объяснить… Просто нравится-не нравится недостаточно в архитектуре. Есть ведь ещё функция, то есть удобство и целесообразность. Ле Корбюзье называл дом машиной для жилья. Может, это несколько однозначная формулировка, тем не менее…

– При чём здесь машина? Он же живой, я думала, вы…

– Так в том-то и дело. Это живой организм и такой формальный подход просто неприменим. Симметрия ради симметрии, вот что получается. Она же ничего не даёт. И потом знаете, Ася, я всегда считал, что в любой композиции должна быть пусть небольшая, даже крохотная сумасшедшинка, непредсказуемость, если угодно, загадка. Как раз она-то и делает композицию живой, разве нет? И разве с нашим домом может быть по-другому?

– Вы сказали: «с нашим домом», вы сказали: «загадка». Мне не послышалось?

– Нет, я именно так и сказал.

– Вы именно так и сказали, Илья, и я рада. Я просто ужасно рада, понимаете? Мне с вами легко, так легко, что…

– Привкус счастья на губах? Нет, простите, привкус земляники. Лесной земляники.

– Не извиняйтесь, не надо. Может быть, это на самом деле одно и то же. Очень даже может быть, – она опустила глаза и, помолчав, добавила: – Я за последнее время словно выросла, повзрослела. Иногда даже боюсь к зеркалу подходить, всё кажется, загляну, а там не я. Слишком мало от меня осталось, от меня прежней.

– Это не обязательно плохо и потом это неотъемлемая часть договора, если хотите. Знаете, Ася, у меня даже есть собственная теория на этот счёт, хотите послушать? Не для того, чтобы вас успокоить, да и волноваться вам нечего, а просто. Хотите?

Лёгкий кивок и неслышное, одними губами: «Да».

– Когда-то делали такие картонные трубки, а внутри цветные стеклышки – калейдоскоп. Одна такая мне случайно в руки попала, я вам потом покажу, если хотите. Смотришь в глазок и видишь рисунок из этих стекляшек. Вращаешь трубку, и рисунок меняется. Но количество этих рисунков ограничено, конечно. В любую секунду все они находятся внутри, но видим мы только один, остальные – скрыты. Каждый рисунок соответствует определённому положению трубки. Я думаю, так же и в человеке, в каждом из нас существует энное количество нас, хотя виден только один – в данный момент. Остальные тоже есть, они это тоже мы, но не видны и поэтому кажутся несуществующими. И у каждого из этих нас своё время и свои обстоятельства, вот и всё. Мы вырастаем из самих себя, как дом из фундамента. Помните правило: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В каждом из нас огромное количество этих слагаемых, но мы, как сумма, остаемся неизменными. И вы видите себя в зеркале не всю, а лишь кусочек, часть. Если относиться к своему отражению таким образом: вижу то же самое, но слегка повернув трубку, на смену страху придёт любопытство – а что там дальше? Какая я?

– И что же? Какая я?

– На это ответить невозможно. Но это в любом случае тоже будете вы, вот и все. Просто воспринимайте себя, как видимую часть единого невидимого целого. К тому же, с собой будущей вы ещё незнакомы, а это может быть жутко интересно – узнавать себя. Вернее, познавать.

– И сколько во мне меня? Десять, двадцать, сто?

– Вас бесконечность, Ася, как и каждого из нас. Почти каждого. Это тот самый элемент случайности, сумасшедшинка, превращающая мёртвую композицию в живую. Помните?

– Конечно, но у меня один вопрос.

– Да?

– Кто вращает трубку?

– Вы умница. Мне известны три варианта ответа. Первый: бог. Второй: время. Третий…

– Третий?

- Для третьего нужны двое. Две бесконечности, которые сложившись, образуют третью, и это уже совсем другой калейдоскоп. Ну вот, вы снова улыбаетесь, Ася, видите, как всё просто на самом деле.

– Да, в самом деле, просто. Это потому, что мы…

– Конечно.

– С самого начала?

– Ещё раньше. Один только дом знает.

– Да. Он-то уж точно помнит, когда все это началось.

– Начинается всегда одинаково, с самого начала, с первой любви. Может, вы ему её чем-то напомнили. Их ведь всего-то две, единственных – первая и последняя. Как их забудешь?

– Тогда я хочу быть последней.

– Я думаю, так и будет, так и есть. Потому-то вам вместе так хорошо.

– Я не про него, не про дом.

– Тогда… Тогда я не согласен. Вам это не подходит. Тебе это не подходит. Ты не можешь быть ни первой, ни последней. Ты должна быть единственной.

– Твоей единственной.

– Ася, это может быть непросто, очень. И тяжело и больно.

– Пусть. Иначе не выходит. Иначе просто не может быть. Дом соединил нас – две вечности, которые…

– Я построю его для тебя заново. Сделаю его таким, каким он был раньше, хочешь? Один к одному.

– Нет, милый. Один к одному не получится, да и ни к чему. Стекляшки движутся. Мы изменились и он тоже. Надо суметь увидеть его другим. И третью бесконечность – самих себя – тоже.

– И самих себя тоже. Иначе, в самом деле, не выходит.

– Мне ужасно хочется признаться тебе в любви.

– А мне почувствовать привкус счастья. По-моему, на этот раз может получиться, ведь всего-то и надо набрести на земляничную поляну. Пустяк, правда?

За окном всё, как всегда – улица, река, крыши на том берегу, да ещё фигура Ильи, в ожидании облокотившегося на парапет набережной. Всё, как раньше и совсем, совсем другое.

Ася отворачивается от окна и медленно идёт по дому. Прощаться всегда грустно даже, если любовь.

«Милый мой, милый» – шепчет она. – «Я уже не вернусь, я ухожу совсем, мы уходим совсем, иначе никак».

Я бы ответил ей, я бы рассказал… Хотя, я рассказал ей уже так много, почти всё. Потому что всё рассказать невозможно. И я только любуюсь ею и молчу, и завидую прильнувшим к ней сумеркам.

Двери всхлипывают, ступени и половицы плачут под её ногами.

«Ты живи, слышишь? Может быть, в будущем… Калейдоскоп вертится – кто знает. Твои двери откроются, и в них войду другая я. Только ты останешься и река, и привкус земляники. И вновь всё вернётся – вишнёвое варенье, фортепиано, гости, любовь. Прощай. Живи».

Вот и всё. Пора. Когда-то я не смог сберечь и сделать счастливой первую любовь, так может быть, последняя… Для меня – последняя. Ведь ненадолго, это лишь почти навсегда. Кончается всё кроме самого дорогого, того, что казалось, давно умерло, а вот живёт и будет жить, а значит, и я. Пройдёт время, и меня построят снова совсем другим, но это всё равно буду я. Стекляшки движутся, и так будет всегда.

А теперь, в самом деле, пора. Пора слегка повернуть трубку. Всего-навсего короткое замыкание. Один оголённый провод. Одна крохотная искра. Сейчас…

– Ну вот, погляди, это самое место. Воздух, зелень, река.

– Тут в самом деле красиво, очень. Вот только…

– Что – вот только? Тебе что-то не нравится?

– Нет. Сама не знаю. А что тут было раньше?

– Дом какой-то. Старый. Ему говорят, больше ста лет было. Вроде бы он сгорел, как-то слишком быстро, в одночасье, никто толком не знает, да и времени уже изрядно прошло. То ли перекрытия деревянные были, строили-то давно, то ли что, да какая разница? Главное, вот оно, место и как будто специально для нас, Ася, да?

– Мне почему-то неспокойно здесь. Здесь как-то… Ожидание. Словно кого-то ждут. Словно он кого-то ждёт.

– Кто он?

– Дом. Его нет, а я его вижу, как будто вижу. И слышу.

– Ты иногда ужасная фантазёрка, но я уже привык. И что же ты видишь и слышишь?

– Его. Он вроде… Он улыбается, он красивый. И портик.

– Портик? При чём здесь портик? Не понимаю. Давай пригласим архитектора, дизайнера, кого там ещё? Чтобы всё, как положено, как мы захотим. Как ты захочешь.

– Я уже знаю, как, он сам меня попросил. Я ему обещала, я обещала, что ему будет с нами хорошо и обязательно сохранить портик. Ладно?

– А что ещё ты ему обещала?

– Детскую. Как раз на втором этаже, рядом с нашей спальней.

– Ты… Ты хочешь сказать… Если я правильно понял… Да?

– Ты абсолютно, ну абсолютно правильно понял, – она улыбается. – Ты рад, скажи?

Он, наконец, отрывается от неё, и я слышу:

– Выходит, дом узнал об этом раньше меня?

– Всего на минуту. Прости, а?

– Ты знаешь, какой привкус у твоих губ? Я только сейчас понял. Привкус лесной земляники. Почему я не замечал этого раньше?

– Ты привыкнешь. У нас ещё столько времени впереди.

– Раз ты говоришь, так и есть. Так и будет, ты ведь всегда всё знаешь.

– Я женщина.

– Ты любимая женщина, Ася. Ты моя вечность.

Всё проходит, иногда даже одиночество. Конечно, вечность – это свойство человека, но я ведь говорил, что мы, дома, ужасно похожи на людей. Во всяком случае, любить мы умеем ничуть не меньше, вам не кажется? Неужели у них получится?

Ведь главное, чтобы было кого…

ГРИГОР АПОЯН

ТЕРНИИ СЧАСТЬЯ
притча

Богатство, Сила и Красота, заключив между собой пари, пошли искать по Земле счастье. «Куплю!», – думало Богатство. «Овладею!», – не сомневалась Сила. «Соблазню!», – рассчитывала на свою неотразимость Красота.

Но через год встретившись, как и было оговорено, на том же месте, в чудесном городском скверике, они каким-то очень странным для себя образом не решались прямо смотреть друг другу в глаза, так как ни один из них не мог похвастаться хоть каким успехом. Рассказывая о перипетиях своей жизни за этот год, они никак не могли уяснить для себя, что же помешало им добиться того, чего они так страстно желали. Смущение от очевидного провала, однако, прошло довольно быстро, и разговор, как всегда, перетёк в жаркий спор, кто из них всё-таки заслуживает большего уважения, более высокой оценки и, соответственно, – большего счастья.

Некто, довольно бедно одетый, примостился на лавочке недалеко от шумной троицы, достал из потёртой сумки ломоть хлеба и стал неспешно его есть, делясь крошками с подлетевшими птицами. А мимо понуро брёл какой-то оборванный мальчуган. Увидев жующего свой чёрствый ломоть человека, он остановился, не в силах отвести взгляд от куска. Не медля ни секунды, тот отломил половину хлеба и протянул мальчику. Изголодавшийся мальчуган быстро проглотил хлеб, едва благодетель успел раз-другой откусить от своей доли, и вновь уставился на его кусок жадными глазами. Тогда человек без колебаний протянул мальчику и свою половину; тот быстро взял его и убежал, боясь, наверное, что благодетель может передумать. Но человек лишь смотрел ему вослед с извиняющейся улыбкой и слезами на глазах. Троица не могла не обратить внимания на разыгравшуюся на их глазах сценку.

– У тебя ведь нет больше хлеба! – поразилось догадливое Богатство.

– Да, это был мой последний кусок, – ответ прозвучал очень просто, без пафоса.

– Почему же ты весь отдал этому оборвышу? – в свою очередь удивилась Сила.

– Он был очень голоден.

– Но ты тоже остался голодным! – Красота с трудом сдерживала своё возмущение.

– Да, я остался голодным, зато я счастлив, что смог накормить беспризорного ребёнка.

– Счастлив? – удивлённо переспросили все трое хором. – Ты остался голодным и при этом счастлив?

– Да, я могу быть голодным, не иметь крыши над головой и быть при этом счастливым, если отдал свой последний кусок и свой кров тем, кто нуждается в них больше, чем я.

– Разве это возможно? Разве таким бывает счастье?

– А что *вы* называете счастьем?

Тут троица призадумалась.

– Ну, – рискнуло, наконец, осторожно выразить своё мнение Богатство, – по крайней мере, все потребности тела и души должны быть полностью удовлетворены.

– И, таким образом, умерщвлены все желания, все трепетные порывы?

Троица снова впала в глубокие размышления.

– Это что же получается, чтобы быть счастливым, надо быть голодным? – надула губки Красота.

– Я этого не говорил. Единственное, что я могу утверждать: сытость не является синонимом счастья.

Не находя ответа ни на один вопрос, Сила стала раздражаться.

– Кто ты такой, в конце концов, чтобы пытать нас!

– По-моему, это вы затеяли разговор. В вашей власти и прекратить его, когда захотите, – в ответе не было вызова или хотя бы удивления.

– Не обижайся, – примирительно высказалось Богатство. – Она очень нервная, особенно, когда необходимо немного напрячь мозги.

– Как тебя звать, странное ты существо? – Красота была готова уже охмурять незнакомца.

– Доброта, – на губах у него заиграла мягкая улыбка.

– Ты, наверное, не из здешних краев? Что-то ты не встречался нам ранее.

– Я всегда жил здесь, среди вас, просто я не так заметен, как вы. Да и не хотят меня люди особо замечать, даже если я действительно спасаю их. Но я не в обиде, мне хватает своего счастья.

– Опять «счастье»! О каком таком счастье ты говоришь? – уже всерьёз возмутилась Сила, – Ходить босым и голодным – это счастье?

– Я же не навязываю тебе ничего, живи, как кажется правильным. У каждого свои радости. А счастлив я не потому, что босой и голодный, а потому, что в душе моей истинная радость, что смог обуть босого и накормить голодного.

– А где ты берёшь всё то добро, что раздариваешь окружающим? – спросило Богатство.

– Вот это хороший вопрос, я с удовольствием отвечу на него. Как видишь, у меня мало чего есть, если не сказать – ничего. Но ведь я не глупее тебя, вряд ли слабее, чем вот он (указывает на Силу), и если бы это имело для меня значение, мог бы выглядеть не хуже, чем Красота. Так что при желании я бы мог иметь никак не меньше, чем каждый из вас, но именно потому, что я раздаю всё, что получаю, я часто остаюсь сам босой и голодной.

– Послушай, вот мы – ты, наверное, знаешь нас – год назад поспорили, кто сможет добиться большего счастья, а сегодня с горечью вынуждены были признать, что никому из нас не удалось достичь результата. А ты, вот, со своей жалкой котомкой говоришь о своём счастье и на самом деле выглядишь совершенно счастливым. Может, ты сможешь нам посоветовать, как добиться желаемого?

Мимо них в этот момент проходил пожилой человек, погружённый в свои, по всему было видно, невесёлые думы.

– А давайте спросим у этого человека, кажется, он немало повидал в своей жизни, возможно, ему будет, что вам сказать.

Получив молчаливое согласие троицы, Доброта обратилась к прохожему.

– Извините, пожалуйста, если Вы не очень торопитесь, будьте добры, помогите моим знакомым разрешить их давний спор. Видно, что Вы человек опытный, многое повидали в жизни, им такой советчик и нужен.

Нетрудно было заметить, что прохожий не в восторге от этого предложения, но вежливость не позволила ему пренебречь просьбой.

– Если ты возьмёшь меня с собой, – первым выступило Богатство, – то сказочно разбогатеешь; ты сможешь покупать самые дорогие вещи и жить в самых роскошных отелях, а многочисленные слуги будут готовы исполнить любой твой каприз!

– Если же ты выберешь меня, – поспешно вступила в разговор Сила, – то никто и ничто не сможет победить тебя, ты станешь сильным и здоровым, я одарю тебя такой мощью, что никто не посмеет даже косо взглянуть на тебя!

– А я наделю тебя такой красотой, что никто не будет в силах устоять против твоего обаяния, – с таким же пафосом продолжила Красота, – молодые девушки будут без памяти влюбляться в тебя, и ты сможешь менять их ежедневно, как перчатки.

Казалось, соблазнительные предложения не сильно вдохновили прохожего.

– А Вы, – обернулся он к Доброте, – что *Вы* можете мне дать? – нотки тщательно скрываемого сарказма всё же прорывались в его вопросе.

Хотя Доброта не думала принимать участие в споре «великих», обращение к ней прохожего вовсе не удивило её.

– К сожалению, я не могу дать ничего, но я могу искренне принять от Вас любовь, сострадание, доброту…

Впервые прохожий внимательно посмотрел на собеседников, остановив долгий взгляд на Доброте. Какая-то растерянность появилась в его глазах, они слегка увлажнились. Он вспомнил недавно умершую свою собаку, которой отдавал всё тепло души, и теперь как-то по-новому, особо остро ощутил опустелость своего существования, сколь одиноким и покинутым тащится он с тех пор по безлюдной пустыне этой жизни. Предложение Доброты как будто раскрыло ему глаза: простая истина, что человека в этой жизни держит только любовь, приобрела новый, высший смысл – именно самозабвенная, жертвенная любовь, и пока она есть, эта готовность к жертве, эта потребность в ней, как и её воплощение в конкретные деяния, он может быть счастливым, по-настоящему живым. Вся жизнь в минуту прошла перед прояснившимся его взором – как вырастали дети и внуки, всё более и более отдаляясь от него, и в конце концов разлетелись по собственным гнёздам, не нуждаясь более в ежедневной его опеке – помыть попку, потом читать сказки, делать уроки, водить в спортзал, пытаться как-то помочь в сердечных делах, потом обустроить семейную жизнь – когда всё это кончилось, пришла пора собаки, забота о которой стала смыслом жизни, а когда ушла и она, действительно казалось, что незачем уже и жить. И вот – надежда!

Он не стал ничего говорить, лишь, молча, взял за руку Доброту, и повёл за собой, не удостоив даже взглядом остальных. Походка его заметно изменилась, стала увереннее, твёрже; спина выпрямилась.

На секунду обернувшись к троице, Доброта лишь развела руками – делайте выводы, господа. Бесполезно – шок от оглушительного фиаско прошёл у них так же быстро, как и все остальные провалы; медным лбам ничего не стоило убедить себя, что, вот, попался им в очередной раз сумасшедший человек, идиот. И едва те двое дошли до ближайшего поворота, как возобновившийся за спиной шум, заставил Доброту обернуться и с сожалением, но почти без удивления услышать, как, стараясь перекричать друг друга, «хозяева жизни», по-прежнему, упоенно талдычат свои замшелые мантры. «Куплю!» – кричало Богатство; «Овладею» – вторила ему Сила; «Соблазню!» – не отставала Красота.

Доброта лишь усмехнулась: «Соль земли!».

Рядом, уже улыбаясь, шёл её верный спутник, *Человек*; он даже не обернулся.

ЕВГЕНИЙ МУЧНИК

ТО В МИКРОСКОП, ТО В ТЕЛЕСКОП

ИНВЕРСИЯ

Этой текста версии
слов порядок непростой
о любви к инверсии
говорит моей большой.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГРАМОТНОСТИ

я неплохо знаком с пунктуацией вроде
но впервые пишу тупо следуя моде
мои щёки пылают словно алые маки
я нигде не поставил препинания знаки
я нигде не поставил заглавные буквы
сердце громко стучит жаль не слышите стук вы
как в ночном я кошмаре среди белого дня
те кто грамотно пишут не стреляйте в меня

СРАВНЕНИЕ

Я с большим почтением
отношусь к сравнениям.
И всегда их выбираю,
как корову покупаю.

***

В Литмузее в День поэзии поэты
стихи свои без устали читали.
Те, кто дома в это время ел котлеты –
считайте, что вы много потеряли.

***

Заниматься я решил телепортацией,
но оставил это дело на потом.
Если честно, у меня и с левитацией
далеко ещё пока не всё путём.

МЫСЛЬ, ПРОМЕЛЬКНУВШАЯ БЕССНЕЖНОЙ ЗИМОЙ

Нужны мне Праги, Вены и Парижи,
как нынешней зимой в Одессе лыжи.

К ДНЮ АФРИКИ

1.

Был в Африке. Пейзаж меня пленил.
На живописном берегу реки
я, загорая, сочинял стихи.
Но тут на берег выполз крокодил…

2.

Мне кажется, в Африке трудно поэтам –
у них там одно только знойное лето.
Им столько стихов не навеет природа,
как здесь, где четыре есть времени года.

К ДНЮ РЫБАКА

Я рыбных блюд едок со стажем,
они согрели жизнь мою.
Уж столько лет их ем, что даже
я нашу помню скумбрию.

Сначала пожелать хотелось
таким же славным едокам,
чтоб с аппетитом рыба елась.
Ну, и удачи рыбакам,

что рыбу ловят неустанно
вдоль Мирового океана
и поперёк – вдали от мам
и от других так нужных дам.

Но в интернете столько жути
о том, что в рыбе много ртути,
и столько прочих катят волн,
что я молчу, сомнений полн.

НАЧИНАЮЩИМ СОЛНЦЕЕДАМ

Как питаться энергией солнца,
когда светит оно вам в оконце
на рассвете весенней порой?
Я всем телом его поглощаю –
плюс стаканчик горячего чая
с бутербродиком с красной икрой.

***

В который раз проходит лето.
Но тут всего лишь часть сюжета.
Ещё другое происходит:
не только лето – жизнь проходит.
Она, в отличие от лета,
лишь раз проделывает это.

***

Люблю экстрим, ещё люблю комфорт.
Их вместе часто я соединяю:
стихи в удобном кресле сочиняю
про автогонки, парашютный спорт…

ИЗ ДНЕВНИКА PR-МЕНЕДЖЕРА

Гулял в глухом лесу. Среди ветвей
себя, как мог, пиарил соловей.
Но в тех местах гулять не буду впредь:
там, говорят, пиарится медведь.

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

Я с одними вилами на спор
на медведя в тёмный лес пошёл.
Мишка жив, надеюсь, до сих пор:
я его искал, но не нашёл.

ПОЖИЛОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Не в том беда, что в новый Новый год
ты рассказал мне старый анекдот,
а в том, что и на старый Новый год,
ты рассказал мне тот же анекдот.

ВСПОМИНАЯ ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

Мало женщин на войне –
вдруг такой гарем.
Из наложниц Сухов не
закрутил ни с кем.
Джамиля, Гюзель, Зухра,
Лейла, Зульфия…
Как на месте Фёдора
поступил бы я?..

***

Мне положить бы в шкаф и то, и это…
Но места нет в шкафу из-за скелетов.

***

Казалось бы, очень приятно бывает
узнать, что кому-то тебя не хватает.
Одна симпатичная дама сказала:
– Вот только тебя мне ещё не хватало…

***

Одну сердечно я поздравил даму,
ей подарив свою кардиограмму.

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Я мыслей ждал из пустоты,
немало времени угрохал.
А вместо них явилась ты,
что тоже, в общем-то, неплохо.

***

То в микроскоп, то в телескоп вперяя взор,
намного можно свой расширить кругозор.

***

Проблемы в нашей жизни непростой
порой, хотя бы, временно решаются:
вдруг новые накроют с головой –
и старые надолго забываются.

***

Себя надеждами питаю.
И каждый раз переедаю.

К РОЖДЕНИЮ ВНУЧКИ

Этим жарким летним днём
всё своим шло чередом:
кто-то чьим-то стал соседом,
кто-то стал товароведом,
капитаном, сыроедом,
главврачом… А я стал дедом.

***

На книжном видел я развале
Толстого, Пушкина, Стендаля –
по двадцать гривен все лежат.
Мелькнула гордая мыслишка –
свою тонюсенькую книжку
я продавал по пятьдесят!

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗНЯК

БЕЛОЕ ПОЛЕ
пьеса

ОН
ОНА

Зал в квартире. Мебель. На столе, окружённом стульями, шахматная доска с фигурами. Музыкальный центр, электронные часы, настенный календарь, телевизор (на экране которого, в контрастном изображении, похожем на изображение камеры наружного наблюдения, Он – камера направлена сверху и сбоку). Всюду много старых семейных фотографий (могут проецироваться на экран).

ОН появляется из тьмы коридора (в момент перехода экран телевизора гаснет), включает верхний свет, медленно проходит по комнате, останавливается у предметов обстановки, фотоснимков, что-то трогает, поправляет, открывает штору окна. За окном светло. Включает телевизор – изображения нет, сначала растр, потом голубая заливка экрана (в углу которого буквы – TV и цифры) и звук невидимого взрыва, голос, бойко комментирующий на иностранном языке спортивное состязание.

ОН. Ладно, вижу всё равно не очень пока. Послушать, что в мире творится…

Переключает каналы, голубой экран дёргается – изображения нет, только около букв TV меняются цифры; тот же самый голос комментатора продолжает тараторить. Выключает телевизор. Берёт раскрытую книгу, лежащую обложкой вверх, читает про себя, держа её на вытянутых руках, затем вслух.

…включают внезапную беспричинную слабость; нарушение координации движений или потерю чувствительности руки, ноги или половины лица, обычно с одной стороны туловища; внезапное кратковременное потемнение в глазах или снижение зрения, также чаще на один глаз; временную утрату способности говорить…

Откладывает книгу.

Следуя рекомендациям эскулапа… *(Грустно усмехается.)* Боремся за речь, чтобы не остаться в изоляции…

Берёт другую книгу с закладкой, садится в кресло, начинает читать вслух, держа книгу на вытянутых руках. Смеётся.

В пивной царило гробовое молчание… Там сидело несколько посетителей и среди них – церковный сторож из церкви св. Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Паливца, тупо глядя на пивные краны. «Вот я и вернулся! – весело сказал Швейк. – Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан Паливец? Небось уже дома?». Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала… «Дали ему… десять лет… неделю тому назад…» – «Ну, вот видите! – сказал Швейк. – Значит, семь дней уже отсидел» – «Он был такой… осторожный! – рыдала хозяйка. – Он сам это всегда о себе говорил…». Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Паливца, призывая к ещё большей осторожности. «Осторожность – мать мудрости, – сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пивной пене которого образовалось несколько дырочек – туда капнули слёзы жены Паливца, когда она несла пиво на стол. – Нынче время такое, приходится быть осторожным». – «Вчера у нас было двое похорон», – попытался перевести разговор на другое церковный сторож от св. Аполлинария. «Видать, помер кто-нибудь!» – заметил другой посетитель. Третий спросил: «Покойного-то на катафалке везли?» – «Интересно, – сказал Швейк, – как будут происходить военные похороны во время войны?». Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Паливцовой…

Прислушивается, встаёт, заглядывает в коридор, возвращается к креслу, снова собирается читать, смотрит на семейное фото на стене – Он, жена, двое сыновей, – подходит ближе.

Жили-были старик со старухой, да, Асенька? И было у них два сына…

ОНА входит. Он её не видит.

Хотя не такие мы и старые тут, сколько нам, лет по сорок пять…
ОНА. Михаил как раз в институт поступил…
ОН. Юре, значит, десять исполнилось… Жалко, врачи не разрешили тебе третьего ребёнка, ты так дочку хотела.
ОНА. Сыновья разъедутся, уйдут от нас, а дочка с нами останется. В дом приведёт…
ОН. Мы ведь с тобой оба уехали от родителей… Тоже ушли. Ну, я тебя увез… *(Щупает рукой область сердца.)* Давно я тебя не видел, Асенька, пятый год уже скоро… Плохо одному. Даже страшно… А тебе там как?.. Я всё-таки и не один совсем, вот вы все со мной. Родные все. *(Смотрит на фотографии вокруг.)* Видишь, как я устроил?.. И всё равно, как я без тебя, умом и не понять. Всё ведь на тебе держалось… И профессора медицины, Юра, ничем не могут помочь. Значит, время приходит. А наше уходит, и нам пора уходить… Меня никак не забирают… Сколько ещё?.. Меня он не забрал…

Воспоминание. Речь его меняется в воспоминаниях о юности, прошлом, с учётом времени.

Болит?
ОНА. Ничего.
ОН. Что ты скажешь, медицина везде есть, а у нас помочь не могут.
ОНА. Специализированный центр. По медицине, не по твоей физике…
ОН. Всё равно все их приборы на наших открытиях… Жаль, Юра в медицинский не пошёл, он бы вылечил. В каждом деле сердце необходимо. По парку с ним гулять будете. А как же я?..
ОНА. Михаил будет тебе помогать. Если что, к нему переедешь, дом у них большой.
ОН. У Нины дорого. Михаил всё равно ничего не решает у них. Всё она, Нина. Сколько раз я с ним разговаривал… Он мне как-то сказал: видно, судьба у меня такая…
ОНА. Надо тебе женщину какую-нибудь найти, нанять, чтоб помогала тебе. Полине можно предложить.
ОН. Ну при чём тут Полина?! Что ты сразу?.. Не знаю я её совсем. Здрасьте-до свиданья…
ОНА. Я хочу, чтобы меня похоронили здесь, рядом с мамой. Вам придётся перевезти меня.
ОН. А мне всё равно, можете хоть сжечь меня!.. *(Плачет.)* Раз я никому не нужен.
ОНА. Да, я всегда любила маму и Юру!
ОН. Как мы не вовремя оба с тобой заболели, Асенька.
ОНА. Это ты превратил меня в старуху!..

Конец воспоминания.
Звонок телефона.

ОН *(в трубку)*. Григорьич!.. Молодец, что позвонил. Когда в гости придёшь, я ж всё жду?!.. А сегодня?! Как же так?.. Ладно, ладно, давай продолжим, чего уж там.
ОНА. Неймётся проиграть?
ОН *(подходит к шахматной доске, разговаривая, двигает фигуры за двоих)*. Придумал куда ходить? Ах, ты вот так… Ну-ну. Напугал тележьим скрипом. Конь на це-пять, что скажешь… Ах, думал… Добьют четырёх коней, говоришь? Какой там дебют, и не пахнет… Угу… Слон на аш-три… Да… Съел?! Руки крутишь?.. Ну я тоже… Взял… Да, пешкой. Теперь-то куда пойдёшь?.. Как на жэ-четыре, как на жэ-четыре, там же мой офицер стоит? Ты что?.. Ну да… У тебя что и доски нет? По памяти? В уме?.. Даёшь! Ну ты силен. А где доска?.. Молодец, конечно, тренируйся… Я склероза не боюсь. Наоборот, забыть ничего не могу… Что? Капельницу? Ну, давай прервёмся… Да нет, у меня безлимитный, говорю сколько хочу. Сыновья помогают…
ОНА. Как же, двое – не один…
ОН. Конечно, хорошо… Помнишь, какие мы были… Нет, ты уж заканчивай свои дела. Накачивайся лекарствами спокойно, до полного удовлетворения… Ага, на здоровье.

Кладёт трубку, смотрит на фото: Григорьич и Он – молодые парни.

На четвёртом этаже мы жили?.. *(Смеётся.)* Колоритная процессия – наверное, пол-общежития – со скорбными лицами поднималась из сизого чада. Родик ускорялся по коридору на мотоцикле. Четверо человек – повязки на рукавах – несли на плечах грубо сколоченный, вымазанный морилкой, чёрный гроб!
ОНА. Без крышки.
ОН *(смеётся).* Изнутри торчала белая картонка с размашистыми цифрами – 19… ну, такого-то года, точнее не скажу… Впереди с протокольным лицом Григорьич, профорг курса. За что и слетел с поста по итогам разбора безобразной новогодней пьянки на бюро комсомола.
ОНА. Легко отделался…
ОН. В белой майке, армейских бриджах и чёрной фуражке железнодорожника с молотками на околыше Григорьич махал кадилом из заварного чайника на цепи. Позади гроба барабанщик, сборный оркестр духовых инструментов в простынях и несколько человек с флагами из семейных трусов на лыжных палках. Дальше толпа с кастрюлями, крышками, столовыми приборами.
ОНА. Лупили по всему истошно. Какофония…
ОН. Девчонки подошли… Тёплое шампанское разлили под бой курантов!
ОНА. В смысле разлилось по стенам.
ОН. Григорьич, он и студентом уже им был, тамадой что-то длинно и косноязычно провозглашал! Наша комната присоединилась к шествию… Родик на своём мотоцикле, периодически ставя его на дыбы. Он опрокинул пару рюмок с тыльной стороны ладони, стоя на сиденье стального друга. Его, правда, поддерживали. Народ на марше в достаточном количестве запасся напитками в путь. Нам встречно подносили из всех комнат. Провожался старый год… в этом гробу. Весело было и смешно…
ОНА. Да, ужасно как смешно…

Включает музыку. Затемнение.
Воспоминание.

ОН *(голос в темноте).* Подожди, ну что же ты, нельзя же так… Ну перестань. Я тебя прошу…
ОНА *(голос в темноте).* Всё! Всё! Пропусти меня!

Комната освещается. За окном темно. Он не даёт ей пройти в коридор.

ОН. Асенька, родная, послушай, ну услышь меня… Я… Ну я…
ОНА. Я – последняя буква алфавита. Хватит! Уже всё слышала! Устала тебя слушать! Всегда тебя слушала. Оставь меня. Одного только прошу… Дай мне пройти!
ОН. Но ведь не было ничего. Правда, Ася… Погоди, стой, остановись… Ну погоди же.
ОНА. Не было? Да? Она не была?.. С тобой. Ты не общался с этой… своей?! Я хочу уйти, не мешай мне… Ты слышишь или нет?! Посторонись… Не прикасайся. Ты мне противен. Убери свои руки! Танцевать он собрался! *(Выключает музыкальный центр.)*
ОН. Асенька, я прошу тебя…
ОНА. И я не видела, как она смотрела на тебя? Всё равно уйду, пусти! Мне ничего не нужно от тебя, и деньги не нужны, пусть всё будет твоим, всё чего ты добивался. Уйду… Мне ничего не надо. Отойди!
ОН. Куда же ты пойдёшь?.. В такую погоду. Ты замерзнёшь.
ОНА. Тебе-то что?
ОН. Не говори так…
ОНА. Уеду. И ты этому не помешаешь. Всё, всё закончилось!.. Пойми, наконец. Я ничего не хочу начинать заново!.. Ты это слышишь?!
ОН. Асенька, умоляю тебя… Прости. Я тебе объясню. Прости меня. Останься. *(Опускается на колени, обхватывает её ноги.)*
ОНА. Когда я пришла, она, значит, не сидела у тебя на коленях? Ты… *(Пытается вырваться.)* Видеть тебя не могу.
ОН. Отвязаться не мог! Ася… Родная моя. Единственная.
ОНА. Тише ты, дети спят!.. Он проснулся… Господи, он всё слышал!
ОН. Юра!..

Выходят.

(голос). Маленький, что ты тут делаешь? Не сиди на полу, он же холодный… Ты заболеешь… Сейчас я тебя согрею…

Окончание воспоминания.
За окном светло. Он входит.

ОН. На тебе семья держалась. На терпении твоём, на воле твоей… Не стало тебя и нет ничего, нет семьи…

Набирает номер на телефоне. Длинные гудки. Отключается. Фото младшего сына на трехколёсном велосипеде.

Ты проснулся, Юра, и мама осталась… Сколько ты ждал?.. Слушал и понимал, что ты остаёшься один, а она уйдёт. Знаешь, я один раз оступился, – и всю жизнь жалел…

Она входит.

Он подходит к музыкальному центру. Бесцельно ходит по комнате, открывает створку книжного шкафа, берёт с полки папку с завязками, садится в кресло, перебирает бумаги.

ОН. Ох ты, забыл я совсем!..

Отложил папку, встал. Нашёл очки, надел, проверил дату по настенному календарю, покивал головой. Передвигает на следующее число окошко на календаре. Подошёл к фотографии, где Он и Она молодые: парень в костюме, девушка с белой фатой на голове.

(Он называет число – следующий день после спектакля) Наш ведь праздник сегодня с тобой, Ася. Да, старик со старухой… Вспомнил я, Асенька, помню, – вчера наш день свадьбы… был. *(Он называет число – день спектакля)* Но ты же в этот день не любила отмечать…
ОНА. День смерти отца моего…
ОН. Передал он тебя мне… Ну тебя не убедишь… Сегодня и отметим. Как ты и любила…
ОНА. Да, старик со старухой…

Он достаёт тарелки из серванта, накрывает на стол на семь персон.

ОН. Виноват я перед тобой, Асенька, виноват… Раз ты так думала…

Мигает освещение. Воспоминание. За окном темно.

ОНА. На кого я похожа стала! Эти твои бесконечные поездки, твоё враньё…
ОН. Уходила бы. Если ты мне не веришь!
ОНА. Ни одна мать ребёнка не бросит… Тебе надо уходить, никто тебя на цепи не держит, раз тебе дома плохо, тебя здесь никто не понимает, не ценит…
ОН. Значит, уйду. *(Пытается снять с пальца обручальное кольцо.)*
ОНА. Давай, разводись… Сколько раз ты уже мне кольцо кидал?
ОН. Да кому ты нужна! *(Бросает кольцо.)*
ОНА. А возвращался…
ОН. Да никогда я…
ОНА. Тише, Мишенька услышит!

Мигает свет. Конец воспоминания.
Звонок телефона. За окном светло. Общее фото студенческой группы с преподавателями.

ОН *(в трубку).* Не забыл!.. Спасибо, Игорёк. Туфли заклеить, понимаешь. Отходит сбоку что-то… В дождь попал – промокли ноги… Я же когда-то на сапожника учился. Я ведь простой сельский парень, не всё профессором был. Ничего, завтра занеси, конечно… И деньги… Мне не к спеху, финансы есть пока. Тебе они нужнее, оставь себе, если что, пока. У меня всего хватает… Без задних мыслей, Игорек, я же как лучше, не думай! Как там, на кафедре, без меня?..
ОНА. Родителям звонил?
ОН. Привет передавай обязательно… Праздник у меня… День свадьбы у нас с Асей! Посидеть хотел… Да… А можно и прогуляться, действительно. Хорошая идея. Попозже чуть. Чувствовал себя с утра неважно. Да и то, расходиться надо!.. Приходи вечером. Отметим… Так я б тебе и помог, варианты посчитаем. Приноси, чего там… Интереснейшая тема у тебя, такой материал… Мне всё недосуг было, наработок столько, что… На всё время надо. Не успеть всего. Учти, на защиту приду, послушаю, вопросы задам, а как же… Жениться тебе надо. Жена присмотрит за тобой. Да и дети. Дети – главное в жизни! Поверь мне… На ноги – не обязательно. Главное – человека встретить… Ну, не тороплю. Ищи… Как родители твои, одним не тяжело?.. Я тоже уезжал когда от своих, – поступать, – всё думал, выбирал, куда… В строительный хотел, потом, думаю, чего там, пока учиться буду, всё построят уже, работы не будет. Пошёл

в транспортный, и не жалею. Движение – жизнь… Много говорю я что-то. Извини… А мне?! Значит, нужен я ещё кому-то… Ну если сможешь – заходи вечером!..

Закончил разговор по телефону. Убирает одну тарелку со стола в сервант. Фото молодой жены в пиджаке. Затем фото старшего сына – школьник с портфелем.

Девушку тебе надо хорошую… Трудности – это не страшно, вместе всё преодолеете, друг за дружку если держаться. Мы расписались с Асей, у нас один чемодан был на двоих. До сих пор где-то лежит. Реликвия…
ОНА. Младший, Юра, мы, когда куда-нибудь ехали, в отпуск, так он садился на крышку, придавливал. Участвовал в сборах.
ОН. Твёрдая такая, выдувается, вещей много… Он навалится, я и закрывал замки… Любил он ездить.
ОНА. Бегал всегда по квартире и кричал: «Главное – не потеряться!..».
ОН. Сейчас молодежь, им деньги, деньги… и больше ничего, и, главное, – всё сразу… Мы просто жили. Всё сами с Асей наживали. Даже жилья долго нормального не было. Диссертацию в ванной писал. Квартирка тесная. В комнате Миша, старший, спит, комната одна, на четверых… Ася Юру на кухне укачивает. Юра как раз родился…
ОНА. Тяжело с ним пришлось. Такой крикливый маленьким был. Слабенький… Поздний.
ОН. Ася с ним всё ходила, носила на руках, все ночи напролёт укачивала. Откуда только силы брались. Сама худенькая, светится… Главное, я возьму его на руки, он чувствует, кричит, её требует. *(Смеётся.)* С характером с рождения… Не пугаю я семейной жизнью… Это же счастье! Второй сын у меня родился! Что ты… Асю из роддома забирал, бутылку шампанского цветами по кругу обвязал и медсестре, что выносила, подарил… Такой маленький свёрток с лентой получил… Как его держать, страшно… Разница у ребят большая, забыл всё… Да… Юра он, вообще, всегда мало спал. В футбол с ним ходили играть, года четыре, пять ему было, в парк. Просыпается часов в пять утра, и мы с ним идём, пока Ася отдыхает…
ОНА. Матч состоится в любую погоду.
ОН. До работы набегаемся… Что же дети не звонят, Ася?..
ОНА. Не помнят?..

Звонок телефона.

ОН *(в трубку).* Полина, красавица моя!.. Да, так и говорю! Придёшь?.. Ты меня провалами памяти не пугай! У меня полные закрома продуктов. Сегодня, вообще, в кафе пойду обедать… Годовщина свадьбы нашей с Асенькой…
ОНА. Чтоб дожить до серебряной свадьбы нужно иметь золотой запас и железные нервы!
ОН. Не надо ничего. Вино есть, торт разве купить. Вечером придёшь?.. Выговор тебе объявлю! В фирму твою сообщу, они тебе выпишут. Наряд… без очереди. Картошку чистить… Заходи. Хочу гостей созвать, праздник устроить. Все будут!.. Младший?.. Если не в партии он, то обязательно… *(Смеётся.)* В партии – геологической. Приедет… Старший подойдёт, конечно. Всегда собирались… Чувствую?.. Отлично, как ещё. Нормально… Ничего. Легче. Отпустило… В космос запускать можно. Конечно, если тебе надо… Жаль, тебя не будет. Как забыть, ты у меня свет в окошке, жду всегда. Ты, пожалуйста, вдруг, мало ли, если сможешь, приди вечером… свадьбу отметим. Присмотришь за мной. Ну как буянить начну, праздновать… Папка тут у меня, все документы важные храню, на квартиру, патенты, дипломы. Весь архив мой. Так что… если что, тут все. Да нет, не думаю… Ишь ты!.. Ладно, прекратил. Ты мне… *(Листает бумаги в папке.)* Заслуженный человек, это да, достижения, да, весь город знает. Знаешь, обязательно надо, чтобы память оставалась… Нет, Полиночка, бог таланта к сочинительству не дал, это не дневник вести. Младшего, Юры, папка, ещё со школы… Да, давно писал, стихи, в основном. Читаю я, пересматриваю. Выписывал он ещё… Я в неё и свои бумаги сложил… До свиданья, Полина, прощай… Здоровье незачем уже. Жить и жить?.. Детям помогать… В таком возрасте, что они должны… Внуков поднимать, это – да, согласен. За них и выпью.

Заканчивает разговор по телефону. Убирает одну тарелку со стола в сервант. Берёт лист из папки.

Из Откровения… Нашёл… Вот…
ОНА. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни… Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти… Дам ему звезду утреннюю…
ОН. Звезду… Ночью они светят всем, их много, россыпь, и каждый их видит, а утром звезда – путеводная… Это, наверное, самое большее, что можно дать. Смысл. Куда идти. Как ты думаешь?.. Он школьником об этом думал…

Включает телевизор, звучит старая лирическая мелодия.

Маленький был, до школы ещё, мы с ним по выходным ходили на железную дорогу, рядом с сортировочной жили.
ОНА. Преподавать как раз пошёл в университет.
ОН. Там мост пешеходный над путями, он любил сверху наблюдать. Не оторвёшь, как завороженный. Ждал этой субботы, когда пойдём… Внизу пути, рельсы сходятся, расходятся, семафоры, поезда… Запах ему нравился! Такой особенный запах железной дороги…
ОНА. Как мазутом и углем вместе.
ОН. Шпалы пропитывают… смолистый такой. Дух странствий… Влекло его. Так и пошёл в геологи… В экспедициях… Озорной, в школу одно ходить приходилось, разбираться. Всё в дневник ему учителя писали красными чернилами, вызывали родителей… Где-нибудь стекло мячом выбили или ещё что, так если не он, то рядом стоял. Спрашивают: кто нашкодил, – молчит.
ОНА. Не выдавал товарищей.
ОН. Ася переживала…

Сидит, смотрит на фотографию. Безуспешно переключает каналы. Выключает телевизор.

Встретиться бы нам… Скорее только…

Пьёт таблетки.

С Михаилом проблем не было. Как-то пропустил его. На Асю всё свалилось. Работа, – пока молодой, ездил много, пробивался сам… Разные они, характеры, да и разница большая. А может, и мы с Асей другие стали.
ОНА. Изменились за восемь лет… Изменилась?
ОН. Тихий он, Михаил, вдумчивый такой, лишнего слова не скажет, учился хорошо, поведение отличное… Чтобы что-нибудь в школе когда, – так никогда. Учителя нарадоваться не могли. Похвальные грамоты каждый год. Окончил с золотой медалью…
ОНА. Было как-то в младших классах, кошку они сбросили с ребятами с пятого этажа. Посмотреть, что она не разобьётся… Про них говорят, могут они планировать, хвостом там что-то…
ОН. Ася дочку ещё хотела. Врачи не разрешили. Юра тяжело достался. Болела часто… Мы Михаила на лето в деревню к родителям моим отправляли, на каникулы. Работали с Асей.
ОНА. Приезжаем проведать, а он: чего, – говорит, – дедушка меня учит? Голову нагнёт, исподлобья…
ОН. Серьёзный. С дедом на речку, на рыбалку… Когда приезжали – втроём ходили, без женщин… Степь… Зной, марево, воздух дрожит над пожухлой травой, а вода прохладная, быстрая, мы с дедом с камня удочки закинем, сидим. Михаил голову набок склонит и смотрит. Рыбу считал… Хозяйственный… Или за сусликами гонялся… Все думали, далеко он пойдёт… Дед верил… ждал чего-то… успехов…
ОНА. Глаза, говорил, умные…

Фото двоих сыновей. Он набирает номер на телефоне.

ОН *(взялся за сердце, вздохнул).* Абонент недоступен…

Фото застолья семейного. Набирает номер на телефоне.

Здравствуй, Нина… А Миша? Я звоню – нет связи… На рыбалке… Думал соберёмся. Всё хорошо… У вас как?..
ОНА. Как дети?..
ОН. Праздник у меня. Не помните? Ладно. Не в том дело… Нет, не день рождения. Ну да, осенью… Зашли бы… Принимаю. Только что выпил… Ничего – достал. Мне прошлый месяц Григорьич принёс… Ну, побочных явлений многовато. Что делать, выдерживаю… Заходите… вечером… Заезжал?.. Замок я поменял. Деньги-то пропали. Кто-то ведь взял их… Скорая помощь была, дверь ломали… Закрываюсь… Предупреждали… Плохо станет – и что… Ну настежь было, много людей… У меня с головой всё в порядке. В своём мире живу… Полина не могла взять. Не тот она человек, так поступить. У неё есть сердце. И деньги хорошие я плачу. Зачем только ворам документы на квартиру?.. Копия есть у меня… Нужны. На что хоронить меня будут?.. Расходов немного, конечно, одни продукты… Жениться? Нет, не собираюсь… На поруки меня взять хотели, чтоб не мог распоряжаться имуществом. Неужели я в ваших глазах уже ничто? Он хоть что-нибудь чувствует ко мне?.. Ничего я не раздал. К тебе не приду, не волнуйся, на ночлег не попрошусь!.. Ничего не хочу слышать… и слушать… За фрукты спасибо…

Заканчивает разговор по телефону. Убирает две тарелки со стола в сервант.

Это мои сбережения, Миша… и я буду сам решать… Неужели я для вас мало сделал, что я должен о своём просить?.. Если бы я знал, что вы так поступите, ни за что доверенность не подписал. А вы продали машину, гараж и молчите, разве так можно? Мою машину и мой гараж… С собственным сыном судиться смешно. Что люди скажут? Всё ваше будет, и квартира… Ты только подожди немного. Карточку медицинскую я в поликлинике забрал, не выйдет у вас. Опоздали вы с ней, опоздали. Недееспособным хотели объявить… Подсказали мне, врач, – совесть есть у него, – записать хотели… деменция у меня, и, вообще, на голову… Наследственность, значит, такая…

ОНА. Наследственность…

ОН. Ты не боишься, что твои дети поступят с тобой так же, или жена выгонит, если заболеешь, не боишься, Миша?.. Часто вспоминаю, как ты на реке сусликов выливал из норок, пока мы рыбу с дедом ловили. Столбиками стоят, – интересуются, – смотрят… чуть что, в норки прячутся. Вычислял, где у него вход, где выход. Воду бегом наберёшь в пакет из реки и заливаешь в ямки. Торопился, чтоб он не убежал. Заливаешь, пока не захлебнётся и не всплывёт…

ОНА. Ругал дед… за сусликов этих…

ОН. Зачем вы так торопитесь? На память что-нибудь взять…

Достаёт из серванта, ставит на стол бутылку. Наливает несколько рюмок. Семейная фотография.

Асенька, за детей наших… Григорьич своего урожая передал… Немного, сама видишь.

ОНА. Не пей вина, если можно выпить хорошего вина…

ОН. А может не тот день?! Не передвинул число на календаре?.. Не выходил же я на улицу, упал когда… Миша, как всё-таки плохо получилось, нехороший разговор какой был, что же теперь делать?.. Не прав я, оскорбил сына. Обязательно вечером надо сказать, повиниться…

ОНА. Обязательно… Прощения попросить…

Он подходит к календарю. Включает телевизор: там взахлёб передают высадку астронавтов на Луне.

ОН. Монтёра вызвать, починить телевизор… Настройка сбилась на спутник…

Звук в телевизоре пропадает. Проверяет число на телефоне.

Какое тут?.. Первое января 2001 года, новая эра, прямо, началась… Сразу после конца света… Да здравствуют советские часы – самые тяжёлые и быстроходные в мире!.. Спросить надо…

Подбирает музыку по радио.

Прямо – ди-джей… Крутятся диски… Со стульями продолжать говорить?..

Изображение на телевизоре пропадает, только шум.

ОНА. Белый шум?..

На телевизоре внезапно только белый экран. Перепад напряжения, мигает освещение.

ОН. Белый свет… Да, электричество до конца ещё не изучено!.. *(Улыбается.)* Зачёт сдавали по физике на втором курсе.

ОНА. Принимал доцент Калюжный.

ОН. Он же, говорят, вёл практические занятия весь семестр. Мы как-то с ним не встретились. *(Смеётся.)* Надо было принести на проверку тетрадь с решёнными задачами. Ну, это не показалось трудным. Бытовало мнение, что Калюжный мягок и пушист.

ОНА. Тетрадь достаточно быстро нашёл.

ОН. Обложку заменил на новую. Со своей фамилией. Почерк, правда, был девичий, но надеялся, писать не придётся.

ОНА. Все задачи решены.

ОН. Методы решений и ответы проверены. Доцент принял тетрадь, углубился ненадолго в чтение, потом наугад ткнул прокуренным ногтем в незатейливую формулу из трёх знакомых символов. «Скажите, а что вот это?..». Пришлось заинтересоваться… Уверенно определяю: «Это буква “U”». Правильно её назвал –

«Ю». «И что это за буква “U”»? И тут сказалась полная неосведомлённость в части того, что штудировали коллеги на физике весь третий семестр.
ОНА. Те, кто посещал.
ОН. История потом стала нарицательной. Изустно передавалась несколькими поколениями мучеников науки. И я брякнул: «Как – «что»?.. Напряжение». Чётко помню – изучали электричество. Но это продолжалось в течение второго семестра первого курса. Того, что фундаментальные основы физики так быстро меняются, и предположить не мог. Как говориться, в дурном сне не привидится такое.
ОНА. Несколько месяцев каких-то… Доцент странно посмотрел на испытуемого и передвинул палец…
ОН. Присматриваюсь к латинской букве «I»… Спинным мозгом пытаюсь принять подаваемые друзьями сигналы.
ОНА. Импульсы не проходят.
ОН. «Сила тока», – говорю. Вокруг народ собирается.
ОНА. На арене цирка заезжий клоун…
ОН. Понятно уже, – происходит что-то не то. Закралась даже мысль о возможной пересдаче. Тем не менее, обречённо вымолвил: «Сопротивление…» – на вопрос о третьем загадочном символе, так похожим на букву «R». До полного сходства. «Пойдите, подумайте», – доцент сделал отсылающее движение кистью руки… И тут оказалось, что в третьем семестре мы перешли от электричества к изучению молекулярно-кинетической теории газов.
ОНА. Вокруг умирающего собрался консилиум. Работала ускоренная помощь. На скорую руку втолковали несколько открытий.
ОН. На всякий случай, записал кое-что. Через пять минут я бодро признал в «R» постоянную Больцмана, в «I» – число степеней свободы газа и скорость молекулы в букве «U»… Зачёт, однако, Калюжный поставил, подтвердив репутацию мягкого человека… Кто знал, что сам буду преподавать физику… Учились по принципу: спи спокойно студент, стране нужны здоровые люди! *(Смеётся.)* Чем отличается студент от столицы Кампучии?..
ОНА. Столица Кампучии – Пномпень…
ОН. А студент – пень-пнём!..

Выключает телевизор. Перепад напряжения: мигает освещение, из люстры льётся яркий свет. Вспышка. Полутьма.

Свет… свет производит давление на отражающие или поглощающие его тела… В квантовой оптике давление света истолковывается как результат передачи этим телам импульса фотонов при отражении и поглощении света. Зет равно…
ОНА. И в колодце своём, созерцая себя,
Я увидел звезду и рванулся вверх,
Шаг навстречу – и свет не померк!..
Белый день – и ты смотрел на меня!..
ОН. Верёвка есть интересно у меня, в кладовке?..
ОНА. Жизнь без осознания смысла – бессмысленна…
ОН. Всю жизнь мучаешься, – ответа нет, задумаешься и всё – бежишь к людям, успокоиться…

Поднимает рюмку.

Ты ушла, а мне ещё умирать. От мыслей не убежишь… *(Усмехается.)* Восемьдесят пять лет намерял себе прожить… *(Выпивает, усмехается.)* На плодово-выгодное похоже… «Осенний сад», «Яблочное» – смешно называли: «Слёзы Мичурина…».
ОНА. Женский портвейн ещё…
ОН. «Ах, дам…».

Звонок телефона.

(В трубку.) Я, собственной персоной!.. Полина сказала?! Плохо выгляжу?.. Чувствую себя, как под надзором! *(Улыбается.)* Хочу предложить вам чаю, Варвара Яковлевна. Хорошо соседку-врача иметь. И болеть не захочешь. В том смысле, боюсь я вашего брата. В смысле, сестёр! Заколете… внутримышечно, если не внутривенно, так и в анабиоз сразу… Хорохорюсь… Вот положите меня, отыграетесь… *(Улыбается.)* На сохранение? Или мумифицировать. Ну, осмотр, анализы, это – обязательно… Полина, нет, не забегала сегодня. Говорила, посмотреть надо?.. Она же паникёрша известная. Вам, докторам, волю дай, всех на лекарства посадите… Обморока не было… Родным? Позвонил. Младший, может, в экспедиции. Старший здесь живёт… Что, так плохо?.. Я полежу, таблеточку какую-нибудь, отдохну немного… Позвал

я уже всех… на вечер. Праздник у меня сегодня, день свадьбы. Вас тоже жду, придёте? Часам к шести… Может, всё же зайдёте? Посидим… Приболела?.. Серьёзно?..
ОНА. Ну да, а бабушка крутись…
ОН *(смотрит на семейную фотографию).* Лик божий… *(Проводит ладонью, сверху вниз, по лицу.)* Лик божий. Жена… Да, не замечаем, кто прощает, оставляя горечь обиды в себе, кто живёт для других… Бегите… Им-то ещё жить, для них бегаем. Всего вам доброго, Варвара Яковлевна. Внучке здоровья. Всё будет у неё нормально, я чувствую. Не прощаюсь… Веду бессмысленно здоровый образ жизни… Прилягу… давление померяю… слушаюсь…

Заканчивает разговор по телефону.
Меряет давление, пьёт таблетки, проверяет показания тонометра.

Сколько натикало?.. Систолическое-диастолическое… Тук-тук… тик-так… Как в детстве все мечтают, даже от обиды смешной: вот умру – поплачете надо мной… а я посмотрю…

Ложится на диван, тут же встает. Выходит. Затемнение.
Воспоминание. За окном темно.
Он входит, включает свет. Она сидит на стуле.

ОНА. Ты спросил его, зачем он это сделал?
ОН. Он не сказал.
ОНА. Господи, Юра…
ОН. Ты же сама сказала: воспитывай! Что теперь причитаешь?!..
ОНА. Он спал? Ты его разбудил?
ОН. Ты же ему сказала, чтобы он меня ждал!
ОНА. Отец у сыновей должен быть…
ОН. Ну не хотел он, наверное, резать пиджак этот, и не собирался убивать никого. Может, было за что!.. Может, он на него напал, этот пацан? А Юра защищался только…
ОНА. Ножом…
ОН. Ты видела, какой он здоровый, одноклассник этот? Уверенный какой… Сам пиджак принёс, деньги принял… Ты же сама… Не кончит он тюрьмой… Воспитывать… Я дома, дома, я же говорил, учёный совет был, предупреждал… Это не его нож. Не знаю, где взял… Юра!..

Хлопает дверь.

ОНА. Он ушёл! Что ты стоишь?!

Выбегают в коридор.

(Голос.) Он же совсем раздетый… Миша, беги с отцом!

Конец воспоминания. За окном светло.
Он входит, прислоняется к стене.
Набирает номер на телефоне: нет связи.

ОН. Нет ответа.

Она входит.

Как пробиться и вымолвить? Сказать мне необходимо… Юра… Несколько слов, – малого усилия на которые хватило бы.
ОНА. Одного Прощёного воскресения достаточно.
ОН. Сколько раз передуманных, отчего-то не нашедших времени вымолвиться, не от гордости, нет… От чего, от стеснения, боязни признать себя неправым, стыда, укора совести, мешающего вновь поднять горячую волну отвратительного воспоминания?..

Находит лист в папке.

ОНА. Среди листьев зелёных неожиданно я увидал желтизну…
Много, мало? Не знаю. Но мир стал другим.
Я заметил их только сегодня.
Что же делать, уже ждать весну?
Лист осенний со смертью обретает рожденье,
Чтоб проделать свой путь и упасть, закружившись, под ноги ко мне,
Чтоб открыть мне глаза
И напомнить о вознесенье…
ОН. Один… остался… Забыли вы меня? Нет?.. А что же нет вас? Рано ещё?.. Поздно…

Включает телевизор: на экране без звука съезд народных депутатов СССР.

Прибраться в квартире?..

Выключает телевизор, смотрит на экран.

Всё, что отражает…
ОНА. Всё отражает… Зеркало, стекло…
ОН. Душа здесь, потом улетает.
ОНА. До девяти дней в доме, только после сорока дней землю покидает.
ОН. Если, конечно, томиться по греху какому, или не сделанному, не завершённому чему-то, не будет. Тогда останется. Может и навсегда, неприкаянная… Всё материально. Мне тоже пора. Готовиться, к распаду на атомы. Жизнь. Конец, то есть, её… смерть. Физика тонкого тела…
ОНА. Каждый человек – вселенная. Умирает – и умирает вселенная.
ОН *(ложится на диван, тут же встаёт).* Належимся… *(Берёт блокнот, выводит ручкой запись.)*
ОНА. Жду тебя как Бога…

Перебирает листы в папке, достаёт один.

ОН. Как написал Юра, послушай, Ася…
ОНА. Жизнь – бескрайнее заснеженное поле. Его нужно пройти от начала и до конца. Первый идёт, увязая в сугробах, но он идёт первым, выбирает путь, свою тропу. И если второй, желая облегчить дорогу, старается попадать в следы, оставленные первопроходцем, то путь второго легче, – он уже намечен, известен. Но к чужому шагу трудно приноровиться и от этого переход для идущего следом намного труднее. Ноги выворачиваются, вязнут в снегу и заплетаются в лунках, ледяная корка с хрустом ломается, мешая идти… Каждый должен перейти это – своё – поле сам и своим путём…
ОН. Но дорога полна теми, кто вышел раньше… *(Вкладывает лист в папку, закрывает.)* Та ли это дорога, если по ней бредёт столько людей? Он хотел пройти свой путь, а мы… Что ты там пишешь?..

Включает телевизор, что-то буднично новостное из современности.

Остановите Землю – я сойду!.. Эпиграф – или эпитафия?..
ОНА. Чёрный юмор?..
ОН. Как?.. Глупо совать голову в пыльную духовку… Если отвернуть все конфорки, за какое время газ наполнит кубатуру кухни?.. Дверь прикрыть… *(Смеётся.)* Газовщик заглянул – как рванёт! – его и вынесло на лестницу вместе с дверью и инструментами. Сам целый, ни царапины, а телогрейка вся рваная… Удовольствие, конечно, ниже среднего… *(Смеётся.)* Маркович вызвал, запах, утечка у него дома вроде небольшая была… скопился газ, а тот так и зашёл с цигаркой в зубах…

Вертит пачку сигарет в руках, не решаясь закурить.

Стипендия – копейки, растягивали как резиновую. Экономили на куреве. Переходили на папиросы. Иногда элитный «Беломор», он же «Блохомор», достать было невозможно. Смолили сырой с какими-то сомнительными палками в табаке «Казбек». Пачка с джигитом называлась…
ОНА. «Нищий в горах».
ОН. Редко опускались до продирающего горло рашпилем «Севера». Были ещё вонючие сигареты «Дорожные» – «Судорожные», или «Смерть пешеходам»…
ОНА. Полгода показывал синюю пачку на вахте в институте! Потерял студенческий билет где-то.
ОН. Быстро минуя пост контроля на входе, озабоченный предстоящей лекцией, взмахиваешь сигаретами… Студенческий билет тоже неопределённого грязно-синего цвета.

ОНА. Так и проходил до конца семестра.
ОН. Каждый день забывал зайти в деканат и заявить о потере. В связи с трагическим случаем кражи личных вещей в раздевалке. Вместе с билетом. А так-то оберегаемым, как зеницу ока!.. Или электроток?.. Оголённый провод, например…

Включает торшер, бра. Звонок телефона. Берёт трубку. Подходит к шахматной доске.

(В трубку.) Пошевелим мозговой извилиной?..
ОНА. Белые начинают и проигрывают?..
ОН *(улыбается).* Я понял… *(Переставляет фигуру.)* Эх, Григорьич… *(Делает ответный ход.)* Мы вот так… Купила мама коника, а коник бэз ноги, яка чудова *и*грушка, гы-гы, гы-гы, гы-гы… Ну да, угадал, им… На белое поле…
ОНА. На белое поле…
ОН. Григорьич… Приходи вечером, придёшь?.. Да нет, ничего, повидаться хотел… День свадьбы у нас с Асей… Ничего, какая обида, если не получается… Что не закончили ещё?.. Ну, прощай… Да, жду, жду… Если мужчина настойчив, он обязательно добьётся…
ОНА. Того, чего хочет женщина…

Он заканчивает разговор по телефону. Убирает со стола прибор. Остаётся два прибора.

ОН. Сейчас чайку сообразим, по-солдатски: сорок секунд и готово.
ОНА. Кто в армии служил – знает…
ОН. Я на сборы ездил: два месяца муштровали нас. *(Смеётся.)* Никогда не думал, что можно маршировать и спать одновременно…

Выходит, доносится его смех, возвращается.

Как Паша вышагивал на военке, одновременно рукой и ногой с каждой стороны, волновался перед заходом на экзамен по войне, в коридоре тренировался, да так и зашёл билет брать… *(Марширует, смеётся.)* Да, я всегда говорил, что у вас, студент имярек, гнилое нутро, – любимая присказка полковника Милякина… Лучший друг студента, любил пить свежую кровь… Паша к нему ещё восемь раз ходил сдаваться. Мы уже летнюю сессию, а он всё зимовал… *(Смеётся.)* А самой нетривиальной была сдача теоретической механики.
ОНА. Вошла в анналы истории. Некоторые, правда, подозревали в анналах нечто другое…
ОН. Написали «медведей» – готовые, заранее написанные ответы на известные вопросы. Каждый вопрос на отдельном листе. Скреплялись листы скрепками. Один билет – одна скрепка.
ОНА. К пиджаку с изнаночной стороны подшивались огромные карманы из семейных сатиновых трусов. С целью скрытного вложения. Куда и помещались «медведи».
ОН. Писать с Вадиком решили вместе. С мыслью об экономии времени и сил. В этом случае, заходить на экзамен надо порознь. Один передаёт после сдачи «медведей» второму, тот учитывает отсутствие одной скрепки при пересчёте, если ему попадается билет с большим числом.
ОНА. Всё просто…
ОН. Я отмучался быстро. Около часа изображал муки творчества. Карябал на листах клинописные знаки, заученные предложения общего характера. Пару формул списал с ладони. Улучив момент, достал заготовленный ответ. Вопросы сходились… И тут Ася с соседнего ряда попросила выручить…
ОНА. Дал и ей листок – оказал «медвежью услугу»… Вадику…
ОН. Отстрелялся я на четыре… *(Смеётся.)* А предупредить Вадика о недостающем…
ОНА. Асином.
ОН. …билете забыл.
ОНА. Вадик, морща лоб, просидел над «медведями» порядка двух часов. Изображал тщательную подготовку ответа. Хотя, более чем на трояк не рассчитывал. Потом наступила быстрая развязка. Выложил перед преподом аккуратно написанные, без помарок, ответы и скромно потупился. «Медведей» последующими размышлениями он не испортил. Ему попались экземпляры, написанные им. Препод неожиданно обратил его внимание на вопросы билета.
ОНА. Звучали они несколько по-другому, чем те, на которые скрупулезно ответил Вадик. То есть там может и была схожая терминология, но это были другие вопросы.
ОН. Из неизвестного массива или провала памяти Вадик выдал ответы на другой билет… *(Смеётся.)* Он два часа якобы готовился, отвечая на вопросы другого билета. Которые не мог знать, так как не вытягивал этот билет. Не учёл он, – и не мог учесть, не зная того, – выпавшую из подсчёта скрепку билета, отданного Аське, тогда ещё Ковалевой…

ОНА. Как он не удосужился сверить вопросы на карточке билета с теми, что были на «медвежьем» ответе, не понятно…
ОН. Короче, вместо ответов на вопросы тридцатого билета, Вадик пару часов умно пялился на ответы тридцать первого. Мой и Асин билет имели меньшую нумерацию.
ОНА. Под заинтересованным взглядом преподавателя, он ещё дважды, как прокажённый, ожесточённо чесал рёбра с нужной стороны. Сколько отсчитывать скрепок: тридцать или меньше? Или больше?.. Покрываясь холодным потом, Вадик достал следующего «медведя». Это был ответ на тридцать второй билет. Никак не на необходимый тридцатый.
ОН. Но этого он не успел определить. Ко второму подходу поманили. Вопросы вновь оказались не те. Фатальное невезение…
ОНА. Третьего «медведя» Вадик извлекал второпях, не отходя от стола.
ОН. Как фокусник зайца из-за пазухи…
ОНА. Препод показал подошедшему коллеге на титана мысли: ответы опять не совпали с вопросами. Тот отмахнулся – не то видали… Поправил округлый сверток под мышкой…
ОН. Подтвердил Вадик шутку институтскую: деревообрабатывающая фабрика, поступают дубы – выпускают липу. Вуз. Высшее учебное заведение.
ОНА. Для девушек аббревиатура расшифровывалась, как «выйти успешно замуж…»

Включает мелодию. Танцуют.
Воспоминание. За окном темно.

ОНА. А что не было?
ОН. Ничего не было.
ОНА. Что – было?
ОН. А твой, этот… даже имени не хочу произносить…
ОНА. Не воскресишь всё равно…
ОН. Ведь тоже был, я ведь помню. И не забываю, не забывал, никогда…
ОНА. Зря. Это же было до тебя… Ты же сам ушёл тогда…
ОН. Я ведь думал…
ОНА. Ты – мужчина. А я всё приходила к вам в компанию в общежитие. Зачем?
ОН. К нему…
ОНА. Мне было всё равно, что обо мне думают. Кроме тебя.
ОН. Какая ты… Смелая и дерзкая, посмотришь – и всё…
ОНА. Да, как я тогда выглядела… На кого похожа была…
ОН. Было?..
ОНА. А у тебя?..
ОН. Не было. Глупый вечер, танцы эти, я уже и проводил её…
ОНА. Я видела…
ОН. И машинально – из дурацкой привычки к порядку – расправил на её груди кружевной воротничок. Она же пригласила меня, польстила, конечно. Я же и танцевать не умею…
ОНА. Топчешься ластами… Нужно ноги прятать… Я научилась…

Смеются. Затемнение.
Конец воспоминания.
Загорается свет. Он один стоит посреди зала.

ОН. Ругаешься, миришься… без этого нет жизни…

Выходит, возвращается с заварным чайником. Достаёт из шкафа чашки, блюдца.

Чай купил, на пробу, с травами. *(Наливает.)* От всех болезней… *(Пьёт чай.)*

Берёт книгу, раскрывает, держа на вытянутых руках, читает про себя, шевеля губами и смеясь, потом спохватывается, читает вслух.

После ухода непрошеных жильцов Швейк пошёл позвать пани Мюллерову, чтобы вместе с нею навести порядок, но её и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей напрокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано: «Про-

стите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна». «Врёт!» – сказал Швейк и стал ждать. Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удрученному выражению её лица было видно, что она ждёт от Швейка слов утешения. «Если хотите броситься из окна, – сказал Швейк, – так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадёте в сад прямо на розы, поломаете все кусты, и за это вам же придётся платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар и, если повезёт, сломаете себе шею. Если же не повезёт, то вы переломаете себе только рёбра, руки и ноги и вам придётся платить за лечение в больнице…».

Закрыл, отложил книгу. Фото жены. Она входит.

Скорбные дела наши… Записку написать?..
ОНА. Какую, о чём?..
ОН. Или ничего не писать?.. Что можно написать? Кому?.. Оправдываться, попытаться рассказать о трудностях, просто сообщить свою волю, смешно – волю… просто… Или сообщить, где что лежит, где бумаги?.. Ты не обиделась на меня? Когда отец твой умирал – не вставал уже – все в доме собрались, родственники… мама твоя, мы с детьми… я за братом моим на машине поехал… Так и умер он без тебя.
ОНА. Смерти испугался…
ОН. Я смотрел на его пальцы, вцепившиеся в одеяло, и не мог больше. Не в силах был этого видеть. Он, ещё недавно крепкий… не мог уже говорить…
ОНА. И ничем не помочь.
ОН. Я боялся увидеть его смерть… Он тебя любил… Говорил: никто заботиться кроме Аси о тебе не будет. Мама и ты… Себя я увидел… Виноват перед вами, ребята… Вдруг Юра едет?!.. Сколько ему?..
ОНА. Поездом часов девять сейчас, а самолётом вообще около часа, правда, ещё от аэропорта…
ОН. Или в отъезде он?..

Набирает номер на телефоне, сверяясь с блокнотом: длинные гудки. Его бросает в пот, роняет блокнот. Подходит к окну.

Поле… Жизнь – чистый лист, заснеженное поле, белое-белое, сливающееся с горизонтом… Уходящее за него – в небо… Что мы на нём напишем? Мы оставляем следы, но ненадолго следы после нас остаются на земле, на снежном покрове… Что же мы вынуждены каждый раз идти по нетронутому снегу, ступая на наст, и ломая его снова и снова!.. Попадая в те же ямы, опять и опять, опять и опять… Как ты так чувствовал в твои шестнадцать… А как быть, Юра, если толпа по полю протопала, вытоптала? Мы – толпа. Или хуже – если строем прошли, плечом к плечу, все как один… не задумываясь…
ОНА. Почему путь нельзя делить? Идти вдвоём, втроём и вчетвером…

Воспоминание.

Мы с тобой, уже здесь, как переехали, с дачи, на электричку опоздали, зимой, и по рельсам пошли на автобус. Торопились, ребята дома одни оставались. А сзади – поезд… Ночь, прожектор светит, гудок ревёт… Едет по соседнему пути, а кажется, на нас надвигается, задавит.
ОН. Как поршень… Пролетел, осветил ледяную пустыню.
ОНА. Я испугалась… Мы с тобой вдвоём по полю пошли, напрямик. По снегу.
ОН. Впереди слева показались огни… Мы придём. Наговоримся…
ОНА. Ждать тяжело… Он на меня, в первую очередь, обижается. Я виновата… Он ушёл из дома, слегла просто я…
ОН. Прощения попросить…
ОНА. Я боялась, преступником станет. Нож… У нас в посёлке, шантрапа эта, с ножиками ходили, сумки резали. Идёшь вечером, страшно…
ОН. Гордый он. Характер. В деда пошёл.
ОНА. Это ты виноват. Прости! Мы оба.
ОН. Себя защищал…
ОНА. Господи, испугана я была…

Она выходит.
Конец воспоминания.

ОН. Мы же в школу к нему не ходили, разбираться.
ОНА. Одно у него там что-то случалось…

ОН. У меня историю вела Татьяна Николаевна… У неё указка длинная, метра три, садилась на подоконник и оттуда показывала на карте… Она всегда говорила, и очень сухо, голос скрипучий, железом по стеклу. Я на первой парте сидел, слушал, и у меня непроизвольно слюна скапливалась, я отворачивался и глотал. Она: Горский, почему на меня не смотришь, повернись сейчас же! У меня подкатывает, не могу сдержаться, отворачиваюсь. Думала, – насмехаюсь. Вызывает, что-то про экономику Англии. Я рассказал; она: чем отличалась экономика Англии от экономики других европейских стран? Ответ лёгкий: высокой долей высококвалифицированного труда в промышленности. Говорю, а сам не могу выговорить «высококвалифицированный», смотрю на неё и не могу, – она всегда комментировала своим сухим голосом, – комок в горле стоит, лепечу: высосс…ный. Она: повтори! Я опять – то же самое. Повтори! Не могу, свищу что-то. Класс смеётся. Она опять требует. Я пытаюсь сказать и не могу! Она смотрит на меня насмешливо и требует повторить… Класс грохает от смеха. Стою, красный… Она говорит: кол. Ставит в журнал, берёт мой дневник и поверх, на весь лист, ставит единицу и расписывается. У меня слезы стоят, я шёл отличником… Беру тетрадь, кладу в портфель и иду из класса. Она: Горский, вернись! А я вышел и дверью хлопнул…

ОНА. Был бы взрослым, не хлопнул бы, прикрыл… добив её.

ОН. Я был мальчишка, худющий такой… Седьмой класс, в конце весны. Ушёл и в школу больше не ходил. Через неделю приходила классная руководитель домой. Мама была в ужасе, не знала, что я в школу не хожу… Испугалась, кричала: ты должен идти, что будет, если не пойдёшь, как ты жить будешь?.. Приходил завуч, педсовет был, осудили поступок учителя, она маму просила, чтобы я посещал. Директор просил… Мама так и не захотела меня понять. Не смогла.

ОНА. Это – страх… Страх остаться один на один. Выделиться из строя…

ОН. Мне в году все пятерки поставили. За лето случай забылся, в сентябре пошёл в школу. А отец выпорол… Выдал на орехи, как он говорил. Я из дома ушёл, по подвалам ночевал. Нашли… Вернулся. Расстались они. Мама с отцом. Получается, из-за меня.

ОНА. Напуганы мы были… Им же не понять, их поколению, как мы жили, ведь с человеком могли сделать всё что угодно. Человек же у нас ничто. Такая у нас была жизнь, гнула нас на излом, жёсткой делала…

ОН. Ничего не изменилось. У кого власть, деньги, тот и прав… Помнишь, Юра в синяках весь пришёл?.. Хулиганы его избили, за девушку он вступился… Думали, подрался… Он мне не простил… Мама… *(Очнувшись, подходит к окну.)* Ася, где ты?!.. Испугался… как ребёнок, знаешь… Подумал: никогда тебя не увижу. Всё так быстро промелькнуло в голове, холодно стало, озноб… как в детстве…

ОНА. Не было счастливее времени, чем при родителях, маленькими…

Он отходит от окна. Подходит к фотографиям.

ОН. Когда один, всё вспомнишь, столько передумаешь. Ничего, скоро поговорим, увидимся… Я ведь должен дождаться, сказать… Мы должны встретиться… Прости… Увидеть вас хочу… Дети мои… Асенька… Прощения попросить…

ОНА. Увидимся. Ничего…

Фотография детей: двое мальчуганов.

Оба они наши дети. Плоть от плоти… Всё наше… Разные только… Миша маленьким, такой послушный, аккуратный… Чистюля. Придёт с улицы, костюмчик не запачкает. Ботиночки… Такой всегда… Юра – весь чумазый…

ОН. Всё-таки мы с тобой двух сыновей вырастили, сколько трудностей, всё превозмогли! Всё ты, благодаря тебе. На тебе семья наша держалась.

ОНА. Маленькие дети – маленькие проблемы. Большие дети…

Он включает телевизор, тот показывает звёзды.

ОН. Уже ребёнком человек переживает всё. Любовь, привязанность, дружбу… предательство, оскорбление, унижение. Все чувства. Его душа уже через всё прошла, всё вынесла. Все раны уже нанесены… Только мы этого не замечаем. Взрослым кажется, ребёнок, он ничего не понимает. Забудет…

ОНА. Они всё видят и всё чувствуют. Даже острее чем мы. Ведь они беззащитны перед нами. Представьте, ведь ребёнок глядит своими глазёнками на нас, на взрослых, снизу вверх… Как на великанов, в силах которых сломать его жизнь, его самого, или претворить в жизнь его сокровенные мечты. Если он нам доверяет. Замкнут он, одинок – или с радостью протягивает нам свою ручонку…

ОН. Чувство одиночества приходит после травмы. Каждый наш поступок определяет дальнейшую судьбу…

ОНА. Семья – первый состав исполнителей… жизненной драмы. Или трагедии.

Он набирает номер на телефоне. Обрадовался было.

ОН. Автоответчик… Миша, ты на меня не обижаешься? Прости меня. Приезжай. Я буду вас ждать…

Кладёт трубку.
Телевизор перескакивает на беззвучный показ прогноза погоды в мире.

(Усмехается.) Программа «По странам и континентам»… Показывали по одному из двух каналов советского телевидения. Шутили: «Передача к Дню ракетчика».

Экран телевизора – белый; звук – только шум, потом обрывается.
Он расстёгивает рукав рубашки, закатывает, рассматривает вены, берёт нож, откладывает.

Страшно это?.. Как это, если нет тебя, ничего?..

Берёт тарелку и разбивает о пол. Остается один прибор.

Это ведь – грех… Нет… я не наследил… оставил след. Счастлив. Всё ведь сбылось, удалось, о чём мечталось…
ОНА. Где-то за морем вспыхнула зарница, и сразу, уже ближе, прорвала край поднебесья вычурная молния, связав две стихии… Я наклонился вперёд. Ветер вором ворвался под ворот и надул рубашку пузырём на спине. И всё равно не оторваться от тверди. Мне почудилось, в хляби наверху различим белый крест: навстречу долгожданному шторму низко, легко и быстро пролетел неутомимый буревестник. Раскинутые крылья и тело – одна плоскость. Замер, паря над восходящими потоками тёплого воздуха, вырывающимися из беснующейся бездны, дна которой не ведал, коротко взмахнул крылами и опять завис, несясь вместе с Землей в неизвестность, наклоняясь в стороны, то проявляясь, то сливаясь с тьмой. И наконец исчез… Верилось: я действительно видел стремительную птицу или сам жил ею.

Он включает мелодию на музыкальном центре, делает звук музыки громче. За окном светлеет.

ОН. Правда, закат очень похож на восход?..

Она выходит. Он берёт тарелку в руку. Неожиданный стук. Ставит тарелку на стол.

Ася… мама?.. ребята?..

Доносится гомон. Стук сильнее. Делает тише музыку.

Пришли?.. Ася, праздник сегодня. Столько гостей…

На дверь обрушиваются удары.

Иду…

Торопится открыть, но задерживается, привести себя в порядок. Телевизор – только звук и цифры, буквы на белом фоне – сообщает дату сегодняшнюю. Это день свадьбы, день спектакля.

Иду!..

Выходит. Резкий звук, вспышка, щелчок – телевизор гаснет. Свет из распахнутой двери. На экране Он со всеми: все пришли.
Он и Она выходят из двери. Звучит музыка.

«ФОНОГРАФ»

ЛЕВ БОЛДОВ

ПРОЩЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ?..
повесть

Эта история почти приснилась мне. Я проснулся под утро и некоторое время лежал в полудрёме, как бы на грани сна и сознания. И возник сюжет. Вернее не весь сюжет, а его кульминация, от которой легко протягивались ниточки в обе стороны. Тема любви и предательства. История человека, который, отстаивая свою любовь, решается на подлость, на моральное преступление, решается отнять у своей любимой всё – чтобы потом дать ей всё самому.

Я понял, что должен это написать. Не покидало ощущение, что я ничего не придумываю, а просто вспоминаю, как это было на самом деле. Подробности проявлялись, как на фотографической плёнке. Мне оставалось лишь перенести всё на бумагу, что я и сделал. А читателю остаётся лишь представить себе, по возможности, конец тридцатых – время, когда начинают разворачиваться события (хотя всё то же самое могло произойти в любой стране и в любую похожую эпоху).

1

Он был влюблён в неё со школы. С восьмого класса. Они дружили. Даже не то чтобы дружили – просто ему позволялись какие-то вещи, которые не позволялись другим (например, провожать её до дому). В прежние времена их пути, наверное, никогда бы не пересеклись. Маша принадлежала к интеллектуальной элите – дочь известного архитектора академика Верхоянского, всё детство прошло за границей, по-французски болтала как по-русски, прекрасно знала поэзию – словом, была «девушкой высшего света». Павел был из простой семьи – отец умер от ран, полученных в Гражданскую, мать работала уборщицей на заводе, подрабатывала чем могла, жили бедно, но на жизнь хватало.

Разумеется, Маша догадывалась о его чувствах – и нельзя сказать, чтобы поощряла, но кому же не приятно когда тебя так любят! Впрочем, любили её все – без различия пола. И дело тут было не только в красоте – красивых девчонок кругом хватало. В ней был необычайный заряд женского обаяния и того, что много позже стали называть сексуальностью; при этом она была мила и приветлива со всеми, могла веселиться от души и ничуть не пыталась козырять своими достоинствами. Девчонки завидовали ей и старались подражать; ребята, в свою очередь, завидовали Павлу (хотя завидовать, по сути, было нечему). Он обожал Машу – она обожала своего отца. Именно отец, а не какой-нибудь знаменитый лётчик или киногерой, как у других, был её идеалом мужчины. Он был самым сильным («Ещё в пять лет поднимал меня на одной руке…»), самым умным («Они три дня бились над этим проектом, а он подошёл, две линии провёл – и все ахнули!»), самым красивым («Его в молодости в кино звали сниматься, сам Протазанов при-

---

Лев Роальдович Болдов (1969-2015) – российский поэт, исполнитель авторской песни. Лауреат первого Международного литературного Волошинского конкурса (2003) и премии «Эврика» (2008). Автор восьми поэтических сборников. Член Южнорусского Союза Писателей и Союза писателей Москвы. Печатался на страницах различных литературных журналов: «Кольцо А», «Литературная учёба», «Культура и время», «Радуга» (Киев), «Южное Сияние», «Русский переплёт», «Колокол» (Лондон), «Гостиная» (США). Долгое время жил в Москве, потом в Харькове, жил и в Крыму. Работал учителем математики, редактором, журналистом. А большей частью был кочующим поэтом, вольным художником. Любил бывать в Одессе, участник фестиваля «Провинция у моря». Умер в Ялте, свою смерть предсказал в стихах.

глашал…»). Павел понимал, что, имея перед глазами такой пример, Маша не может всерьёз воспринимать своих сверстников. Романтик в душе, он мечтал совершить для неё подвиг (хотя бы морду набить кому-нибудь!), но времена подвигов прошли, и приходилось довольствоваться ролью молчаливого рыцаря.

Павел был хорошо сложен (хотя и невысокого роста), с приятным открытым лицом – он, без сомнения, мог нравиться, да и нравился многим, но рядом с Машей они казались ему восковыми куклами.

На выпускном Павел впервые танцевал с ней. Было выпито немного вина, он почувствовал прилив храбрости и, улучив момент, объяснился Маше в любви. Она засмеялась, потом погрустнела.

– Пашенька, ты хороший, ты настоящий друг. Но я не знаю, смогу ли вообще полюбить кого-нибудь… Да и рано сейчас об этом думать…

И видя, что Павел стоит, как в воду опущенный, слегка дотронулась до его руки.

– Я как-нибудь приглашу тебя в гости.

2

Знакомство с Машиным отцом отчасти разочаровало Павла. Он готовился увидеть красавца-бородача саженного росту – этакого капитана Гранта с обязательной трубкой в зубах – а увидел полноватого лысеющего человека лет пятидесяти, в домашних шлёпанцах и в пенсне, за которым поблёскивали глаза озорного мальчишки.

– Очень рад, – Верхоянский приветливо улыбнулся, однако руки не подал. – Мари рассказывала о вас. Машенька, надеюсь, твой паладин пообедает с нами?

Павел не знал, кто такой паладин, но почувствовал скрытую насмешку.

За столом академик был оживлён и острил без умолку.

– Мой друг, – обратился он к Павлу. – Вы так держите нож, будто хотите кого-то зарезать. Надеюсь, не меня?

От неожиданности Павел поперхнулся, нож со стуком упал на пол.

– Ну вот, – огорчился Верхоянский. – Ещё не хватало, чтобы Постников явился сегодня!

– Пуркуа бы не па? – засмеялась Маша.

И отец с дочерью заговорили по-французски.

– Кстати, ведь ваша фамилия Кошелев? – спросил академик, когда они перешли к десерту.

– Да.

– А ваш батюшка не служил в тридцать пятом в некой комиссии Наркомпроса, ратовавшей за снесение Покровского собора?

– Мой отец умер десять лет назад, – глухо сказал Павел, глядя в тарелку, и зачем-то добавил. – Он воевал в Первой конной, его сам Будённый награждал…

– Надо же, с кем довелось сидеть за одним столом!.. Ну-ну, не вздумайте дуться! Если уж тягаться боевыми заслугами, то мой отец, а Машенькин, стало быть, дед воевал в русско-турецкую и участвовал во взятии Шипки, – и он весело подмигнул Маше.

Пробило пять. Верхоянский сверился с карманным брегетом и, поднявшись из-за стола, исчез за соседней дверью. Вскоре он появился, одетый с иголочки и благоухающий каким-то фантастическим одеколоном.

– Машенька, если позвонят из Наркомата, скажи, что я буду поздно. – Он поцеловал дочь в щёку и повернулся к Павлу. – Будете в наших краях – заходите.

После ухода отца Машу как подменили. Не глядя на Павла, она принялась убирать посуду.

– Что с тобой? – он попытался взять её за руку, но она отстранилась.

– Извини. Пожалуй, тебе лучше будет пойти. У меня ещё кое-какие дела на сегодня…

– Как скажешь…

Павел вышел на улицу и закурил. На душе было смутно. «Зачем она пригласила меня?» – недоумевал он, чувствуя смесь неловкости, раздражения и острого желания сделать что-то для этой девочки, которая явно в том не нуждалась.

Павел стал бывать у Верхоянских. Это было тяжкое испытание. Машин отец всячески высмеивал его. Интеллектуал, эстет до кончиков ногтей, он с первой же встречи почувствовал в Павле чужака. Этот парень был его дочери не пара! И Верхоянский стал издеваться – тонко, интеллигентно, но при этом безошибочно бил по самым больным местам, уничтожая в глазах Маши незадачливого ухажёра.

– У меня к вам, мой юный друг, очень деликатная просьба, – мог он сказать за столом. – Обещайте, что выполните.

– Конечно, – с готовностью отвечал Павел.

– Если вам так уж нравится лазить пальцами в солонку, то хотя бы мойте руки перед едой.

Павел краснел и бледнел, Маша смеялась.

Иногда Верхоянский становился серьёзен, и это было ещё хуже.

– То что ваше поколение невежественно – ещё полбеды, – говорил он, буравя Павлом взглядом, от которого тот вжимался в стул. – Беда в том, что это воинствующее невежество. Мне рассказывали недавно, один аспирант ничтоже сумняшеся предложил усовершенствовать Бове – приделать пулемёт к колеснице Большого театра… Музагет, управляющий тачанкой! Зря смеёшься, Машенька! Нашему другу, я думаю, эта идея пришлась бы по вкусу.

Впрочем, доставалось не только Павлу. Академик привык не стесняться в характеристиках. По поводу всё того же Постникова, о котором Машина мать отзывалась почти с благоговением, он заявил:

– Видал я таких «божьих людей»! Поглядишь – елей из них так и сочится. А сами только и смотрят, где бы кусок урвать пожирней.

Для Маши отец был царь и бог. Мать, тихую женщину, тайную богомолку, ходившую всегда в глухом чёрном платье, она, похоже, любила, но не уважала. Духовного родства между ними не было.

– Твои верующие резали гугенотов и сжигали ведьм на кострах, – говорила ей Маша, явно перепевая отца. – Только культура ограждает человека от варварства.

Павел удивлялся, что у такого жизнелюбца, как Верхоянский, может быть такая бесцветная жена. (Правда, Маша рассказывала, что в молодости мать была красива, и её руки просил чуть ли не кто-то из великих князей).

Неожиданно для себя Павел стал проникаться чувством классовой ненависти. Он знал, хотя об этом не принято было говорить, что у Маши есть дворянские корни (причём по матери, а не по отцу), что после революции Верхоянские, по сути, эмигрировали (академика пригласили работать в Европу, где он задержался на десять лет), что они общались там со всей эмиграцией (Маша по простоте душевной сама показывала альбом с фотографиями, где были и Бердяев, и Мережковский, и кого там только не было – Павлу эти имена ничего не говорили, но память у него была цепкая!). Он видел, наконец, как живут эти люди – в четырёхкомнатных хоромах, антикварная мебель, картины, рояль (Маша недурно играла) – а они с матерью ютились в коммуналке, в одной комнате, разделённой перегородкой… И при этом Верхоянский позволял себе насмехаться над его бедностью и необразованностью, его неуклюжими манерами и дырявыми носками!.. Павел задыхался от обиды и унижения, от невозможности ответить ничем. Хуже всего было, что, ненавидя Машиного отца, он в то же время чувствовал необычайную силу и обаяние этой личности; в глубине души он мечтал быть похожим на него – да что толку было мечтать!

Между тем Маша всё больше отдалялась. Она по-прежнему позволяла ему приходить, болтала с ним, как с подружкой, могла пойти в кино или в Парк культуры. Но в её голосе всё чаще проскальзывали насмешливые нотки, всё чаще она бывала занята, у неё появились какие-то новые друзья, которых Павел не знал, – словом, он всё отчётливее понимал, что становился лишним.

Мать ни о чём не спрашивала Павла – знала его угрюмый характер (он весь в отца!). Лишь однажды, обнаружив среди книг Машину фотографию, пробормотала чуть слышно: «Пропадёшь ты с ней! Она вона какая – чистая дворянка! А мы – рабочая косточка…».

Павел и сам понимал, что пропадает. Он пытался вызвать Машу на откровенность – она уклонялась от этого. Какое-то шестое чувство мешало ей дать окончательный отбой, сказать «ты мне не нужен» (быть может, тогда гордость взяла бы верх, и он ушёл бы?). При этом виделись они всё реже. Павел теперь работал (провалившись в Медицинский, куда решил поступать неожиданно для себя, он устроился учеником токаря на завод, где работала мать). Маша готовилась в Театральный, не пропускала ни одной премьеры, занималась с преподавателями… Прежнее время, когда он мог видеть её раз или два в неделю, стало казаться ему раем. Павел не спал ночами, придумывая, как сделаться ей необходимым, как доказать свою преданность. Он выстраивал фантастические планы, которые поутру выглядели полным бредом. В самом деле: он был сыном заводской уборщицы, она – дочерью академика, он читал лишь то, что задавали по школьной программе, – она шпарила в оригинале Бодлера и Малларме! Что мог он ей дать, кроме своей любви?..

Как-то, в очередной раз не застав Машу дома, Павел решил дождаться её во дворе. Уже совсем стемнело, когда она, наконец, появилась (к счастью, не с кавалером, а с подругой, которую он, кажется, пару раз видел).

– Ты? – удивилась Маша. – Давно ждёшь?

В лёгком светлом пальто, с распущенными кудрями – она была необычайно хороша. У Павла пересохло в горле.

– Да нет, не очень, – соврал он.

– Ладно, пойдём чай пить.

– А, может, пройдёмся?

Маша пожала плечами и пошла рядом. Павел докурил папиросу и тут же схватился за новую – начать разговор было мучительно сложно.

– Что ты смотрела?

– «Сирано де Бержерака».
– Это Рабле?
– Это Ростан.
(Павел опять сел в лужу – чёртовы французы, которых он вечно путал!)
– Послушай, я люблю тебя! – выдохнул он. – Что мне сделать, чтоб ты поверила?
– Я верю.
– И что?
– А чего бы ты хотел? Чтоб я за тебя замуж вышла?
От такой прямоты Павел растерялся. Жениться на Маше – об этом он не смел даже мечтать.
– Неужели я тебе ни капельки не нравлюсь?
– Нравишься – капельку, – она улыбнулась. – Только не тогда, когда ходишь за мной хвостом.
– Но я хочу тебя видеть. Ты каждую ночь снишься, понимаешь? Я на других даже смотреть не могу!
– Бедный мальчик, – Маша зевнула, прикрыв рот ладошкой. – Извини, ужасно спать хочется… Знаешь, что говорил Вольтер? Все жанры хороши, кроме скучного.
– Ты копия своего отца! – грустно изрёк Павел.
– Ага. И горжусь этим.

3

Доведённый до отчаяния, Павел решил покончить с собой. У него был именной револьвер, завещанный отцом перед смертью («Всюду враги, сынок… Помни… если что… последнюю пулю – себе»). Мать в своё время спрятала оружие от греха подальше, но он нашёл и перепрятал – как чувствовал, что пригодиться. Он написал записку: «Я поступаю сознательно и добровольно. Моя жизнь потеряла смысл. Простите все, кто меня любил». Включил погромче радио, чтобы отвлечь внимание соседей (мать работала в ночную смену), выпил для храбрости стопку, поцеловал Машину фотографию… А на дворе, как уже было сказано, стоял конец тридцатых. И по радио гневно разоблачали очередную банду врагов народа, наймитов мировой буржуазии. Шёл перечень фамилий – академики, писатели, артисты… И Павел вдруг почувствовал (будто кто-то шепнул ему), что одной фамилии в этом списке не хватает. Он мгновенно вспотел. Мысль была простая и страшная. Отложив револьвер, Павел нервно заходил по комнате. «А что? Что я, в конце концов, теряю? – спрашивал он себя. – Она никогда не узнает… А если и узнает – пулю себе я всегда успею пустить… Да, может, он и вправду враг?». Павел представил себе лицо Верхоянского, этого самоуверенного всезнайки, и как он говорит, сверкая пенсне: «Строители коммунизма! Да они простой избы никогда в жизни не построят!» – и, наконец, решился.

Он достал чистый лист бумаги и аккуратно вывел печатным почерком: «В Народный Комиссариат Внутренних дел… Как советский гражданин, как комсомолец считаю своим долгом сообщить об антисоветских взглядах известного архитектора, академика Верхоянского А.М., в доме которого мне приходилось бывать…». Фактов было хоть отбавляй – одних фотографий из парижского альбома хватило бы на всю катушку! И цитирование Ницше за столом, и нападки на партийных чиновников, и все фразы, типа «Нечего на Маркса кивать, коли рожа кривая!»… Подписался он вымышленной фамилией «Сергей Костровой» – это было вполне революционно и безлико. Перечитал, запечатал конверт и, оглянувшись в коридоре, как вор (не попасться на глаза соседям!), выскочил на улицу.

4

Верхоянского забрали. Всё рухнуло в один день. Первое, что бросилось Павлу в глаза, когда он пришёл к ним, были голые стены (чекисты посдирали все картины и фотографии – вероятно, искали тайник). Маша бродила по комнатам, как привидение. Она не плакала – но смотреть на неё было страшно.

– Это ты?.. (видимо, её накачали какими-то лекарствами – она была как в полусне). Ты уже знаешь?.. Папу арестовали ночью… Всё перерыли, даже паркет разобрали в кабинете…

Павлу хотелось сжать её в объятиях, целовать её лицо, шею, волосы… Даже такая – нечёсаная, раздавленная горем – она казалась ему красивее всех женщин на свете!

В соседней комнате Машина мать шушукалась с какой-то дальней родственницей, ещё более религиозной, чем она сама. «Это всё грехи его, – услышал Павел, проходя по коридору. – За гордыню, за актрису эту… Бог – он всё видит!».

Родственница эта была единственным человеком (не считая Павла), кто остался с Верхоянскими. Всех друзей будто ветром сдуло. Телефон молчал, как отрезанный. А ещё через несколько дней отобрали квартиру («Когда всё народное, нельзя быть уверенным, что тебе принадлежит даже твоя зубная щётка!» – шутил Верхоянский) – Маша с матерью оказались на улице. Их переселяли в развалюху на окраине с полусумасшедшим соседом-алкоголиком – ехать туда было немыслимо. Машина мать пере-

бралась к своей родственнице-богомолке, которую Маша ненавидела, поскольку та осуждала отца. Видя, что ей некуда деваться, Павел рыцарственно предложил Маше жить пока у них.

– Ничего страшного, – сказал он. – Я могу спать на кухне.

К его удивлению, она согласилась. Она вообще стала теперь необыкновенно покорной и тихой – казалось, у неё просто не было сил сопротивляться. Павел мог торжествовать, всё складывалось так, как он хотел – и от этого становилось не по себе!

Тот, кто увидел бы Павла в те дни, недели, месяцы, – сказал бы, что более верного и преданного человека трудно найти. Он развил бурную деятельность. Ходил вместе с Машей по всем инстанциям, убеждал, убеждал, уговаривал, терпел начальственное хамство и унижения – чтобы только выяснить хоть что-нибудь!

– Ты-то ей кто? – брезгливо спросили его в одном из кабинетов.

– Я люблю её, – твёрдо произнёс Павел. – Такой ответ вас устроит?

– Ну-ну! – усмехнулся человек за необъятным столом и, переговорив с кем-то по телефону, сообщил. – В «Лефортово» ваш Верхоянский.

…Они выстаивали бесконечные очереди – передачи не принимали. Он успокаивал Машу как мог – и знал почти наверняка, печёнкой чувствовал, что всё ложь, что её отца, возможно, уже нет в живых. Приходя домой, Павел ухаживал за ней, как за ребёнком. Первое время Маша почти не могла есть – ему с трудом удавалось заставить её проглотить несколько ложек супа. Потом она слегла с тяжелейшей ангиной. Целую неделю металась в жару – они с матерью выхаживали её, не доверяя больницам (в бреду она постоянно звала отца и как-то, приняв Павла за него, доверчиво прижалась к руке и уснула).

Едва оклемавшись, Маша заявила, что не может больше сидеть у них на шее и пойдёт работать. Начался новый виток унижений. Дочь врага народа нигде не хотели брать. Пришлось оставить наивные надежды на преподавание музыки и языков, на любой интеллигентский заработок. Чудом удалось устроить Машу на швейную фабрику – и то лишь благодаря заступничеству высокопоставленного соседа, которому мать Павла за бесценок стирала бельё.

Самого Павла тем временем чуть было не исключили из комсомола – кто-то «настучал», что он живёт с дочерью французского шпиона, и первичная ячейка постановила исключить, но райком не утвердил решения.

…Маша медленно возвращалась к жизни. У неё было какое-то врождённое умение приспосабливаться к любой ситуации, и работницы на фабрике, должно быть, сильно удивились бы, узнав, что эта девушка по вечерам читает в подлиннике Монтеня. Вскоре она получила койку в общежитии. Павел помогал ей перевезти нехитрые пожитки. Потом пили чай в её комнатёнке (соседка по комнате деликатно отправилась в кино). Стояла такая тишина, что слышно было, как за два квартала от них звенит трамвай.

– Я так благодарна тебе, – сказала Маша и впервые за всё это время улыбнулась. – Знаешь, когда это случилось… мне просто не хотелось жить. От меня дома бритвы с ножами прятали – боялись, что порежу вены… А теперь у меня какое-то странное чувство, что всё будет хорошо.

«Только не говорить ей о любви!» – приказал себе Павел, стискивая зубы. Он знал, что теперь не время.

5

Началась война, и Павел ушёл на фронт. Трусом он никогда не был, а теперь и вовсе не прятался от пуль, решив, что если погибнет – это будет платой за его предательство, а если уцелеет – значит, заслужил права жить. Он был дважды ранен, его хотели комиссовать, но он вновь попросился на передовую и закончил войну командиром разведвзвода, получив погоны капитана и «Красную Звезду».

Маша ждала. Она писала ему длинные письма, делилась всеми новостями, рассказывала со смехом о своих поклонниках (одному из которых было под шестьдесят), написала, почти между прочим, что похоронила мать и что теперь, кроме Павла, у неё никого не осталось.

Прямо с вокзала он поехал к ней. Робел как мальчишка (хотя на фронте у него были женщины), заготавливал какие-то шутливые фразы, чтобы скрыть смущение… Но когда появился на пороге – в новенькой форме, сверкая наградами, окрепший, возмужалый – Маша вскрикнула и совершенно по-детски бросилась ему на шею.

Вскоре они поженились. Маша предложила это сама – совсем просто, как само собой разумеющееся. Павел не мог скрыть своего ликования и всю дорогу до общежития нёс её на руках, осыпая поцелуями.

Как фронтовик он без экзаменов поступил в Медицинский и закончил с красным дипломом. Теперь Маша могла с гордостью говорить, что её муж – хирург. Они переехали в Черёмушки – жуткая коммуналка с десятью соседями осталась позади. А ещё через год родилась дочь – Надя. Надежда.

Павел летал, как на крыльях. Любимая женщина была рядом – и всё казалось по плечу. Он защитил кандидатскую. Используя новые связи, устроил Машу переводчиком в Худлит – теперь она могла работать на дому. Как сказано в одной книге, «мир был в мире, и мир был в сердце». И, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете, Павел старался забыть о том, какой ценой куплено это счастье.

6

Затем наступил 56-й. И Маша получила стандартную бумагу: «Ваш отец, Верхоянский А.М. … реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления…». Подпись, печать. «Я всегда знал, что он невиновен!» – вырвалось у Павла совершенно искренне. Маша уткнулась ему в плечо и заплакала. «Господи, какое же я чудовище!» – похолодел он.

Уцелевшие возвращались из лагерей. И как-то, придя с работы, Павел застал в доме гостя. Гость был сухощавый, мосластый, с большими залысинами. В сильно поношенном пиджаке. На правой руке не хватало двух пальцев.

– Познакомься, Паша. Николай Трофимыч был там. В Озерлаге. Он последним видел отца.

– Да… Андрей Михалыч, царство небесное, можно сказать, умер у меня на руках. Редкой образованности был человек. Штучный, – он вздохнул. – Всё дочь вспоминал. Говорил, мол, жив останешься – разыщи. Ну вот, я просьбу-то и исполнил.

Что-то не нравилось в речах гостя. Фальшь какая-то сквозила, юродство. А гость вдруг засобирался.

– Однако, посидел у вас – пора и честь знать. Я ведь пока у свояченицы квартирую, в Кунцево – свет не ближний…

А на следующий день в клинике – Павел только что закончил операцию, вокруг толпились практиканты – его позвали к телефону. Звонил вчерашний визитёр.

– Покалякать бы надо, Павел Алексеевич. Наедине.

– А в чём, собственно, дело?

– Да дело щекотливое, в двух словах и не скажешь… Вы сегодня во сколько освободитесь?

– Если никаких ЧП не случится, часов в шесть.

– Вот и ладненько. Я буду ждать вас у входа в сквер, напротив больницы…

Стоял ясный осенний день. Они пересекли сквер и вышли к набережной. Неожиданно спутник Павла резко обернулся к нему.

– Сергей Костровой, если не ошибаюсь?

Это прозвучало, как выстрел – прежней елейности не было и следа. Должно быть, Павел побледнел.

– Не понимаю вас, – произнёс он внезапно севшим голосом. – Моя фамилия Кошелев.

– Да бросьте ваньку валять, Павел Алексеевич! Нам всё известно. Я ведь с Верхоянским не в лагере познакомился – это всё сказки для вашей жены… До лагерей он не дожил, умер ещё в тюрьме от острой сердечной недостаточности.

– Так вы – …

– Бывший следователь НКВД. Саженцев моя фамилия. Будем знакомы.

Он протянул руку, и Павел машинально пожал её.

– Ну так вот. Дело вашего тестя я лично не вёл, им дружок мой занимался – можно сказать, подчинённый. Но я был в курсе. Дружка-то, бедолагу, сактировали в 39-м, а я, как видите – жив. Да… Вы что курите?

– «Приму», – не сразу ответил Павел.

– Позвольте? – Он прикурил и со вкусом затянулся. – Папиросы ещё там надоели. А пенсия маленькая… В общем, личность вашу установить было несложно. У вас ведь там такие подробности, которые мог знать только человек близкий, вхожий в дом… Ну, друзья и коллеги на Верхоянского «стучать» бы не стали, это уж верьте мне, – они его обожали. Душа компании… Да и комсомольцев как-то среди них не было – всё больше академики, профессора… Другое дело, друзья дочери. Точнее, друг… Тут расчёт-то простой. Убрать отца с дороги, чтоб не мешал, а кралю прибрать к рукам. Да… Ловко у вас всё это получилось. Я вас как давеча увидел – последние сомнения пропали… Ну, думаю, парень не промах – такую девку отхватить! Она и сейчас-то – персик, а уж тогда – можно представить… Да только папашка её люто стерёг!..

Павел побагровел. «Ещё одно слово – и я придушу тебя!» – подумал он. Саженцев заметил это – и чуть подался назад. (Он не случайно выбрал время и место – кругом было полно народу).

– Ну-ну, Павел Алексеевич, без глупостей. Мы же не дети. Ну сбросите вы меня сейчас с моста – и сами сядете… Думаете, жена будет вам передачи носить, когда узнает, что вы убийца её отца? «Дело»-то его живо, лежит в надёжном месте. И донос ваш там подшит аккуратненько… Так что, ежели со мной что – он назавтра же попадёт к вашей супруге дражайшей… С моими комментариями…

– Чего вы хотите? – с трудом выдавил Павел.

– Вот это уже деловой разговор. Для начала – ещё сигарету. Благодарствую… Человек я небольшой, и требования мои весьма скромные. Вы, если не секрет, сколько получаете?

– Какое это имеет… – начал было Павел, но Саженцев прервал его:

– Вопросы, голубчик, буду задавать я. Так сколько? Официально, я имею в виду.

– Около трёх тысяч.

– Ну вот и славно. Каждый месяц будете треть отдавать мне. В качестве, так сказать, посильной помощи жертве репрессий… Как видите, я не рвач. И семейный бюджет не сильно пострадает – люди и на пятьсот живут… Переводить никуда не надо, не люблю лишних бумажек, приносить будете по адресу…

– Могу я подумать?

– Подумать? – Саженцев был явно удивлён. – Что ж, думайте. На обдумывание вам – двадцать четыре часа. Можете с женой посоветоваться…

– Вы жалкий шантажист, – пробормотал Павел.

– А вы жалкий стукач. Желаю здравствовать!

Он уже собирался сесть в подъезжающий автобус, но передумал и вернулся к Павлу.

– По сути, вы нам очень помогли тогда, – сказал он почти дружески. – То есть Верхоянского мы бы, конечно, и без вас окунули. Мы ведь его давно разрабатывали. Половина его окружения уже сидела. За домом велась постоянная слежка… Так что вы и сами-то были у нас на крючке. На всякий случай. Да… Но как-то всё улик не хватало. Слишком яркой фигурой был ваш достопочтимый тесть. Мировая знаменитость, с Хозяином знаком лично… Действовать надо было наверняка. А то вместо него, хе-хе, окунули бы нас – времена были серьёзные! Так что оч-чень нам письмецо ваше подмётное помогло… Неоценимую, можно сказать, услугу органом оказали. Бог весть, сколько пришлось бы потеть!

7

Павел никогда не думал, что события почти двадцатилетней давности – тот страх, те муки совести, которые он пережил тогда, – всколыхнутся в нём с такой остротой. Что возмездие настигнет его через столько лет – да ещё в образе этого гнусного вымогателя, у которого, надо полагать, руки были по локоть в крови (как только его не «замочили» в лагере?).

Жизнь Павла превратилась в ад. Он предпочёл бы раз и навсегда откупиться от Саженцева, но таких денег у него не было. Приходилось ежемесячно мотаться к этому типу на квартиру, наблюдать, как он спивается и наглеет на глазах, выслушивать насмешки и оскорбления – и это ему, прошедшему фронт, имеющему боевые награды, ему, который ежедневно спасает человеческие жизни и на которого ученики смотрят почти как на бога, а коллеги втайне завидуют! Но это ещё полбеды! Хуже было, что он жил теперь в постоянном страхе разоблачения. Саженцев мог проболтаться кому угодно, особенно по пьяни. И когда Павел нёс ему очередную дань, казалось, что даже бабки, вечно толковавшие у подъезда, знают, зачем он приходит. В то же время он вынужден был постоянно врать Маше – то про дефицитные лекарства для матери, то про друга, которому дал взаймы… Она делала вид, что верит, но, конечно, не верила и, кажется, начала подозревать, что у него появилась другая женщина.

Всё это было невыносимо! Павел стал замкнут, раздражителен, стал сторониться прежних друзей. Зловещая фигура Саженцева преследовала его, как наваждение. Чтобы немного успокоить нервы, он начал тайком выпивать – заходил после работы в рюмочную и пропускал стопку-другую. Маша, почувствовав как-то, что от него пахнет, сказала холодно: «Хочешь пить – пей лучше дома». «Где хочу, там и пью, – буркнул он. – Не твоё дело!». В тот вечер они впервые поссорились, и Маша, забрав дочь, ушла ночевать к подруге.

Неожиданно Павла вызвал зав. отделением и предложил взять отпуск.

– Вид у вас утомлённый, Павел Алексеевич. Съездите в Крым, отдохните…

– Помилуйте, я в прекрасной форме! – возразил он, подумав, что оставлять Саженцева в Москве без присмотра слишком опасно.

Через полгода такой жизни Павел стал замечать, что у него дрожат руки – он не мог оперировать. Дома всё расстроилось окончательно, Маша не доверяла ему.

Выход был один. Павел понял это со всей отчётливостью – и, отправляясь на очередную встречу с чекистом, положил в карман плаща револьвер (тот самый, отцовский!). Он давно уже знал (выяснил по своим каналам), что Саженцев блефует, что никакого «Дела» у него нет и быть не может – все «Дела» хранятся на Лубянке. Всё-таки меры предосторожности следовало принять. Павел забил спичку в замок почтового ящика, а на почте договорился, что всю корреспонденцию будет забирать сам (ждёт очень важного письма). Машу он предупредил, что участились квартирные кражи и чтобы она не открывала дверь посторонним – на случай если Саженцеву вздумается отправить компромат с нарочным.

Оставалось последнее – решить, как вести себя, если его арестуют. Что ж. Нет лучшего способа утаить правду, чем выложить часть её. Чекист сам признался, что возглавлял следственную группу по делу Верхоянского (это несложно будет проверить) – стало быть, он виновен в гибели Машиного отца. Убийство из мести. Из подлеца и фискала Павел превращаться в благородного мстителя, которого, конечно, посадят, но зато в глазах окружающих (и главное, Маши!) справедливость будет на его стороне.

…Он приехал к Саженцеву позже обычного. Остановил такси за два квартала от дома и попросил дождаться его. Чекист был, по обыкновению, пьян (бутылка «Столичной», опустошённая на три четверти, стояла на столе).

– А, явился, принёс свои тридцать сребреников? – он попытался подняться, но ноги не держали.

Павел достал пачку сторублёвок и бросил на стол.

– Чой-то ты расшвырялся, родной? – Саженцев двумя пальцами стряхнул деньги на пол. – Ну-ка подыми…

Павел поднял. «Пусть покуражится напоследок!» – решил он.

– Вот так-то лучше… А теперь садись. В ногах, знаешь, правды нет. Садись, выпьем, я сегодня добрый… Помянём тестя твоего, он ведь аккурат в этот день преставился, хе-хе… Девятнадцать лет назад! – Саженцев плеснул в рюмки. Павел стоял, не двигаясь. – Брезгуешь что ли? Ну и х… с тобой! Он выпил один. Да… Человек был твой тесть – вам, нынешним, не чета! Как он сказал, когда его привели только: «Я, говорит, знаю, что у вас арест человека является доказательством его вины. Так что можете не трудиться выбивать из меня показания. Я подпишу всё, что вам надо, если вы гарантируете неприкосновенность моей семьи…». Хе-хе!.. Он ещё ставил условия! – Саженцев потянулся к бутылке и вдруг поймал каменный взгляд Павла. – Да ты, никак, убить меня хочешь? Казалось, он был скорее удивлён, чем испуган.

Остальное произошло в считанные секунды. Чекист, как кошка, метнулся к комоду, где у него, по-видимому, было спрятано оружие. Но Павел уже наставил на него револьвер.

– Стоять, гнида!

Он хотел видеть его страх. Но то, что он увидел, превзошло все ожидания. Саженцев описался. Тёмная струйка побежала у него по штанам прямо на пол. Павла передёрнуло от омерзения. И он понял, что не может убить этого человека – всё равно, что жабу раздавить голой ступнёй!

Он перехватил пистолет за ствол и рукоятью ударил Саженцева в лицо. Тот повалился на пол, заливаясь кровью.

– Рассказать всё хотел, поддонок?! Беги, рассказывай! Если успеешь…

Отпустив такси, Павел пешком пошёл по Москве. На набережной он остановился и бросил дважды не выстреливший пистолет в реку.

…Домой он вернулся под утро. Маша не спала – полулежала на кровати, одетая, делая вид, что читает.

– Нам надо поговорить.

Чтобы не разбудить ребёнка, они пошли на кухню. И Павел рассказал всё. Поначалу Маша не верила – смотрела на него так, будто он сошёл с ума.

– Пойми, его всё равно бы арестовали, – внушал Павел. – Это был только вопрос времени… Вспомни, как он унижал меня. Вспомни! «Молодой человек, почитайте Шопенгауэра, если, конечно, его выдают нынче в публичной библиотеке…». Он считал меня ничтожеством – и старался убедить в этом тебя!

Маша молчала.

– Ну скажи хоть что-нибудь. Не молчи, слышишь… Ну обругай меня, ударь – тебе легче будет…

Она молчала. Сидела, зажав руки между коленями, и смотрела куда-то мимо него. Павел поднялся.

– Мне уйти?

Ответа не было.

– Хорошо, я уйду. Уйду совсем… (Он снял очки и стал зачем-то протирать стёкла). Я знаю, ты никогда не любила меня. Привыкла, была благодарна – может быть. Но не любила… А теперь всё кончено. Теперь я враг… Я сломал тебе жизнь…

Он бросал в свой портфель самоё необходимое, поцеловал спящую дочь и вернулся в кухню. Маша продолжала сидеть в той же позе.

– Я ухожу. Наде не говори правду, придумай что-нибудь… Я постараюсь уехать подальше. Прощай!

8

Павел решил ехать в Свердловск – к своему фронтовому другу, который давно звал его. Начальство, поняв, что уговаривать бесполезно, дало ему блестящие рекомендации. Свердловская клиника ждала с распростёртыми объятиями. Всё это время он жил у матери, взяв с неё слово, что как только устроится на новом месте, она переедет к нему.

В последний день, когда уже были сложены вещи и куплен билет, Павел решил попрощаться с Москвой. Стояла ранняя весна. Он шёл по знакомым с детства улочкам, и картинки прошлого оживали перед ним. Вот здесь он, замирая от счастья, нёс её школьный портфель… здесь покупал ей цветы… возле этого моста они впервые поцеловались… в этом сквере её недавно гуляли втроём… Весь город был проникнут Машей – и ему больше нечего было здесь делать.

Павел уже повернул к дому, когда его будто током ударило. Он обернулся. По другой стороне улицы шла Маша с дочерью – казалось, сила его воспоминаний воссоздала их здесь. Надя первая увидела отца и с криком «Папа! Папочка!» бросилась через дорогу, чуть не попав под автомобиль. Взвизгнули тормоза. Надя повисла у него на шее, прильнув всем тельцем. Маша, в полной растерянности, слабо пыталась оторвать её.

– Ну пойдём же, Наденька… Пойдём домой, – беспомощно повторяла она.

Но дочь ничего не слышала. «Папочка, где же ты был? Я так соскучилась!».

Павел стоял, как деревянный, прижимая к себе дочь и не в силах произнести ни слова – комок застрял в горле.

И Маша вдруг вспомнила, как сама висела на шее у отца, когда его уводили, и билась в истерике – а чекисты оттаскивали её. «Прекрати! – сказал он тогда, сжав изо всех сил её плечи. – Эти люди не должны видеть твоих слёз!». Она не понимала, что с ней творится. Это было похоже на помешательство, но её отец, её прекрасный отец, сгинувший в лагерях, и этот человек, виноватый в его гибели, человек, с которым прожито полжизни, отец её ребёнка – на миг будто бы слились воедино. А она сама была девочкой, чуть постарше своей дочери – и не замечала, как слёзы текут из глаз.

– Наденька, – прошептала она и не услышала своего голоса. – Ну скажи папе: «Пойдём домой!»…

лето 2000 г.

«ОКОЁМ»

«МЫ, ОБНИМАЯСЬ, СМОТРИМ ВВЕРХ, А БОГ ИГРАЕТ НА ОРГАНЕ…»

Главной номинацией Ежегодной Международной премии имени Игоря Царёва является поэтический конкурс, который проводится с 2013 года. С каждым годом расширяется его география и число участников. В 2019 году на участие в поэтическом конкурсе были поданы 332 заявки из 36 регионов РФ и 13 стран зарубежья. Они были рассмотрены конкурсной комиссией, оценивающей последовательно в четыре тура представленные работы.

После отборочного тура число участников уменьшилось до 120 авторов. С этого момента оценки каждого члена жюри фиксировались на форуме «Пятой стихии», и каждый автор мог проследить продвижение своего произведения.

Следующий тур определил 69 стихотворений, которые вступили в соревнование за выход в финал. На этом этапе к работе конкурсной комиссии подключился литературный обозреватель Владимир Гутковский (Киев), сопровождающий каждое стихотворение своими комментариями. Оценки жюри и комментарии обозревателя участники могли проследить на том же форуме.

Наибольшее число баллов и мнение литературного обозревателя, открытые для ознакомления, и определили 10 финалистов конкурса.

Поэтический конкурс 2019 года прошёл под девизом «Мы, обнимаясь, смотрим вверх, а Бог играет на органе…» – это строчки из стихотворения Игоря Царёва «Не рассуждая о высоком»:

За теплоходными свистками
Дойдём сегодня до реки,
Где старые особняки
Соприкасаются висками,
И над причалом воздух талый,
И заглушая птичий гам,
Гудит невидимый орган,
Качая тёмные кварталы…

Не рассуждая о высоком
Значении весенних вех,
Мы просто взгляд поднимем вверх
На кроны, брызжущие соком,
На небо, где вне расписаний
Плывут неспешно облака
И отражается река,
И наши мысли, и мы сами…

Пусть стрелочники, секунданты
И прочие временщики –
Дотошные часовщики,
Аккуратисты и педанты –
Отягощённые долгами,
Ругают меркантильный век…
Мы, обнимаясь, смотрим вверх,
А Бог играет на органе…

В финал вышли **Марк Шехтман (Израиль), Юрий Макашёв (Барнаул), Клавдия Смирягина (Санкт-Петербург), Константин Вихляев (Ялта), Олег Сешко (Витебск), Владимир Кетов (Германия), Виктория Смагина (Томск), Анатолий Болгов (Санкт-Петербург), Марина Пономарева (Москва) и Светлана Ефимова (Свердловская обл.).**

Резюме литературного обозревателя по финалу 2019 года:
«…Как по мне, финал удался. Даже не знаю, кого бы я отметил, будь на то моя воля.
(А вот кого бы не отметил, знаю. Но таких считанные единицы).
Так что будем ждать решения Жюри.
Я же просто буду ещё не раз перечитывать (нет, серьёзно) финальные (и многие другие) тексты.
И получать удовольствие от этого процесса…».

Наибольшее число баллов, оценки литературного обозревателя и личное мнение учредителя определили выбор Победителя.

В 2019 году звание Победителя Шестого поэтического конкурса Международной литературной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» и саму премию поделили Марк Шехтман и Юрий Макашёв.

9 ноября 2019 года состоялась Церемония вручения наград лауреатам всех номинаций Премии. Репортаж – по адресу: http://igor-tsarev.ru/competitions/1642/

СТИХИ ФИНАЛИСТОВ «ПЯТОЙ СТИХИИ-19»

МАРК ШЕХТМАН

Израиль

СТИХИ О МОЛЧАНИИ

Горький сон мне явился сегодня под утро некстати,
Что поставлен я паузой в Божьей великой сонате
И меня, как скалу, огибают летучие звуки,
Простирая в пространство прозрачные крылья и руки.

Мне ли критиком быть высочайшей Господней работы,
Где в прекрасном согласии встали прекрасные ноты?
Но надмирный Маэстро, увы, не узнает, что значит
Быть молчащим меж тех, что смеются, поют или плачут.

Я себя утешаю: молчание необходимо!
Ведь недаром прекрасно немое отчаянье мима,
И затишье заката, и ночь, где ни ветра, ни звука.
Ах, не верьте, не верьте! Быть паузой – тяжкая мука.

И что мудрость в молчанье – вы этому тоже не верьте,
Потому что звучать – есть отличие жизни от смерти,
Потому что иначе идти невозможно по краю!
Может быть, я проснусь… Может быть, ещё что-то сыграю.

ЮРИЙ МАКАШЁВ

Барнаул

ФРЕСКИ

Было время – и мечты
были.
Может вовсе не мечты…
Планы.
Покрывались города
пылью.
Может быть, не города…
Страны.

И любовь была тогда
рядом.
Может, вовсе не любовь…
Дерзость.
Были дни, когда решать
надо.
Может, даже не решать…
Резать.

Было важно называть
другом.
Может, друг и не был им…
Раньше.
Было страшно (голова – кругом):
Что же будет на Земле…
Дальше.

Было… Было…
Унывать – рано.
Смотрим взглядом в небеса
детским.
А у Бога там свои
планы…
Ну не планы, может.
Так…
Фрески.

———

КОНСТАНТИН ВИХЛЯЕВ

Ялта

ПОСВЯЩЕНИЕ ЭДИТ ПИАФ

Не перепишешь набело черновики судьбы,
Испорченность – не правило, инверсия мольбы.
Когда кривая трещина раскалывает век,
Из тьмы выходит женщина, спасающая всех.

Со сцены льётся музыка – молитвенный рожок,
Рождая в нас иллюзию: «всё будет хорошо»,
Что мир ещё в зародыше, что можно жить в кредит…
Привет тебе, воробушек по имени Эдит!

Тот резкий голос множился, грассировал в ночи,
Париж в гусиной кожице просил: «Кричи! Кричи!
Возьми с собою *на* небо, всё выше, выше, вы…».
И жизнь творилась заново, и рубцевались швы,

Кружились в вальсе здания – Сорбонна, Нотр-Дам,
Неслось, как заклинание, «падам, падам, падам».
Прямое слово с перчиком прощалось воробью,
Сбивали с ног газетчики при каждом интервью.

В стране Эдитпиафии всё было чересчур –
Изломы биографии, наряды от кутюр,
Ночные возлияния, и тут же – се ля ви –
Маратели сияния, попутчики любви.

Отмаялась душа её, простим её, милорд.
Пусть новый век шуршанием крутого рэпа горд,
Но вновь на пароходике, что шлёпает в Онфлер,
Качается в мелодии порхающее «эр».

———

КЛАВДИЯ СМИРЯГИНА

Санкт-Петербург

ПРОРЕХИ

Майское утро. Хрущёвка. Сирень.
Папа фургон заказал на заводе.
Едем на дачу. Вещей дребедень,
вовсе и не обязательных вроде.
Две керосинки и ватный матрас,
ложки, кастрюли, коробка консервов…
Всё пересчитано мамой не раз,
и всё равно наша мама на нервах.
Рокот мотора, начало пути.
Синий асфальт под колёсами вьётся.
Всё ещё, всё у меня впереди:
Лето.
Каникулы.
Солнце.

Горячий мох податлив и упруг,
качаются верхушки красных сосен,
и солнца ослепительного плуг
до головокружения несносен.
А после наступает тишина.
Рука назад закинута неловко.
И тонкий край полуденного сна
легко тревожит божия коровка.

Наполнена до края чаша дня.
И солнца луч, пробившись сквозь ресницы,
горит, зелёной радугой дразня,
которая не раз ещё приснится.

В рукотворном саду камней
голос ветра почти не слышен.
И читаются всё больней
иероглифы чёрных вишен.
В небе – клинопись птичьих стай,
а внизу горизонт бумажный.
И шкатулка чудес пуста,
и что было вчера – неважно.
Вечер пасмурный и немой,
камни в сумраке незаметней.
Крайний справа, булыжный – мой.
И, наверное, не последний.

Здравствуй, шерстяное Рождество,
золото игрушек в междурамьи,
и под елью, всё ещё живой,
свёртки с припасёнными дарами.
Ватный мальчик, крашеный орех,
шпиль, слегка ободранный по краю…
Их полно – во времени прорех,
и туда я руку запускаю.
Зная, что под снежной пеленой,
под листвой, чей срок судьбе проспорен,
спит в утробе тёплой земляной
завтрашняя радость спелых зёрен.

АНАТОЛИЙ БОЛГОВ

Санкт-Петербург

ПЕСНЯ В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Мои побеги к солнцу за три моря,
В развал небес за тридевять земель
Легли на сердце спорами от горя
И кровью спора в логове семей.

Живу и смысла в том не понимаю,
Кружу по маю снегом февраля.
Проходит жизнь, до одури немая,
Походкой смерти в голосе враля.

И будь что будет, пусть судьба резвится,
Ссыпая дни сквозь пальцы-решето.
В моих иконах выступит живица,
Она вольётся в корень и росток,

В края любви Донбасса и Тамани,
В старинный Крым и юный Ленинград,
В мои сады, где смог плоды дурманит,
И мудрый некто шепчет – жизнь игра.

Ах, трали-вали, Кингисепп и Тихвин,
Южнее Луга, в золоте Любань.
Лечу во сны, а зори в небе тихи
И дышат паром от любовных бань.

Ах, баю-бай, есть время посмеяться
И баять байки стону вопреки,
А междометьем с плачами паяца
Засыпать омут мусорной реки.

Проветрю быт, проверю счастье в кладах,
Сожму зубами гордость и печаль
И плюну в быль, где чёрт целует ладан
И ангел спит у правого плеча.

Уйдёт ли ночь, меня не замечая,
Придёт ли день по гулу катастроф,
Я брошу холод мяты в чашку чая
И вылью эту смесь в аорты строф.

Мытарства нет, есть судорога боли,
Холодный лёд, приложенный к устам,
Есть ветер звёзд и песня в чистом поле,
И Божий след на белом дне листа.

СВЕТЛАНА ЕФИМОВА

г. Тавда Свердловской области

У КАЖДОГО АНГЕЛА СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Бесплотно, бессонно, бессменно, бессрочно
Стоять неотлучно за правым плечом
Того, к кому намертво ты приторочен,
Не смея отвлечься на что-то ещё.
Фантомно, фатально, порой – фанатично
Залечивать раны и дыры латать:
Быть ангелом – это не так поэтично,
Как может казаться… парящая рать
Невидимых птиц легкокрылого свойства
Всегда на дежурстве своём боевом,
Спасать Человека не просто геройство –
Потребность, заложенный свыше геном.
Предписано
Вынянчить Вечную Душу,
Которая слышит небесный орган.
О Ньютон, Шекспир, Аристотель и Пушкин!
О Цезарь, Платон, Эдисон, Перельман!
О, рыжая девочка в «платье» Венеры,
О, странный очкарик, попавший в Ковчег –
На Землю, где в плотных слоях атмосферы
У каждого ангела свой человек…

И тянутся нити,
и вяжутся нити, –
Расходятся,
рвутся и ткутся опять,
Как копии, схожие дни и события,
И люди,
которым нельзя умирать.
От марша победного с поля сражений,
От ленточки белой, от звука пике
Печалятся ангелы в пору весеннюю
На самом бесшумном своём языке.
Трепещут их крылья, как листья на клёнах,
И сердце сгорает от жизни такой,
И только за спинами пары влюблённых
Они обретают недолгий покой…

—

ВИКТОРИЯ СМАГИНА

Томск

А НАМ С КОТОМ ДО ГОРОДУ ПАРИЖУ

а нам с котом до городу парижу
как до китая киселя хлебать.
мы лучше здесь – понятнее и ближе,
свои шесток, рубашка, благодать.
свой бежин луг, подснежники в овраге,
кудлатый пёс в дозоре у ворот,
матёрый сом под илистой корягой
и пескариный суетный народ.

полдневный зной с водою из колодца –
скрипучий ворот, цепь, гремит ведро…
подсолнух поворачивает солнце.
и дед адам клянёт своё ребро
великим и могучим с перебором,
а бабка ева шанежки печёт
с морковкой и ревенем.
за забором
гудит пчелиный вылетный расчёт.

дни мелют новостийные емели,
а мы с котом глядим на окоём…

вот ощенится найда на неделе
и мы щенка парижем назовём.

—

ОЛЕГ СЕШКО

Витебск

О СВАРЩИКЕ СОЛОУХОВЕ

О сварщике Солоухове писали в газетах города,
что он для рабочей братии – едва ли не полубог.
Якшается, знамо, с духами, вплетает им искры в бороды
за некие там симпатии породистых недотрог.
И, веришь, любили-холили его – постоянно пьяного,
возились с ним, будто с маленьким, стелили ему постель.
Гармонь раздирал до крови он, а после почти что планово
чинил утюги, и чайники, и горы дверных петель.

Гудело депо трамвайное, когда Леонид Кириллович,
ручной управляя молнией, в металл пеленал огонь.
Вагоны делились тайнами, друзья собирались с силами,
и, видя стаканы полные, дрожала в углу гармонь.

Гулял молодой да утренний, в куртяшке отцовской кожаной,
с красивыми недотрогами сжигал себя до зари.
А спать не хотелось – муторно, врывалась война непрошено,
делила его на органы, крошила на сухари.

Он снова сидел в смородине, а там, на дороге, в матушку
с братами и шустрой Тонькою стрелял полицай в упор.
Батяня был занят Родиной, а Тонька хотела платьишко –
смешная такая, звонкая… Уснёшь, и звенит с тех пор.

О сварщике Солоухове шептались не больно весело.
А кто его видел спящего? Не даром же – полубог.
До хрипа он спорил с духами, до боли любил профессию
и, знаешь, всю жизнь выращивал смородину вдоль дорог.

———

ВЛАДИМИР КЕТОВ

Германия

СТАРИЧОК

У избушки старый скат набекрень
И окна подслеповатый зрачок.
И сидит перед окном целый день
Тихий маленький сухой старичок.

Небо в стёклах отдаёт синевой,
Раму держит проржавевший крючок.
И, по-моему, там нет ничего –
В той дали, куда глядит старичок.

Полколодца, да берёза, да сруб –
Перспектива коротка и близка.
Нет дремать под телевизор ему б.
Что же держит у окна старичка?

Что он ищет там вдали, за рекой,
Раз не видно ни тропы, ни реки?
Что, от солнца заслоняясь рукой,
Видит там из-под бесплотной руки?

Может быть, когда и я у окна
Разберусь, куда глядеть и на кой…
Но пока ещё дорога длинна –
В обе стороны кручу я башкой.

Не дорос ещё до мудрости той –
То ли молод слишком я, то ли глуп, –
Чтобы видеть тихий свет за рекой,
А не дерево, колодец и сруб.

И не врежутся мне в память пока
Ни стекло, что небу в цвет синевой,
Ни тропинка через луг, ни река,
Ни случайный огонёк за рекой…

…Нас по миру разметают года,
Не считаясь ни с добром, ни со злом.
А когда вернусь случайно сюда –
Не увижу никого за стеклом.

Заколочено крест-накрест окно,
Отвалился почерневший крючок…
Так что будет мне узнать не дано,
Что он видел там вдали, старичок…

—

МАРИНА ПОНОМАРЁВА

Москва

НЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ НЕБЕСНЫХ

Поговорим с тобой, как прежде!
Не без посредников небесных.
Послушай, папа! Мне здесь тесно…
Я вечно застреваю между
Тугим космическим пространством
И старой брошенной кофейней.
Где запах пряно-бакалейный,
Похож на детское жеманство.
Он проникает сквозь мембраны
Хрущёвок блочных и панельных.
В него ныряю как в безделье,
Не детские врачуя раны…

Когда уходят на Пасхальной[1],
То в храме говорят: «счастливый».
У счастья этого кандальный,
Железный привкус, точно сливы
Впитали вкус солёной крышки…
Того, последнего варенья,
Что ты закрыл. Его излишки
Я раздарила.
Липкой ленью
Меня советский манит город.
Сбежать сюда малейший повод
Использую. Чтоб по бульварам
Бродить. Всё те же «Промтовары».
Фонтаны в желтизне акаций!
Я, здесь, мелком испачкав пальцы,
Писала на асфальте «Ма-Па».
Пусть он не моден и обшарпан,
Засыпан крошкой антрацита,
Весь перештопан, перечитан
Наш общий город! Город Бога.
Я, папа, ошибаюсь много…
Но поднимая взгляд на небо,
Где клёны, абрикосы, верба
Врастают в точку невозврата,
Где жизнь пока что не измята,
Я улыбаюсь…
Знаю – слышишь!
Ведь Бог качается на вишне,
Пасёт гусей в соседней балке
И рвёт за церковью фиалки.
А после греется на крыше.
…Слабеет голос мой охрипший.
А в небе – точка невозврата
Горчит и жжётся, точно мята.

---

[1] Пасхальная неделя.

«ГОРИЗОНТ»

«45-Й КАЛИБР» В СТРОЮ

От редакции: Южнорусский Союз Писателей и журнал «Южное Сияние» уже не первый год являются партнёрами ежегодного международного поэтического конкурса «45-й калибр» имени Георгия Яропольского, организованного Международным поэтическим интернет-альманахом «45-я параллель» под руководством Сергея Сутулова-Катеринича (Ставрополь). Из года в год «ЮС» посвящает свои страницы победителям и лауреатам конкурса. В 2020 году победителями были названы Полина Орынянская (Балашиха) и Владислав Пеньков (Таллин), а лауреатами – Геннадий Акимов (Курск), Светлана Ахмедова (Воронеж), Дина Березовская (Беер-Шева), Евгения Босина (Нагария), Никита Брагин (Москва), Юрий Глухов (Москва), Елена Дорофиевская (Вышгород), Виктория Качур (Москва), Виктор Кудрявцев (Рудня Смоленской области), Виталий Мамай (Гель-Авив), Пётр Матюков (Бердск), Мария Перцова (США, Кемпбелл), Полина Потапова (Челябинск), Сергей Сапронов (Москва), Елена Уварова (Москва), Мария Фроловская (Москва). Стихотворения пяти авторов мы публикуем в «Южном Сиянии».

ПОЛИНА ОРЫНЯНСКАЯ

Балашиха

ТЫ ПОМНИШЬ?

Когда в окно из глубины
вплывают крошечные звёзды,
и до луны и тишины
щекой дотронуться так просто,

я слышу, как на том краю
лиловой нитки горизонта
сверчки мелодию свою
твердят бессонно,

и от Кавказского горба
бежит, торопится и вздорит
зеленоватая Лаба
средь зеленеющих нагорий.

В ней и снега, и дождь, и жар,
и холод каменных преднебий.
По берегам её лежат
и не оспаривают жребий

обломки древнего хребта,
мельчая до песочной пыли,
молчат, изверившись шептать:
мы тоже были…

И там, где лунная ладья
пристала к горному причалу,
и ветки тонкого литья
дрожат устало,

а мотыльки в твоём окне
тревожно отбивают полночь,
ты тоже помнишь обо мне.
Ты помнишь?..

МАЛИНЫ

Небесная нибениместная
тугая птичья недотишь.
Вот так закинешь пледом кресло
и целый август просидишь.

И будет дождь. Ах эти бусины,
на чёрных ветках бубенцы…
Как сладко нянчить послевкусие
июльской солнечной пыльцы

и днями сонными и длинными
(а есть у жизни смысл иной?)
тебя туманными малинами
кормить из кружки жестяной.

А там и лето подытожится.
Шагнёшь – остылая земля.
И солнце розовую кожицу
за лесом скинет на поля…

ЗАБОР

Здесь был забор. За ним дичалый сад.
И летом пионеров-октябрят
пасли в саду вожатые с завода.

А с этой стороны был дом и двор.
Мы на него смотрели сквозь забор.
Там был июнь. И там была свобода.

Мы знали все лазейки и ходы,
но толку? Ни туды и ни сюды…
Мы не любили лагерной еды
из заводской столовки номер восемь.

Но нас водили парами туда.
Мы по пути сгорали от стыда,
встречая вольных со двора.
Небось им,

безгалстучным, бездомным, деловым
и пыльным от носков до головы,
казалось, что мы маменькины детки.

И мы-то знали: это всё не так!
Но знаменосец нёс в столовку флаг
на пластиковом древке.

Мы тихо бунтовали в тихий час.
Вожатые наказывали нас,
в одних трусах поставив в коридоре.

Грозили, что поставят без трусов.
Завод гудел, и маму в пять часов
мы ждали, повисая на заборе.

Я не скажу, что мучилась тоской,
когда снесли наш лагерь городской
(в миру – вечорку для пролетарьята).

Всю жизнь я не любила тот забор.
А сад не забываю до сих пор –
там было дички в августе богато.

БОСОНОЖКИ

Сняв босоножки,
подхватив их рукой,
я иду по дорожке
над прозрачной рекой,

над пучками осоки,
над горбами камней,
и стрекочут сороки
чёрт-те что обо мне.

Мол, от девочки той-то
не осталось следа.
Чтой-то?! – выкрикнет сойка.
Та же, просто седа.

Шлёпнут рыбы хвостами,
распугают мальков…
Это штука простая,
человек – он таков:

вместо веры – надежда,
вместо вечности – срок.
Он становится прежним
через тыщу дорог.

Отпускает печали,
смотрит вслед с-под руки…
И снимает сандалии,
чтоб пройти вдоль реки.

СОБАКА

Что знает собака о смерти? Что смерти нет.
Есть одуванчики, снег, прелые листья.
Так будет всегда – у собак не бывает лет.
И это важней человеческих истин.

Что знает она о любви? Что любовь проста:
будь рядом, облизывай руки, сопи под боком,
помахивай закорючкой хвоста
и жди у порога.

Что знает собака о боге? Что он придёт
всегда, даже если ушёл от неё надолго.
И я бы хотела, ты знаешь, вот так же вот
верить и в жизнь, и в любовь, и в Бога.

ЕВГЕНИЯ БОСИНА

Нагария

Я УЧИЛАСЬ ТРАВЕ

Я учился траве…
А. Тарковский

Я училась пустыне,
хамсину, жаре,
воспалённым ветрам,
обречённости рек,
я училась тоске
проливных январей,
золотистым глазам
неизвестных зверей,
незнакомой луне
на чужих небесах
и цветку на скале,
и песку на зубах.

Что ни день, что ни ночь –
за уроком урок,
за печалью печаль,
за ожогом ожог.
Чем сильней обожгло,
тем больней полюби
этот гибельный зной,
этот чахлый люпин,
этот шорох песков,
этот шёпот дерев,
что куда-то летят,
от тоски одурев…

Значит, быть посему,
значит, жребий такой:
в ученицах ходить
до доски гробовой.

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Если утро знобит, если тучи плывут на закат,
всё безжалостней свет, всё целебней и надобней темень,
если строгой рукой передвинуты стрелки назад,
это значит, душа переходит на зимнее время,

это значит, что ночь подползает всё ближе.
И в шесть
обступает совсем – так неслышно и так незаметно…
Что ты знаешь, душа, о мгновенно темнеющем «здесь»?
Что ты помнишь, душа, о краях ослепительно-летних?

Чтоб ни помнила ты, забывай, забывай, забывай!
Чтоб ни ведала ты, а случится страшнее и проще:
ускользающий взгляд, громыхающий стылый трамвай,
на любимом лице чей-то белый по белому росчерк –

это знак тишины, знак грядущих сквозных декабрей…
Ты не бойся, душа, так однажды бывает со всеми:
громыхает вагон, и огни – всё быстрей и быстрей,
и знакомая тень – в переходе на зимнее время.

МУЗЕИ, КАМЕННЫЕ ЛЬВЫ

Музеи, каменные львы,
скамейки, улицы, трамваи,
фонтан…
А жители – мертвы,
но только этого не знают.

Обычный город: склад, вокзал
и хмурый скверик у вокзала…
И – никого, кто б им сказал,
что город есть, а их не стало,

застрявших – в вечном январе,
где время скомкано и сжато,
в кротовой чёртовой норе,
в петле, затянутой когда-то…

И я, похоже, в том краю,
я с краю – с ними и не с ними,
спешу куда-то, говорю
с другими, вроде бы живыми.

И было так, и будет впредь –
трамваи, сквер, кусты, качели,
и всё, что нужно –
помереть,
чтоб стать живой на самом деле.

ЭТО ПРОСТО ВДАЛИ…

…ибо ничего нет на свете труднее любви
Г.Г. Маркес. «Любовь во время чумы»

Это просто вдали, за печалью холма,
просыпается тьма и глядит, не мигая.
это – просто любовь, это – просто чума,
и поди разбери, где одна, где другая.

То ли свищет чума, то ли хлещет любовь:
та же белая стынь, те же чёрные воды,
те же признаки, свойства, и ужас, и боль,
и горячка, и бред, и летальность исхода,

так же будет кружить по пустым небесам,
и чадить, и слепить воспалённое солнце…
От чего помереть, каждый выберет сам:
от одной ли, другой, но никто не спасётся,

потому что горит жёлтый флаг над кормой,
и относит слова налетающим ветром,
и плывёт в темноту наш кораблик чумной,
и сливается с ней, и становится светом.

ОДНАЖДЫ

На прибыль – свет, и жизнь идёт на прибыль,
и, выдыхая, произносишь: «Амен!».
А по небу плывёт большая рыба
и воздух рассекает плавниками.

И маленькая рядом, чуть повыше,
в серебряных чешуйках ли, колечках,
о чём-то говорят, но мы не слышим,
и взгляд у них не рыбий – человечий.

Они плывут по сини первозданной:
большое слово, маленькое слово.
Ты думаешь: – Как всё же это странно!
Я думаю: – И что же тут такого?

Ну, рыбы, ну, плывут… Другое важно:
таким же днём, звенящим и зелёным,
мы тоже проплывём с тобой однажды
над кем-то бесконечно удивлённым.

ПЁТР МАТЮКОВ

Бердск

***

ещё одна примета века
непредсказуемый разбег
фонарь находит человека
на длинной улице аптек

такой невыносимо тусклый
на белом свете жёлтый свет
такой невыразимо русский
в сугробе белом красный снег

ночь улица горит аптека
выходят люди со двора
и ты гадаешь есть ли где-то
Раскольников без топора

***

мы взяли четверо лопат
и вышли со двора
я поведу тебя копать
сказала мне сестра

сначала мы зароем гроб
что выставлен как есть
и горсть земли мы бросим чтоб
традиции учесть
но утром выроем назад
обратно отнесём
поскольку дети октябрят
согласны не во всём
мы будем рыть копать скрести
пенять своей судьбе
о Господи таких спасти
под силу лишь тебе

***

мой папа рашен и мама рашен
мне волк не страшен
медведь не страшен
пинаю репу брожу меж пашен
где нет ковбоев и папарашшен

мы дружелюбен поскольку люмпен
я змей не любим а кошек любим
блуждаю в вебе хозяин барин
и верим в небе живет гагарин

в высоком небе в глубоком белом
глаза и руки торчат из башен
и ты не хочешь но между делом
ты видишь это отсюда с пашен

***

он шёл по улочке кривой
и нёс в руках букет
и каждый встречный головой
косил ему вослед
и каждый думал боже мой
везёт а мне облом
и каждый встречный головой
ворочал как веслом
и кто-то в длинных каблуках
оценивал букет
а кто-то телефон в руках
сжимал как пистолет
а он идя не замечал
кому там и куда
он шёл
ромашками качал
и прыгал иногда

***

сторож Сергеев на кладбище
не кушает фуа-гра
сторож Сергеев на кладбище
представитель добра

хотя его упростил известный
некоторым
Гребенщиков
сторож Сергеев не слушает песни
временщиков

он выходит в ночное дежурство
сосредоточен и прост
перемещается шустро
между крестов и звёзд

чу
насторожилось ухо
дрогнули мышцы промежности
чу
переползает старуха
используя складки местности

и сторож Сергеев кричит старухе
товарищ умерьте прыть
не положено ползать на брюхе
а если станете рыть
не посмотрю ещё что вы пожилая
пальну вам солью на счёт
будете говорить жила я
неплохо
да дёрнул чёрт

копейка к копейке в кружке
с миру по кружечке
мелькает проворное тело старушки
скрипят зубы старушечьи
и никакого тебе ответа
полный игнор
и понимает Сергеев что это
не разговор

поди разберись чего она хочет
и для чего ползёт
и он скручивает старую скотчем
и в сторожку несёт
а в сторожке отдельные кладовые
из оцинкованного листа
для тех кто из-под звезды и
для тех кто из-под креста
и стоят со звёздами разные
и с орлами вразброд
слева белые справа красные
или наоборот
и стоят старые и молодые
и совсем без кокард
в лаптях
лохматые
или завитые
разные там стоят

и Сергеев смотрит на них без истерик
но морщится опять и опять
понимает что всё это не измерить
простым умом не объять
ставит старую в нужное место
достает айфон из штанин
записывает
неизвестно куда ползёт этот мир

———

ЕЛЕНА ДОРОФИЕВСКАЯ

Вышгород

ТЫ ДОЖИВЁШЬ ДО ДЕВЯНОСТА…

Ты доживёшь до девяноста, я приду
акации ломать в твоём саду,
жечь травы, чабрецам срывать меха…
У бога время в вечных должниках –
медвяный вечер будет лить гречишный свет
в твоих морщин тиснённые узоры…
Нет в памяти провалов – есть зазоры,
и, умещая в них и миг, и век,
ты станешь пуговку трепать на рукаве,
пока не обнаружишь, что разорван,
как ниточка, и сам… Вскипит гроза,
и, если слёз не спрячешь – прячь глаза,
…и громыхнут ругательства, и стёкла
на окнах звякнут, маятник дамоклов
обяжет стрелки ринуться назад –
на запад, в западню, и на авось –
в сегодня, что уже оборвалось.

СОЛНЦЕ НА ПРИЧАЛЕ

Как идёт тебе это солнце, выползающее на причал,
всё к лицу – и сомнение пастора, и сознательность палача,
так пришла к тебе я, чуть живое своё избранничество волоча –
голос создан тобою, словом твоим зачат.
Так держи же меня под рукой, чтоб выглядывала из-за плеча,
будто смятый значок параграфа, тоненькая свеча.
Ну какой же я, к черту, светоч, какой из меня очаг?
Если этот огонь убивает – лучше бы зачах.

И молчу, обращаясь к солнцу ли, к тебе я,
а большущее небо прозрачное битый час
непрощающе и расточительно голубеет.

НОЧЬ ПО РЕКЕ КОЧУЕТ…

Ночь по реке кочует.
Иди сюда,
избегая потока назойливых жёлтых фар.
Тонкая заболоченная слюда
сдержит, волнуясь, любой световой удар.

…два гудка – две шестнадцатых – к черту бемоли – фа –
и река подбирается к горлу.
И вдруг вода
отделяет тебя – от города – плоть – от гор,
обирает, как самозванца бездушный вор.
Смерть чужая – такая же, как твоя,
и любовь-не-любовь – такая же, как твоя.
Всё решают на небесах – почти произносят да,
но сворачивают разговор.

КОГДА ИЗ МАКОВКИ ПРОСЫПЛЕТСЯ ЗЕРНО…

Когда из маковки просыплется зерно
на дно тумана,
ты услышишь всплеск.
И коротко вздохнёт сосновый лес,
и лесу станет страшно и темно,
и странно.

Здесь высокая трава…
Какая тишь здесь – вещая, пустая:
вот наберёшь тумана в рукава,
а через час, гляди, рукав растаял.
Туман – твой спутник, пастырь и двойник,
теряй в корчах изношенные кеды,
касайся мхов, – лови его, исследуй
пока не растворился и не сник…

Во время вод и ступ
слепые звёзды катятся на стук,
ломаются о розовые чаши,
сосновые бессонницы растут
из влажной хвои в непролазной чаще.
Так, босиком,
неверная жена,
иди по травам, сбрасывая схиму:
покрыты манной, трутся жернова
несовместимых…

……..полночь у костра,
где в котелке заварен крепкий страх,
кипит вода и вертится душица,
а рядом, в капле клеверной росы,
хлеб увеличен, и овечий сыр
безликой бледности перед огнём стыдится.

Пусть не хватает воздуха и рук,
пускай с лихвой молчания и дыма,
туманом не объята –
об-хо-ди-ма
вокруг.

О БЕРЕГАХ

давай поговорим о берегах,
которые не будут нам по вере:
там жёлтый вечер и лиловый вереск,
и старые ботинки на ногах…

…а завтра в каждом городе чума,
короста, лепрозории и танки.
глядит сквозь линзу трёхлитровой банки
кудесник и злодей аллан чумак.
и липнут пальцы к буквам да тире –
над горизонтом солнце в белой марле.
наш карантин куда похуже травли:
я не права, скажи мне,
ты не прав ли,
что к черту бьётся древняя тарель,
кромсая горизонт?
ага, ага…
давай молчать об этих берегах.

———

СЕРГЕЙ САПРОНОВ

Москва

ТРЁХСЛОЙНОЕ

Он шагом шатким шуршит об лёд
По водосводу подмёрзшей толщи.
Для понимания рыбам проще
Считать, что по небу он идёт.

Из ржавых бочек и якорей
Ему воздвигнут сырые храмы.
Притащат в храмы мольбы и драмы
И свалят в кучу у алтарей.

А он с рыбалки идёт по льду,
В бидоне плещутся рыбьи души.
Фигура с крыльями в небе кружит,
Перекрывая собой звезду.

ПЛАЦКАРТ

Пропахший шаурмой ночной состав
Небрежно отвалился от перрона,
Застёгивая молнию путей
На впалых рёбрах деревянных шпал.
Пополз пейзаж невзрачен и трухляв,
Как очередь за счастьем по талонам,
Избавив от непрошеных гостей
Запутавшийся в проводах вокзал.

В вагонах пухнет коммунальный быт
И полумат дорожных разговоров.
На стыках чайных ложек перезвон
Под форте храп и модерато дым.
Пытаются принять приличный вид
Накрашенные прелести заборов.
Хрипит из репродукторов шансон,
И «Мурка» выдаёт себя за гимн.

Луна, как непроспавшийся суфлёр,
Заглядывает в форточку плацкарта,
А полуразложившийся пасьянс
Трико, газет, поклажи и белья
Привносит дополнительный хардкор
На сцену захолустного театра,
Прокуренно-чесночный декаданс
Передвижных фрагментов бытия.

РАССКАЗЫВАЙ

Ну, давай, продолжай, рассказывай
На каком-нибудь суахили.
Непонятые звуки связывай
В экзотичное *жили-были*
Про лежащие чуть не в фокусе
Незнакомые мне края,
Под другой перфокартой космоса,
На чужой планете Земля.
Не спасёт монолог твой мимика,
Не поможет рассказу жест.
Не рассчитана эта лирика
На пришельцев из разных мест.
Но, давай, продолжай, рассказывай.
Пусть не станет доступней суть.
Мы и так тишиной наказаны.
Говори же хоть что-нибудь.

ОСТАНОВКА

Я был временно счастлив и взгляд отводил от часов,
Суеверно решив, что их бег не приносит покоя.
Порывался добытое счастье закрыть на засов,
Поместив под стекло отрывной календарь на обоях.

Только время, как пыль, проникает и в запертый дом,
Транспортир паутины небрежно к углам примеряя.
Укоризненно пальцем грозит на столе метроном,
И мелькают года остановками в окнах трамвая.

Остужает горячий рассудок ментол седины.
Попадают друзья в тараканьи ловушки рутины.
И щекочут в носу аллергены грядущей весны,
Вынуждая слезиться глаза без особой причины.

Счастье рвётся на волю сквозь рёбра из клетки души,
Тормозя на ходу аритмичный мотор миокарда.
Пассажиром случайно забывшимся к двери спешит,
Чтобы больше уже никогда не вернуться обратно.

ПЛАВНИКИ

Вот как-то смущают: обыденность счастья,
Наивность любви, безалаберность страсти
И ломтиков времени равные части
На блюде настенных часов.
Три разные стрелки мелькают кругами,
И в такт им пульсирует тень под ногами,
Сминая морщинами лиц оригами
На юных портретах отцов.

У времени нет реверсивного хода.
Иона стремится к святому аноду.
Ему напряжение дарит свободу,
Как водам бегущей реки,
Где каждой волне не вернуться к началу,
Пусть даже разбившись о сваи причала.
Лишь рыба в воде дальновидно молчала,
Себе отрастив плавники.

АРКАДИЙ КАЦ

ЕГО ИМЯ – ОДЕССА
воспоминания

Мне много лет.

Настолько много, что я помню довоенный город моего детства. Может быть, не следовало бы оповещать об этом человечество, но город этот – особый, известный всем. Его имя – Одесса.

Конечно, о ней столько писали – от Пушкина до Бабеля, – что вряд ли удастся сообщить что-либо новое. Просто это будут несколько строчек памяти и благодарности.

Одесса это заслужила.

Меня часто спрашивают, как коротали вечера, когда не было телевизоров, магнитофонов и пр. Сегодня это кажется чем-то противоестественным. Но те вечера таили в себе нечто большее, и люди были ближе друг к другу.

В нашем доме, благодаря матери, была особая атмосфера. В Одессе жила мамина сестра – Надя. Перед самой войной переехала в Одессу и старшая сестра Соня со своей семьёй. У меня были три двоюродных брата моего возраста – семи, восьми, девяти лет. И часто мы все собирались у нас. На столе был белый хлеб и много разного варенья. Пили чай, разговаривали. Сёстры, их мужья, мы, четверо братьев, и моя сестра умещались в небольшой комнатке огромной коммунальной квартиры. А после чаепития начиналось главное – пение. Это была замечательно талантливая семья. И каждая из сестёр могла бы сделать музыкальную карьеру. Домашние вечера иногда затягивались допоздна. И никто в огромном четырёхэтажном густозаселённом доме никогда не выказывал даже капли неудовольствия.

Больше того, соседи по коммуналке просили не закрывать двери, чтобы слышать пение. А летом были открыты окна, и во дворе всегда собирался десяток-другой пожилых людей, которые усаживались рядком на маленьких скамеечках, слушая этот домашний концерт.

Пели украинские, еврейские и молдавские песни, но чаще всего – русские романсы. Многие, спустя полвека, я помню до сих пор. Иногда пою их сам. Детская память – поразительное явление. Как много дали мне эти музыкальные вечера. Я их очень любил, и, кажется, только они могли тогда удержать меня дома. Моей страстью была улица.

Улица в те годы притягивала всех. Казалось, как только наступал вечер, в домах не оставалось никого. Дерибасовская и Преображенская площадь напоминали метро в час пик, а Пушкинская – первомайскую демонстрацию. Толпа текла на Приморский бульвар, к Потёмкинской лестнице и Воронцовскому дворцу.

А старики сидели, прислонившись к разогретым стенам домов, всё на тех же маленьких скамеечках и провожали глазами всех, кто шагал мимо, готовые вступить в беседу или дружескую перепалку с любым, кто желал состязаний и был при этом остроумен.

Записывать эти бриллиантовые диалоги бессмысленно. Импровизация и только импровизация были в цене.

В Одессе острили все.

Улица играла огромную роль в воспитании, иногда казалось, что каждого из нас воспитывали все. Не было тайн, все знали всё и про всех. Старших почитали. Обидеть старика – это было всё равно, что ударить лежачего.

Одесса прививала свой кодекс чести.

И ещё в Одессе не уставали строить коммунизм.

Так, для улучшения жизни во дворы с утра привозили на тачках (ручных тележках) горячий хлеб в специальных, сшитых самими жильцами, «торбочках» – так называли небольшие мешочки, завязывающиеся шнурками. На торбочках чернильными карандашами писалась фамилия. Одновременно во дворах появлялись молочницы, выкрикивающие имена постоянных клиентов.

Клич «Хлеб везём!» был сигналом. Из всех дверей вылетала стая мальчишек и девчонок, наполняя двор криками и энергией. Ведь надо было обогнать других и первым прибежать к развозчику хлеба или молочнице с зажатой в кулаке, обязательно без сдачи, приготовленной с вечера монетой или купюрой.

Одесса не любила ждать.

Далее можно было не торопиться и потолковать о важнейших делах грядущего дня. Но уже через минуту двор наполнялся криками мамаш, загонявших своих «паршивцев» (ласковое одесское слово) в дом, где их ждали со свежим хлебом. И чем громче кричали мамаши, тем медленнее отпрыски спешили домой.

Отламывая хрустящую корку дурманяще пахнувшего хлеба, они неторопливо продолжали «жующую беседу», возвращаясь по своим углам.

Одесса не любила торопиться.

Потом был общий выход на работу взрослого населения. Это тоже делали не торопясь, хотя знали, что опоздать на работу нельзя – за опоздание судили. Но дарить утренние, прохладные часы «этому государству» никто не желал. Поэтому выходили заранее – прогуляться, а потом, во второй половине пути, нагоняли время уже в трамваях. Конечно, можно было выйти раньше и, вообще, если недалеко, пройтись. Но как без трамвая?

Одесса любила клубную жизнь.

Одесский трамвай – это особый рассказ. Оставим его для классиков – одесский трамвай это заслужил, – я лишь скажу, что до сих пор уверен, что довоенный трамвай действительно был резиновый. Двери никогда не закрывались, люди ехали на ступеньках и буферах, висели на руках, держа ещё кого-то на плечах.

Надо учесть, что и тот, кто держался на ком-то, одновременно держал и того, кто примостился на его плечах. Висели и на окнах (они всегда были открыты): поджав ноги, можно было отлично ехать, отдыхая на остановках, и при этом быть уверенным, что твоё место никто не займёт.

Одесса уважала частную собственность.

У тех, кто на своих плечах вёз других, было одно несомненное преимущество – не надо было платить за проезд. Впрочем, и те, кто с трудом дышал внутри трамвая, тоже не спешил баловать трамвайное управление.

Одесса не платила из принципа!

Я уверен, что великая фраза: «Я этому государству ничего не должен» родилась в одесском трамвае. И так как кондукторы разделяли это мнение, они не особенно приставали.

Одесса воспитывала в людях солидарность.

Конечно, бывало, что в трамвае ехали и не одесситы, так вот они и пополняли казну трамвайного управления.

Одесса по этому поводу не возмущалась – она уважала свободный выбор.

Во время остановки отдыхали все. В том числе и трамвай. Но как только он начинал движение, все вновь бросались на свои места, и к ним присоединялись новые пассажиры. И вот, когда казалось, что трамвай должен развалиться, тут-то и рождались лучшие шутки Одессы, которые потом весь мир называл «одесскими хохмами».

Одесса умела веселить.

Впрочем, может быть, это и были часы свободы? Именно здесь, в одесском трамвае, люди постигали выношенную столетиями жажду свободы, равенства и братства. Ведь то, что здесь говорили, вися на плечах друг у друга, тянуло на многие годы пребывания в совсем иных местах, далёких от «чёрного-чёрного» моря.

Одесса в часы пик никого не боялась.

Часам к десяти утра с цеховыми песнями появлялись точильщики ножей, затем пели стекольщики.

И уж конечно, не было человека, особенно летом, кто не знал бы одну из самых знаменитых мелодий разносчиков воды: «Есть холодная вода, *кому* напиться воды холодной?» – вопрошали на каждом углу.

Ударение, и музыкальное, и смысловое, было точным – на слове «кому». Оно выкрикивалось изо всех сил и действовало незамедлительно. Стоило выкрикнуть «кому!», как срабатывал инстинкт, и кто-то в ответ кричал: «Мне!». Выпив тёплую воду из чайника, он платил свои три копейки, хотя рядом стоял киоск с действительно холодной газировкой, и стоила она одну копейку. Но мы жили в Одессе!

Одесса уважала предприимчивость.

Любимое слово одесситов было «богач».

При слове «богач», необходимо было закатить зрачки как можно выше, чтобы каждый мог догадаться, что богач где-то там, рядом с Всевышним.

Чаще всего это слово звучало в нищих кварталах окраин.

Легенд о богачах, особенно внезапно разбогатевших, было такое количество, что можно было издать антологию.

Но именно это слово имело тысячу оттенков и смыслов.

Например, проделайте такой опыт: приставьте к слову «богач» слово «тот». У вас получится «тот богач», а теперь сделайте ударение на первом слове «тот», и вы поймёте, что речь идёт о бедняке. А если вы в это время ещё опустите вниз правый угол рта и скорбно покачаете головой, вы поймёте, что речь идёт о последнем нищем. Но и богач, и нищий принадлежали городу.

Одесса ценила каждого из своих сограждан.

Одесса никогда не клялась Богом.

Поэтому на требование: «Побожись!» всегда следовало: «Чтоб я так жил!».

Одесса не то что бы верила, но, на всякий случай, побаивалась Бога.

Есть знаменитые улицы, скажем, Бродвей. Но, обратите внимание, любой уездный город свою главную улицу зовёт Бродвеем. Можно ли представить, чтобы любой другой город имел улицу Дерибасовскую? Никогда! Она неповторима. И когда советская власть попыталась переименовать её в улицу Чкалова, Одесса была бескомпромиссна.

Одесситы уважали лётчика Валерия Чкалова, но слово «Чкалов» было вычеркнуто, забыто, его просто не существовало. И пришлось вернуть городу имя чужестранца.

Одесса была упряма.

И всё же слово «Дерибасовская» имело один недостаток (здесь Де Рибас сплоховал). В нём не было главной буквы одесского алфавита, буквы «ш»!

И тогда улицу стали ласково называть: «Дерибабушка».

Одесса не знала безвыходных положений.

В Одессе междометие всегда было важнее слова. А ленивый одессит вообще мог говорить одними междометиями.

Одесса не считала лень признаком дурного тона.

Запах жареной рыбы был так же естествен, как запах акаций, которые росли почти в каждом дворе.

Хотя жили в общем трудно, летом рацион был обилен. Знаменитый Привоз был забит овощами и фруктами. Рыбой, казалось, торговал весь город. Особенно дёшевы были «бычки». Их продавали прямо на улицах.

В урожайный год овощи не успевали распродавать. Помню лето, когда помидоры стоили три копейки. Продавцов держать было невыгодно, и тогда около овощных магазинов поставили столы, весы и кружки. Каждый желающий выбирал помидоры, взвешивал и бросал деньги в кружку. Никто не обманывал.

Одесса ценила доверие.

Одесса считала себя суверенным государством – парламентской республикой, что давало дополнительное право для самоуважения. Парламентские дебаты проходили везде: на бульварах, в скверах. Но центральным местом была Преображенская площадь. Там и выяснялось, насколько сложное дело – федеративное устройство.

В конце концов, если одессит не был поэтом или музыкантом, он мог быть только политиком.

Одесса – родина демократии, это вам каждый скажет.

Тайн не было. Да и не могло быть. Все окна были открыты и днём и ночью, и то ли это было предусмотрено архитекторами, то ли предопределено самим составом одесского воздуха, но каждое слово, сказанное в комнатах, отдавалось эхом в других квартирах. Возможно, мог спасти шёпот, но в Одессе, как известно, шёпотом говорить не умели, поэтому даже интимные подробности были достоянием Дома.

Самые большие секреты сообщались из окон дворовых колодцев. Усиленные эхом, они звучали особенно интимно. При этом соседка, живущая на втором этаже, сообщала соседке с пятого этажа, что об этом никто не должен знать. Ответная клятва давалась немедленно.

Одесса никогда не говорила: «Обещаю», всегда – «Клянусь!».

Конечно, до войны вся страна жила в коммуналках. Но Одесса – особый случай. Были московские коммуналки, были питерские… В Одессе коммуналка – не квартира, а весь двор. Причём дворы были обширны, вымощены, в центре – либо фонтанчик, либо колонка с водой, почти везде – скверик, где росли деревья, чаще всего акация и шелковица с вкусными ягодами. И ещё в каждом дворе был свой клозет. Сочетание хлорки и акации создавало особый аромат, а туалет – удобства, неведомые нынешним гражданам. Ведь туалеты принадлежали не только жильцам, но и любому прохожему.

Одесса умела решать проблемы.

Впрочем, гражданам Одессы принадлежало всё: природные богатства, архитектурные совершенства. Лучшая в мире улица, названная в честь лучшего поэта – Пушкина, неповторимая Потёмкинская лестница, Приморский бульвар и Воронцовский дворец.

В Одессе лучший в мире оперный театр.

В Одессе впервые в России зажгли электричество, первые трамваи тоже пошли в Одессе. Об этом и многом другом вам расскажет любой одесский босяк.

А шум прибоя лучшего в мире «чёрного-чёрного» моря, тени гигантских платанов, «шаланды, полные кефали», неповторимый перестук женских каблучков, неповторимый потому, что только в Одессе тротуары имели в центре пешеходную тропу, мощённую отполированными и блестящими тёмными греческими плитками. А каблучкам аккомпанировали цоканье копыт пролёток, свист кнутов и грохот телег одесских биндюжников, никуда не спешащих вместе со своими умными лошадками, которые знали дорогу сами, а если вдруг запамятовали что-либо, биндюжник, ласково матюгаясь, поправлял их. Часто рядом с телегой по булыжникам мостовой шёл знакомый возницы, и они мирно беседовали, не стесняясь в темах и выражениях. Да и нужно ли было торопиться, если весь город принадлежал им.

Только здесь вы могли встретить самоуважение, не переходящее в чванство, и остроумие, не унижавшее себя до зубоскальства.

Одесса имела, чем гордиться и поэтому никому не завидовала.

Почти вплотную к Потёмкинской лестнице с начала века трудился фуникулёр (для непосвящённых – маленький трамвайчик, который при помощи троса то поднимал, то опускал немногочисленных пассажиров).

И любой одесский пацан, не задумываясь, отказывался от мороженого, чтобы за пятачок прокатиться в порт. Какому уроду пришла мысль уничтожить этот великий одесский памятник, сказать трудно, но уверен: с гибелью нашего трамвайчика начался распад города.

Одесса этого не простила.

Я уже говорил, акация в Одессе росла в каждом дворе. В нашем она была выше четвёртого этажа. Я был ловок и лёгок, поэтому любил взбираться на верхотуру и там раскачиваться на наиболее тонких и потому самых подвижных ветвях. Из всех окон высовывались соседки, которые поднимали такой крик, что немедленно появлялась мама.

Пока она сбегала с четвёртого этажа, я или успевал спуститься вниз, или прыгал на крышу, которая была рядом, а оттуда – на чердак. Проделывал я это часто, пока однажды не увидел стоящую у дерева плачущую маму. Это на меня так сильно подействовало, что, наверное, именно с этого дня я абсолютно не выношу женских слёз. Но по деревьям даже сейчас люблю лазать.

Когда начинался купальный сезон, для мамы наступали кошмарные дни. Я исчезал с утра и возвращался под вечер. Во время войны, перед отступлением немцы взорвали порт. Был взорван и мол – единственный путь к стоящему далеко в море маяку. Мы добирались до него, переплывая зияющие провалы. И где-то рядом с ним располагались на раскалённых плитах каменного островка двенадцатилетние угольки. Солнце мы любили, хотя даже нас, бывало, оно «доставало», тогда, лениво перекатываясь, мы падали в море. По сравнению с каменной жаровней, оно всегда было прохладным.

И ещё мы любили нырять. На счёт – кто больше времени проведёт под водой. Победившему придумывался приз. Ценность приза значения не имела. Значение имел «принцип» (одно из любимых слов Одессы).

Селились мы всегда небольшими стаями. И никогда не ссорились. Улица на улицу – всегда, двор на двор – дело обыденное, а вот у моря – такого не помню. То ли оно примиряло, то ли мы подсознательно чувствовали, что бархатное море несёт в себе тайну и опасность. В глубине души мы боялись его. Любили и боялись. И если море было в плохом настроении, мы его покидали. Но в моё благоразумие мама не верила, и я часто заставал её на углу, поджидающей меня.

Детство – самая далёкая и самая ясная часть воспоминаний, хотя она чрезвычайно мозаична.

Как писать об отце или матери? Это непросто. Не потому, что пишешь о самых близких людях, а потому, что когда пришло время понять их, оказывается, не знаешь их по-настоящему.

Сегодня всё решают обрывки воспоминаний, пропущенные через самопознание, – такими, какими я их помню в моём сегодняшнем возрасте. И другого пути нет. Но тут наверняка кроются ошибки: какая-то часть меня и есть они, то есть мать и отец, но есть и иная моя часть, в чём-то полярная.

В любом случае всё равно не избежать ошибок, домыслов, невольных фальсификаций, поэтому лучше пусть будут обрывки, даже не поддающиеся расшифровке, авось сложатся в нечто цельное.

Иногда мне кажется, что я помню мать ещё с тех пор, когда был её частью. Я чувствую руки, тепло. Очевидно, это оттого, что она знает, как сделать, чтобы мне было хорошо и покойно. Ведь мать успокаивает и гладит саму себя, я ещё часть её.

Помню запах. Это, очевидно, оттого, что она кормит меня.

А уж потом глаза. Она смотрела сверху вниз, подолгу вглядываясь в меня, её губы всегда шевелились. Думаю, она молилась.

В самом раннем возрасте у меня часто бывали сильные головные боли. Помогали только мамины руки: буквально за несколько минут боль прекращалась. Когда я болел, стоило ей сесть рядом – мне становилось легче. И только приходится удивляться, отчего, чуть повзрослев – ещё ходил в детский сад, – я стал стесняться её. Никогда не позволял сопровождать меня. Из домашнего ребёнка я превратился в достаточно агрессивного дворового шпанёнка. Вообще влияние улицы на меня было велико.

И ещё я рано стал понимать, особенно во время войны, что мама – «с характером». И если ставила перед собой цель, то всегда её добивалась.

Она не получила никакого образования, но Бог наделил её великим даром: дал замечательный голос.

Голос был настолько хорош, что её без образования приглашали в консерваторию (в 1920-е годы такое было возможно). В том, что она отказалась, по-моему, не лучшую роль сыграл отец. И мать эту обиду помнила.

Подумать только! Мы живём в XXI веке! А ведь отец родился в девятнадцатом. И сразу начинает казаться, что срок жизни человека не так уж мал. Да и что только ни выпало на долю этого поколения.

Черта осёдлости, погромы, Первая мировая война, революция, Гражданская война, нэп, голод, репрессии, сталинские лагеря, Великая отечественная, гетто, гитлеровские концлагеря, газовые камеры, послевоенные лагеря и, наконец, распад империи.

Вот такой век и такова цена одной человеческой жизни.

Отец, как и мать, вырос в Одессе, на Молдаванке, и вполне мог пополнить ряды бабелевских героев, но судьба распорядилась по-иному.

Мой дед Исаак, ремесленник-портной, добился того, чтобы старший сын получил образование. Отец обладал немалыми способностями и с отличием окончил Одесское коммерческое училище, кстати, в те же годы, что и Исаак Бабель.

[…]

Больше всего сегодня я сожалею и винюсь перед отцом, что никогда и ни о чём его не расспрашивал. А он был не из разговорчивых. Наверное, поэтому я так мало знаю о нём. Кое-что знаю от мамы, от сестры, которая значительно старше меня, и, как ни странно, от сына. Внуку, который оказался любопытнее меня, он всё же кое-что рассказать успел. Я же отчётливо его помню гораздо позже, чем мать. По-моему, я его побаивался, хотя он никогда не повышал голоса. За все довоенные годы в памяти остались только считанные эпизоды, когда я оказывался наедине с ним. Но если он брал меня с собой, обязательно тащил в какое-то кафе, где покупал сласти. Наверное, в его представлении это было важно для меня.

Память подбрасывает лишь отдельные моменты. С годами, когда я чаще стал думать об отце, этих эпизодов становилось больше.

Отец никогда не болел. За долгую жизнь не пропустил ни одного рабочего дня и десятилетиями не менял привычек.

Вставал без будильника ровно в шесть утра. Делал зарядку. Мы жили в огромной коммуналке, и благодаря раннему вставанию, он успевал на кухне бриться, по пояс умываться ледяной водой (горячей воды совсем не было), сам готовил завтрак, обязательно самолично ежедневно гладил рубашку и галстук.

К восьми часам отправлялся на работу. Обедал дома и всегда ложился «на десять минут». Ровно через десять минут вставал и снова отправлялся на работу.

Профессиональный авторитет у него был огромный.

Наверное, поэтому его с трудом отпустили на пенсию, когда ему пошёл восьмой десяток. Он заведовал отделом госдоходов одесского горсовета, и не было случая, чтобы город не перевыполнил план.

Дома он мало разговаривал, любил читать. Эту привычку сохранил до конца дней. Я мало что знаю об их взаимоотношениях с матерью, несмотря на то, что жили все четверо в одной комнате. Он очень любил сестру. Она его обожала и, когда уже была десятиклассницей, часто уговаривала прогуляться с ней. Он был очень красив, и она «задавалась», идя рядом с ним.

Только один раз он позволил себе крикнуть на мать, но и я, и сестра были на его стороне.

Когда началась война, в Одессе по-прежнему жили сёстры матери. Мужья их были на фронте. Отца тоже призвали в армию. Он был уже в форме и перед отправкой потребовал, чтобы вся семья эвакуировалась – горсовет предоставил такую возможность. Но мамины сёстры наотрез отказались.

Это вообще ещё не раскрытая страница – странное, только у евреев существующее чувство национальной сопричастности (выработанное двухтысячелетним изгнанием), которое бывает сильнее инстинкта самосохранения.

Ведь уже была не только Германия, изгнавшая евреев, – уже была Польша, которая не оставила никаких сомнений и надежд. И всё же наша семья стала ещё одним подобным примером.

Отец настаивал на отъезде, мама заупрямилась: «Надо, “как все”». Мы с сестрой стояли рядом, и даже я понимал, что аргументы отца неоспоримы. Но и характер мамы был особый – она не любила менять решений.

Отец настаивал: «Вас отправят сначала в Астрахань, потом в Сталинград». И мать сказала: «А если немцы дойдут до Сталинграда?».

Впервые в жизни я увидел кричащего отца: «Дура! Это конец!».

И мать оказалась не дурой, и Сталинград не стал концом, но крик подействовал.

Во всяком случае, вместе со всеми семьями горсовета нас погрузили на сухогруз, который назывался «Ташкент». Поздно вечером мы отплыли из Одессы.

Я помню первую ночь на судне. Капитан потребовал снять всё белое: одежду, косынки. Ворчанье пассажиров быстро закончилось, когда в темноте раздался гул самолётов, летящих бомбить Одессу. Корабль лёг в дрейф. Всех загнали в трюмы. Вышли оттуда только утром.

Так мы оказались в эвакуации. А три моих брата и мамины сёстры погибли в гетто. Их мужья были убиты на фронте. И ещё один мамин брат, из Ленинграда, не пережил войну. От огромной семьи не осталось никого… Исчезали семьи, поколения.

Здесь стоит остановиться и сказать несколько слов о семье матери.

Дед мой – его звали Пантелей, для еврея с Молдаванки имя странное, – был один из славной армии одесских биндюжников, ломовых извозчиков.

В довольно молодом возрасте он внезапно исчез, оставив жену с пятью детьми. Старшему, Соломону, было пятнадцать лет. Бабушка, оставшись одна, работала швеёй, и, естественно, Соломон тоже стал работать. Вдвоём они содержали совсем ещё маленьких сестёр и брата.

Дальше стало совсем худо.

Во время еврейских погромов молодёжь сообща защищала свои дома. И Соломон был в их числе. Он пошёл в отца, сильный, дерзкий, и случилась беда. Местный городовой на глазах у всех избил парня. На другой день ночью Соломон подстерёг обидчика, сбил с ног, снял с него сапоги, шапку, забрал оружие и исчез. Навсегда.

Может быть, и не стоило рассказывать об этом, но история имела продолжение.

Это было, если не ошибаюсь, в 1946-м году. Однажды я, открыв почтовый ящик, увидел конверт с иностранными марками. Письмо было адресовано маме, причём на конверте стояла двойная фамилия Кац-Нахтман (Нахтман – девичья фамилия матери). Это было письмо от дяди Соломона. Он жил в Нью-Йорке и был главным раввином синагоги. У меня это уж совсем не умещалось в голове: герой, чуть ли не Желябов или Каракозов, и вдруг – раввин.

А через год пришло извещение, что Соломон Нахтман скончался. Так закончилась жизнь последнего маминого брата. Детей у него не было.

Со вторым дедом, Исааком, я встретился только однажды, мне было лет шесть-семь. Он приехал к нам из Винницы, где жил вместе с семьёй дочери. Пробыл у нас недолго, но я хорошо помню его и, когда смотрю на себя в зеркало, мне кажется, что сегодня я похож на него.

Особенно мне запомнился один день. Это было воскресенье, и дед повёл меня в клуб обувщиков на Пушкинской улице, который по странному совпадению размещался в бывшей синагоге. На утреннем сеансе показывали фильм «Праздник святого Йоргена». Я помню фильм чуть ли не по кадрам. Дед фильм не смотрел. Дед смотрел на внука, который так хохотал, что свалился со стула. (Должен сказать, что и в более зрелом возрасте со мной такое бывало, я так смеялся на спектаклях, что мог очутиться на полу.)

Кто знает, может быть, этот первый фильм, на который меня привёл дед Исаак, и решил мою дальнейшую судьбу. Во всяком случае, с этого посещения не было для меня большего наслаждения, чем смешить людей. И детей, и взрослых. По-моему, я иногда излишне досаждал им, но делал это от чистого сердца. В конце концов это привело меня в Одесское театральное училище. И хотя я сегодня стал чуть умнее, иногда посмешить очень хочется. Думаю, в моих спектаклях это заметно.

До войны у нас на стене висела довольно крупная фотография отца. Он был на коне, при оружии. Но сопоставить эту фотографию с тем человеком, которого я знал, немыслимо.

Это было из другого мира, я никогда не мог соединить того молодого с тем, каким я его знал: всегда аккуратно одетого, чисто выбритого, в накрахмаленной рубашке, застёгнутого на все пуговицы. Аккуратность эту он сохранил до конца дней.

Отец никогда не повышал голос. Я за всю жизнь не слышал от него ни одного совета как жить, как поступать. Когда меня исключили из школы, – это было в восьмом классе, – он и тогда разговаривал спокойно. Спросил, какую я хочу выбрать специальность – в то время открылись ремесленные училища. Когда мать запротестовала, объяснил, что совершенно не обязательно без способностей и желания иметь высшее образование. Когда же я довольно резко заявил, что сам решу, что мне дальше делать, он возражать не стал.

Один случай многое мне объяснил в отце.

Это было летом 45-го года, сразу же после окончания войны. Я уже говорил, что трое двоюродных братьев моего возраста погибли в гетто. Но у отца была двоюродная сестра, у которой было четверо сыновей. Я их плохо помнил, потому что все они намного старше. Трое из них погибли на фронте, вернулся только младший – совсем молоденький офицер, его звали Женей.

Жили они рядом с нами на Пушкинской улице. Был июнь или июль. Вечер жаркий, жили они на первом этаже, и, как принято на юге, окна открыты настежь. Нас было человек десять-одиннадцать. Кроме Жени, отца и меня, пацана, все остальные женщины. Праздник был невесёлый. Пили водку, поминали старших, не вернувшихся братьев, и вдруг в окне появились две рожи. «Жиды гуляют», – высказался один. Дальше произошло ужасное. Отец выхватил из кобуры, лежащей за его спиной, Женин пистолет и, не раздумывая, стал стрелять. Все оцепенели. И только мать подошла к отцу, забрала оружие, положила на место. Взяла отца за руку. Я пошёл за ними. По дороге все молчали. Больше об этом случае никогда не вспоминали. Вот тогда-то я понял, как непросто даётся сдержанность и как порой она бывает опасна.

[…]

Отец и мать были очень красивы, приходится только удивляться, в кого я пошёл!

Меня отец не баловал, зато сестру обожал. Мать, наоборот, любила меня самозабвенно. Позже я узнал причину, рассказала сестра: до меня родился мальчик, который умер.

Сестра Фрида была старше меня на девять лет, и мы не только нежно любили друг друга, но и часто ссорились, отчасти из-за моего вредного характера и положения младшего в семье. Но чаще всего из-

за её кавалеров. Они мне все не нравились. Теперь я думаю, что это было моё предчувствие появления «принца». И он действительно появился. Огромный, мощный, в тельняшке и форменке, с орденами и медалями. В 45-м это заменяло корону. Они с сестрой учились вместе в медицинском институте. Звали принца Григорий Замиховский. С тех пор они неразлучны. Гриша долгие годы работал главврачом им же построенной больницы. Сестра стала прекрасным врачом. В 90-е годы они эмигрировали. Сейчас живут в Израиле. Сестра неизлечимо больна.

Подтверждается моё понимание любви: это когда люди хотят вместе стариться. Недавно я позвонил, и Гриша мне сказал: «Жаль, что ты её не видишь. Она такая же красивая». Если бы это я прочитал где-то, подумал бы, что выдумка. К счастью, такое бывает. А ведь обоим далеко за восемьдесят.

После смерти матери отец стал чаще приезжать к нам. Когда ему исполнилось восемьдесят лет, мы отпраздновали это событие в Риге. Приехала сестра с мужем, было много наших друзей, звучали подобающие случаю тосты. Отец, как всегда, пил наравне со всеми, а когда пришло время расставаться, налил рюмку и пожелал: «Чтобы все присутствующие в восемьдесят лет чувствовали себя, как я». И каждый понимал, как хорошо сидеть за хорошим столом в кругу друзей, в хорошем костюме, в накрахмаленной, лично выутюженной рубашке, в модном галстуке, галантно шутить, а главное – пить умеючи, не пьянея.

Прошёл ещё год. Отец приехал погостить в Ригу. Однажды, поздно вернувшись и увидев свет в его комнате, я зашёл к нему. Он был накрыт всем, что оказалось под рукой, его бил озноб. Измерили температуру – за 40°. Он очень просил не вызывать «скорую». Я позвонил своему другу, врачу окружного госпиталя, Абику Кадишу. Тот сказал, что перезвонит через десять минут. За это время успел связаться с очень авторитетным в те годы врачом Латвии – Глезером. Дав устные рекомендации, пообещал, что они вдвоём приедут в семь утра. Я остался с отцом. Потом заснул, поставив будильник на шесть. Когда раздался звонок, я увидел сидящего у столика одетого отца. Он показал мне градусник. Температура нормальная. Тем не менее, я уложил его в постель.

Ровно в семь часов приехали врачи. Надо сказать, что полковник Глезер был не только доктором медицины, профессором, заслуженным деятелем науки, лауреатом Государственной премии – он был, как и многие врачи, заядлым театралом, не пропускавшим ни одной премьеры. По-моему, это сыграло определённую роль. Встретила его Райна, которая была известной и любимой актрисой, и он тоже начал немного разыгрывать роль известного эскулапа. Был неулыбчив, серьёзен. Долго и тщательно мыл руки. На погоны набросил белоснежный халат. На кителе выделялся лауреатский значок. Он поставил стул рядом с кроватью, достал свой нехитрый терапевтический инструментарий и приступил к допросу.

– Чем болели в последнее время?

– Ничем.

– Ну так уж ничем?

– Действительно ничем.

– Ну, а в более отдалённое время?

– У меня было крупозное воспаление лёгких.

– Крупозное? – подобие улыбки мелькнуло на суровом лице.

– Да, крупозное.

– И когда?

– Во время войны.

– Ну, прошло тридцать лет!

– Нет, это было в Первую империалистическую.

От хохота профессор чуть не свалился со стула. Абик громыхал.

– Таких больных у меня не было, – признался профессор.

Постепенно все успокоились.

Ничего угрожающего не нашли. Выписали лекарства. Дали рекомендации. Расстались мы друзьями.

Увы, приступы не прекращались. Больше того, они стали повторяться чаще. Исследования тоже не дали результатов. Диагноз поставила сестра. Позже он подтвердился. Эта была редкая болезнь – она называется «периодическая». Есть такая странная болезнь, ею болеют только армяне и евреи.

Ещё через год в возрасте восьмидесяти трёх лет отец умер. Умирал тяжело. Хотя к смерти был готов. Примерно за год до кончины вдруг сказал: «Мне пора». Я стал бормотать что-то общеизвестное и приторное. А он ответил просто: «Я устал».

Когда он умер, в ящике его стола лежало письмо ко мне и сестре. Как всегда, безукоризненно чёткое и грамотное. Он попрощался с нами и внуками. Здесь же был приложен список тех, кого надо пригласить на похороны.

До войны в Одессе понятие национальности не существовало.

Была одна национальность – одессит. Впервые слово «еврей» я услышал в Петропавловске, куда маму, сестру и меня переправили из Сталинграда. Первый год я не учился: стояли сильные сибирские морозы, не в чем было ходить в школу. Сидел в маленькой однокомнатной хибаре, куда нас поселили, и читал до одури. Сестра брала в библиотеке книги – ей было восемнадцать лет – и я всё подряд читал.

Пропустив четвёртый класс, я сразу же пошёл в пятый. В первый день моя соседка по парте сказала, что её дразнят, и она не хочет сидеть с евреем. Я собрал книжки и без разрешения пересел на заднюю парту. Учительница промолчала.

Когда я вышел после занятий, меня ждали все мальчики класса. Девочки наблюдали со стороны: меня собирались бить.

Но моё одесское происхождение сказалось немедленно. Я вынул из кармана чернильницу-непроливайку – люди моего возраста помнят, что это такое, – и с криком ринулся в самый центр группы. Все бросились врассыпную, а я, не оглядываясь, пошёл домой.

На следующий день повторилось то же.

На третий, во время перемены, ко мне подошёл мальчик из нашего класса. Его звали Боря Кучеренко. И громко потребовал, чтобы я сказал слово «кукуруза». При этом он старался картавить.

Через секунду он лежал на полу, а я мутузил его сверху.

Как ни странно, меня оттащили девчонки. Их вцепилось в меня человек десять.

После этого я собрал учебники и пошёл домой. Не успел пройти квартал, как услышал, что меня догоняют. Рядом оказался Борис Кучеренко. Он остановил меня, и передо мной первый раз в жизни извинились. Что это означает в одиннадцать лет, думаю, понимает каждый.

Так у меня появился друг.

И когда меня караулили мальчишки из соседних кварталов, собираясь по десять, а то и больше, человек, мы, вооружившись камнями, прорывались уже вдвоём.

Со временем многое уладилось, и меня признали. Особенно после одного случая.

Школ не хватало. Учились в три смены. Я – в вечернюю. Однажды после уроков всем классом пошли к однокласснику. У мальчика по фамилии Долиненко, кажется, у единственного, отец – паровозный машинист – был не на фронте. Мы забросили учебники и тетради к ним домой и стали тут же, на станции, играть в казаков-разбойников. Все хором предложили, чтобы водил я. Тут же решили, чтобы каждый, кто должен ловить, заходил в станционный, сбитый из досок сарай, чтобы не подсматривать.

Я шагнул в чёрную дыру и сразу услышал, как за мной захлопнулась дверь. Я было толкнул её, но понял, что меня заперли на засов.

Зачем они это сделали, я понял не сразу, но когда вгляделся в темноту – сквозь щели пробивались полосы света, – я увидел поленницу из голых окоченевших трупов, сложенных друг на друга.

Помню одно – я не испугался.

Почему – не понимаю и сейчас.

Я повернулся в сторону двери и постучал. Ответом было дыхание стоявших у дверей ребят.

Я спокойно и негромко объяснил, что мне не страшно.

По-моему, страшно стало им. Они тотчас отодвинули засов.

Играть больше не хотелось. Я спросил, кто это?

Долиненко ответил: чеченцы.

Уже потом, приходя к нему, два или три раза я видел, как вытаскивали мёртвых из теплушек, набитых людьми. Их гнали дальше, даже не давая похоронить близких.

Кто это забудет: чеченцы? ингуши? крымские татары?

В 1944-м году мы вернулись в Одессу.

Однажды ко мне обратилась девушка, представилась, назвав журнал, и задала модный тогда вопрос:

– Мы задаём вопрос для всех один: как вы заработали ваш первый рубль?

Девушка не знала, что я родом из Одессы, поэтому я поставил вопрос иначе:

– Спросите, почему я не чищу свою обувь?

Девушка не поняла.

– Потому что сапожник всегда ходит в стоптанных башмаках.

Не поняли? Чувствуется, что вы не из Одессы. Вам всё расскажи коротко и ясно. Ну что ж, коротко не умею, а ясно попробую. Представьте себе Одессу, Пушкинскую улицу, 1945-й год… Ах, вы ещё не родились? И в Одессе не были? Это плохо. А главное, уже непоправимо. Одессы нет. То есть она есть, но это уже другой город, и населена она уже другими людьми. Когда, спустя почти полвека после тех лет, о которых собираюсь рассказать, я вновь попал в родной город, то почти пожалел о поездке.

Разбился ещё один кувшин, может быть, самый дорогой и необходимый.

Я это понял в первый же день, когда мы с моим самым близким другом, с которым дружим с первого класса, ныне почтенным доктором наук Сергеем Мартыновским, скромно беседуя, двинулись от вокзала по Пушкинской к Приморскому бульвару. Я почувствовал, что многие смотрят нам вслед, и догадался, в чём дело.

Нас было только двое, громко разговаривающих и размахивающих руками, на этой улице.

Да-да, в Одессе сегодня никто не кричит и не размахивает руками. И даже на Привозе я не услышал шуток.

Но худшее было впереди, когда мы подошли к Дюку. Для непосвящённых сообщу: от этого памятника начинает свой путь Потёмкинская лестница.

Знаменитая Потёмкинская лестница всегда стремительно сбегала к морю, а волны двигались навстречу ей. И это взаимное влечение давало неповторимый ритм, вечное движение, ощущение полёта, делающее лестницу бесконечной.

Я шёл к ней, как на свидание. Но, подойдя к Дюку, остолбенел: лестница остановилась. Скукожилась. Казалось, у неё отняли десятки ступенек. Море не двигалось навстречу.

Море загородили люди.

Они выстроили на берегу глупый, безвкусный отель. Кто совершил это преступление, кто и за какие деньги разрешил это сделать – мэр, главный архитектор – сегодня не имеет значения. Но ведь они ещё закрыли уникальную панораму города с моря, тем самым оборвав жизнь великой лестницы.

Можно ли представить себе, что в Риме кто-то перекрыл лестницу на площади Испании? В Италии вспыхнула бы революция.

В Одессе молчат. И это тоже признак больного города.

В 44-м году немцы, отступая, взорвали порт. Он лежал в руинах. Но лестница была жива. И так же стремительно летела к морю. И было покойно. Знали, что порт скоро заговорит.

Абсолютно ровный город, с прямыми улицами, всё равно казался покатым. Все улицы сбегали к морю. Море притягивало. Море питало город. Море дарило настроение.

Самый воздух, море, солнце требовали музыки, шуток и тех острословов, которыми был полон город. В Одессе острили все: старики и младенцы, женщины и мужчины, богатые и нищие.

Впрочем, нищих не было. Они, нищие, тоже считали себя богачами, потому что море, солнце, песни и шутки принадлежали всем.

И можно было любому сказать «здрасьте» и знать, что тебе ответят.

Здесь не обучали этикету, культуре общения, но это органично входило в каждого, кто родился и жил в этом городе.

И когда кто-то в кино заслонял экран, надо было только вежливо спросить:

– Ваш папа – стекольщик?

И человек знал, что нужно делать.

Взаимная вежливость делала даже брань беззлобной. И если, не дай Бог, кто-то всерьёз ссорился, всегда находился тот, который знал, какое слово сказать, чтобы те двое начали смеяться, и у них уже не хватило сил для злобы и драки.

Таким был город в то лето 45-го года, когда я, только что вернувшийся из эвакуации четырнадцатилетний пацан, не просто заработал свой первый рубль, но и стал прямо-таки богачом.

Правда, в первый и последний раз в жизни.

А для рассказа об этом вернёмся вновь на Пушкинскую улицу, которая бежит себе от вокзала к Приморскому бульвару, и по ней шагают сотни офицеров, только что выгрузившихся из поездов и спешащих в центр.

На этой самой Пушкинской их встречает с десяток пацанов, сидящих на маленьких скамеечках. Перед ними стоят ящики, на которых прибиты вырезанные из доски подставки для сапог, а в ящиках лежат вакса, щётки и бархотка.

О бархотке особый разговор, потому что именно она завершала работу, именно она придавала особый блеск, и именно от блеска зависела щедрость клиента.

Работа стоила по таксе пятнадцать рублей, но тут была маленькая хитрость. Такой купюры не было, а сдачу офицеры не просили, потому что мы работали с азартом, быстро и качественно. И не только из меркантильных интересов. Конечно, существовала конкуренция и «честь фирмы», но самое главное: мы любили и гордились своими работодателями. И, доводя их сапоги до зеркального блеска, очень хотели, чтобы девушки, которые будут сегодня с ними танцевать, могли разглядеть свои славные мордашки в блеске наших сапог.

За день офицеров проходило такое множество, что работать приходилось с раннего утра до захода солнца.

Развлекались на заработанные рубли все по-разному. Я же, который больше всех боялся, чтобы об этом не узнали родители, должен был деньги тратить немедленно. И, взяв выходной, я шёл в кино, смотрел несколько сеансов подряд одну и ту же картину, лопал в буфете пирожные и выпивал огромное количество напитков. Они носили весьма экзотические названия, например, «кюрасо». В этих вопросах Одесса была последовательна. Красивый город должен был быть красив и в названиях.

Именно тогда, проходя мимо музыкального магазина, я увидел изящную и блестящую (может, второе сыграло решающую роль) скрипку. И я на время забросил и кино, и пирожные, и «кюрасо». Собрав деньги, я пришёл в магазин. Продавец недоверчиво смотрел на меня, долго пересчитывал деньги, даже щупал их, но всё же скрипку продал.

Тут же я купил самоучитель. Это и была моя главная ошибка.

Со свойственным мне упрямством я буквально набросился на несчастную скрипку, будучи уверенным, что самоучитель – дело верное. И в отсутствие родителей доводил до истерики соседей. Те пожаловались маме. Она сразу же заподозрила неладное.

Алиби было приготовлено заранее. Я убедил её, что записался в музыкальный кружок Дома пионеров. И, не моргнув глазом, соврал, что, видя мои исключительные способности, руководитель дал мне скрипку на дом.

Последнее враньё оказалось пророческим. Я верю в предназначение.

В этот же день моя стёртая бархотка порвалась окончательно, и мои более опытные коллеги объяснили, где можно достать новую. Вооружились лезвиями, мы отправились в знаменитую одесскую оперу. Купили билеты и поднялись на самую верхотуру. Половина кресел была уже исполосована, и я понял, что этим богатством пользовались не одни мы.

Когда потушили свет, и оркестр заиграл увертюру, мои коллеги, быстро сделав своё дело, смылись.

А я остался.

Дослушав оперу, я ушёл, позабыв о бархотке. Лезвие бросил в урну. Бизнес погиб.

Дальше – ещё печальнее. Совесть, которая, как известно, мучает не только взрослых, привела меня в Дом пионеров. Свою скрипку я подарил музыкальному кружку, а сам почему-то пошёл в драматический.

Тут самое время вспомнить моего первого театрального учителя – артиста одесского ТЮЗа Ивана Федоровича Полетаева. Это он поручил мне мою первую роль – Вральмана в «Недоросле».

Первая же роль не только отравила меня, но и научила многим тайнам профессии. Это был жестокий провал, связанный с грандиозным успехом, какого я не испытал во всей своей актёрской карьере.

Когда мне принесли из того же ТЮЗа костюм, брюки оказались шире меня в несколько раз. Но я завязал их на поясе верёвкой, а сверху надел длинный сюртук. Честно скажу – в зеркале я понравился себе очень, а в спектакле, во время драки, верёвка почему-то лопнула, и в то же мгновение штаны мои очутились на полу. Я от стыда и ужаса остановился, а зал, уверенный, что это – удачная находка, взорвался такими аплодисментами и криками, каких мне больше никогда слышать не доводилось.

Оставив штаны, я убежал не только со сцены, но и из Дворца пионеров.

Но вирус в крови остался.

Были забыты ящик, деньги, прибыль и прочая чепуха… И самое смешное – знаете что? Прожив жизнь в театре, я никогда не чувствовал себя бедным.

Одесское театральное училище! Ему я обязан всем. Мои первые учителя. И какие! Алексей Матвеевич Максимов. Мария Исаевна Каменецкая. Зинаида Григорьевна Дьяконова. Кирилл Владимирович Иванов…

Мне шестнадцать лет. Впервые почувствовал вкус к учёбе. Впервые поверил, что педагог – это Учитель.

А слово «Учитель» сродни словам «отец» и «мать», «хлеб», «вода»…

Помню всех. Благодарен всем. Чту каждого из них.

Это было особое время. Многие пришли с фронтов войны. Мы жили училищем и жили в училище. Ничего формального. Не надо было давать звонков. Мы шли на занятия сами.

Разве можно представить сегодня возможность репетиций в институте, которые начинались бы в час ночи? У нас они были.

Наш педагог Алексей Матвеевич Максимов был актёром в Театре Армии. Играл много. Роли главные. Представления кончались поздно. Иногда заполночь. Спектакли шли с тремя-четырьмя антрактами. Публика гуляла в тесном фойе. Если было тепло – во дворе театра. Никто никуда не спешил. Из-за занавеса доносился перестук молотков. Перестраивались декорации. После поднятия занавеса аплодировали художнику, и монтировщики часть аплодисментов справедливо относили на свой счёт.

Так вот, когда заканчивался спектакль, скажем, «Великий государь», – где Максимов играл Грозного, – он, едва успев разгримироваться, мчался к нам на репетицию. На третьем-четвёртом курсе мы готовили дипломные спектакли, и времени всегда не хватало. Часа в четыре утра делали перерыв, Максимов доставал маленький чемоданчик – все уже ждали, в нём были бутерброды, которые готовила для нас его жена – актриса Тамара Вячеславовна Чижегова. И там же была бутылка вина. Каждый выпивал рюмку портвейна или кагора и закусывал бутербродом.

Это были трудные годы. Студенты, не имеющие поддержки, пухли от голода. И для многих этот бутерброд – единственное, что съедалось за сутки.

После этого репетиция возобновлялась. Ровно в семь утра Максимов предупреждал: в девять часов лекция. А у самого в одиннадцать была репетиция.

Представить себе сегодня такое немыслимо, но для тех лет и для нашего училища это было естественно.

Вспомнился один смешной случай. Однажды мы с моим другом Колей Смахтиновым решили поздравить с днём рождения нашу сокурсницу, замечательно талантливую девочку, ставшую впоследствии известной актрисой, Клару Абашину. Но, как ни подсчитывали деньги, кроме адреса хватало только на два слова. Коля, как более старший и умный, нашёл выход: соединил наши две фамилии! Получилось: «Поздравляем Смахтинкац». Мы очень гордились этой телеграммой.

Второй педагог – это, возможно, особое везение. Есть классический пример – Сулержицкий.

Но у меня собственный опыт. На режиссёрском факультете это был А.И. Кацман, на актёрском – М.И. Каменецкая.

Мария Каменецкая

Мария Исаевна сыграла в моей жизни особую роль. Может быть, никто не повлиял на меня сильнее, да и возраст – шестнадцать лет – переломный, я мог двинуться в любую сторону.

Она была личностью незаурядной. Ей тогда было всего двадцать семь, а среди нас были ребята, пришедшие с фронта. Но весь курс был буквально загипнотизирован ею. Конечно, вклад первого педагога – Алексея Матвеевича Максимова – огромен, но, возможно, именно Мария Исаевна сумела проявить максимальные возможности каждого. Она окончила режиссёрский факультет, была одарена чрезвычайно, работала режиссёром в Одесском ТЮЗе и если не стала крупным режиссёром, то только потому, что была, прежде всего, женщиной, да и слишком много сил и таланта вкладывала в своих учеников, с которыми не прерывала связь всю жизнь.

Сколько раз по её зову мы собирались, приезжая из разных уголков России. Она была центром. Она была Одессой. Она была домом. К сожалению, после смерти мужа она эмигрировала. Живёт в Германии. А телефонные разговоры лишь подчёркивают расстояние.

Спектакли я начал ставить, ещё когда учился на актёрском отделении. Заканчивая его, уже знал, что буду режиссёром. И после диплома сразу же поехал учиться в Москву.

Но был 51-й год. Хорошо помню: вывешены алфавитные списки допущенных к экзаменам. Я даже засомневался: среди этих фамилий были Коц и Куц. Оказалось, не ошибка: там действительно были допущены Коц и Куц. А Кац допущен не был.

Зинго

В 2011 году была издана моя книга под названием «Почти вся жизнь». Она состояла из четырёх частей. Вторая называлась «Сентиментальные воспоминания». В ней я упоминал Зинаиду Григорьевну Дьяконову. В 2013-м ей исполнилось бы 100 лет. Готовится к изданию книга, ей посвящённая. Издатели попросили и меня написать о ней. Я счёл для себя это великой честью. Больше того, хочу, чтобы имя её осталось и в моих воспоминаниях. Уверен, моему гипотетическому читателю будет интересна эта замечательная женщина.

Только сейчас, глядя на лежащий передо мной пустой лист бумаги, понял, почему так трудно писать о Зинаиде Григорьевне Дьяконовой.

У неё не было недостатков, или я их не знал, что одно и то же.

Всё же попробую.

Но для этого надо начать с начала.

Сразу после войны – уже в июне – объявили набор на первый курс актёрского факультета вновь открывшегося Одесского государственного театрального училища.

И вот в 1947 году – это был второй набор – шестнадцатилетний паренек, с дрожащими коленями, переступил порог храма.

Училище – небольшое двухэтажное здание на улице Островидова, рядом со знаменитой Одесской консерваторией.

Когда тот паренёк стал подниматься по лестнице, он услышал пение, а когда вошёл в зал, увидел добрую сотню молодых людей, столпившихся вокруг рояля. Многие были в сапогах и гимнастёрках.

За роялем в белом пиджаке (по тем временам что-то совершенно экзотическое) сидел роскошный брюнет восточного типа, ударника изображал серьёзный широкоплечий парень, колотивший ладонями по крышке, а на рояле стояла высоченная красавица и распевала незабываемые, судя по этим записям, куплеты:

Я, Катя, ребёнок нежный,
Я интересна, я всё могу.
Все мужчины меня знают,
В кабинеты приглашают.
Мне фигура позволяет,
Я Катя…

Восторг. Аплодисменты.

Прививка была сделана. Не поступить в такое училище я не мог.

И, конечно же, я обязан назвать тех, кто преподал мне первый урок. За роялем был Петя Рабинович, впоследствии известный эстрадный актёр Пьер Рубинов, ударные изображал один из лучших отече-

ственных актёров Владимир Самойлов, а певицей была Галя Ноженко, ставшая в будущем артисткой Одесского русского театра.

Но как только я, полный решимости, бросился на штурм Монблана, сразу появилось непреодолимое препятствие в лице строгой дамы, сидящей за столом приёмной комиссии. Я её приметил сразу.

Она сидела с совершенно прямой спиной, что выдавало энергию и непоколебимость, с небольшой головой на высокой шее, с аккуратно зачёсанными волосами. Особенно мне нравилась в ней эта самая голова на высокой шее, вздёрнутая кверху.

Когда я читал, она никогда не улыбалась, смотрела прямо в мою переносицу.

Когда, вопреки её предвзятости, я всё же прошёл на второй тур, решил на неё не смотреть вовсе. Но когда стал читать, сообразил, что читаю для неё одной. Я был слишком молод и ещё не знал, что в отрицании всегда есть притяжение.

Когда я попал на третий тур, уже был уверен: это мой последний день – она была особенно непроницаема с плотно сжатыми губами и немигающими чёрными глазами. Можно было не ждать приговора, но так как все абитуриенты остались, остался и я.

Все собрались на втором этаже, вошла секретарь комиссии. Увидев наши глаза, она, прежде чем вывесить приказ, прочла фамилии принятых на первый курс. Среди них была самая короткая – Кац.

Все принятые ринулись вниз. И как ни хотелось ещё раз прочесть свою фамилию на бумаге, я, опережая всех, съехал вниз верхом на перилах. Внизу был крутой поворот и, слетев с перил, я попал прямо в объятия этой самой, с прямой спиной и вздёрнутой головкой на высокой шее.

Я впервые услышал её голос: «Вам сколько лет, молодой человек?» – «Шестнадцать» – пролепетал я.

О чудо, я услыхал смех. Она умела смеяться!

Теперь уж я смотрел на неё, не отрываясь: она хохотала звонко, заразительно.

Обнажились дивной красоты крупные белые зубы, чёрные глаза искрились, а головка на высокой шее запрокинулась ещё больше. И вдруг я сообразил, что это совсем молодая женщина! Да ещё красивая!

С этой минуты наши добрые отношения затянулись на десятилетия.

«Блажен, кто смолоду был молод».

Прекрасная строчка.

Но блажен и тот, кто смолоду имел хороших учителей. Мне повезло, в 16 лет я поступил в Одесское театральное училище, встретил людей, которые, по сути, воспитали меня.

Это, прежде всего, преподаватели мастерства актёра незабвенные Алексей Матвеевич Максимов и Мария Исаевна Каменецкая.

Речь преподавала Зинаида Григорьевна Дьяконова, в объятьях которой я и побывал уже в первый час моей учёбы.

Надо сказать, что преподаватель речи занимает особое место в воспитании студента. Ведь это не только постановка голоса, главная ответственность – в воспитании любви к великой литературе. Мы должны были стать не только профессионалами, но и культурными людьми.

За это хочется поблагодарить всех учителей, разных дисциплин. Для нас, студентов и мастеров, это было единое пространство. Единый дом. Мы шли на лекции без звонков. Наше училище было для нас нашим лицеем.

[…]

Для справки: имя человеку дают родители для того, чтобы таким он был. А мы – каким стал. Вот почему серьёзное и строгое – Зинаида, превратилось в романтическое и дерзкое – Зинго. Думаю, произошло это оттого, что каждый из нас уловил в ней частичку дон-кихотства.

Черта оседлости сделала недосягаемыми обе столицы. Но, как известно, без столицы человек жить не может. И такой столицей – чертой оседлости стала Одесса.

В отличие от других столиц, и я на этом буду настаивать, она несла в себе черты ушедшей эллинской культуры, да-да я не оговорился – эллинской. Это выражалось не только в греческой плитке (вот она – связь времён!), устилавшей тротуары города, построившего новую цивилизацию на отдельно взятом клочке земли. Эта эллинская культура была в архитектурных постройках, широких просторных прямых улицах, которые вопреки законам физики всё равно стремительно летели к своей колыбели – Чёрному морю. Но самое ценное было в людях, обожавших свободные одежды и свободную мысль, создавших свой кодекс чести и родивших собственную законченную философию. Вот они уроки древней Греции! Поэтому на каждой улице был свой философ – их называли городскими сумасшедшими, – но именно они были величайшими мудрецами – неверующие божьи люди. Но главным достижением, конечно же, стало создание уникального языка, не знающего аналога в своём уродстве и обаянии. И если бы в центре этого стройного хаоса в середине XX века не появилась наша Зинго, её следовало бы выдумать, как в тяжёлые для Франции дни потребовалось имя Жанны Д'Арк.

И не задумываясь, с присущей ей энергией и развёрнутыми плечами, Зинго бросилась одна против всей Одессы – на борьбу за чистоту русской речи.

Как всякому избранному Бог даровал ей ужасающее испытание, наградив абсолютным слухом.

Добавлю – это в Одессе-то, где вместо угрозы: «Дам в морду», одессит говорит: «Ты таки сейчас у меня будешь иметь бледный вид». Или вместо простого оскорбления: «Идиот!» – одессит, не умеющий произносить букву «о», всегда подменял её буквой «ё». Получалось: «Идиёт!». Звучит ласково и простительно.

Можете проделать этот опыт, и вы поймёте, почему я говорю, что её испанскому коллеге легче было сражаться с ветряными мельницами.

Приближаюсь к главному. Простите, что так часто прибегаю к цитатам, а в этом месте необходимо напомнить: «Сократ мне друг, но истина дороже».

Пришло время сказать: в нашей безгрешной Зинго вскрылся страшный порок – помните мои первоначальные сомнения? Она втайне любила этих людей, не пожелавших припасть к чистому роднику русской изящной словесности, тех, кто создавал этот чудовищный язык великого города.

Вот она: женщина, которая яростно защищала родниковую чистоту русской речи, обожала создателей «самого чудовищного языка планеты».

Она обожала этот город, с которым сражалась. Она прощала «падших». Она любила, и этим все сказано.

Но Бог наградил нашу Зинго ещё одним – очень непростым даром – чувством юмора. И это погубило её. Вокруг было столько острословов, что Зинго – наша Зинго! – дрогнула.

Если бы меня попросили написать о Зинаиде Григорьевне только одну строчку, сделал бы это сразу: она была воспитанным человеком.

Но тогда сразу же возникнут десятки вопросов.

– Что такое воспитание?

– Это врожденное или благоприобретенное качество?

– Что входит в это понятие?

– Культура, вкус, сдержанность, умение слушать других, умение восхищаться, умение прощать и т.д.?

– Можно ли этому научиться…

Но если я начну отвечать, то обязательно начну с того, что мне повезло, я встретил такого человека, ту самую, с прямой спиной и изящной головкой…

Нервный одессит вздрогнет: – что ты прицепился со своей прямой спиной? Но я сдержанно отвечу: не моей спиной, а её спиной. И это имеет непосредственное отношение к понятию «воспитание».

Об усталости женщины мы всегда судим по спине и плечам – они опадают. Но это жалоба. Зинаида Григорьевна твердо знала: жаловаться можно Богу, а человеку – никогда. Поэтому и тянулись к ней люди.

Ну а если всё же в одной строчке определить, что есть основа воспитания, постараюсь уложиться: «Воспитание – это внутренняя свобода».

Вот почему так мало воспитанных людей.

Нам повезло. Всем, кто с ней общался. Перед нами всегда был пример Воспитанного человека. Хочется думать, что хоть кто-то из нас этим примером воспользовался.

Она никогда не была строгой. Поэтому ей охотно подчинялись. Она никогда ни на чём не настаивала. И поэтому её мнение было непререкаемо. Она никогда не занималась самодемонстрацией – верный признак талантливого и умного педагога. И воспитанного человека. Мы любили её и гордились ею. Это осталось навсегда. Ведь со многими она работала всю жизнь как режиссёр литературных программ.

Дар общения – великий дар, она владела им в совершенстве. Наверное, поэтому всегда была центром притяжения. Где бы ни находилась, вокруг неё сразу собирались люди. И молодые и старше её. Для каждого хватало внимания, улыбки.

О её улыбке нужно говорить отдельно. Она вспыхивала мгновенно, необычайно красила её, что бывает только у людей искренних и добрых. Не улыбаться в ответ было немыслимо. И это тоже признак воспитания.

Когда мы говорим «личность», это обязательно означает, что речь идёт не об одном человеке, не об одной жизни.

Это всегда измеряется влиянием на других. Передача индивидуального многим. В этом измерялась личность Зинго.

Всегда хочется угадать в ученике учителя. Надеюсь, в лучших из нас это заметно.

Не знаю, кто был тем киевским министерским идиотом, который закрыл наше уникальное учебное заведение, но с актёрским финалом Одесского театрального училища потускнела культурная жизнь уникального города.

Увы, это сказалось на всех театрах довольно быстро. И тогда часть этих забот сумел взять на себя Одесский дом актёра, центром которого опять-таки стала наша Зинго. Вечера, спектакли, встречи. Этот дом притягивал, в нём всегда не хватало мест. Когда я позже приезжал с Рижским театром на гастроли, благодаря этим людям, мы тоже становились его частью. Больше ни в одном городе подобного я не встречал. Его «капустники» стали достоянием не только Украины, а всего Союза. Она не была его директором. Она вообще никем и ничем не руководила. Но её слово было решающим. И уже «Дом актёра» превратился

просто в «Дом». Там собиралось много достойных людей, одесских литераторов, поэтов и, конечно же, актёров всех театров. Это стало их домом, а Зинго навсегда стала «домовым».

В ней была тайна, которую всегда хотелось разгадать, но это, по-моему, не удалось никому. В те годы расспрашивать не полагалось. Что хотел, человек рассказывал сам. Зинго не хотела.

Но каждый раз в ней открывалось что-то новое. Однажды они стояли с Марией Исаевной Каменецкой около здания биржи. У них было хорошее настроение. Машенька (так звала Марию Исаевну Зинго) рассказывала анекдоты, которые любила и умела рассказывать. Они смеялись. Из интерклуба (который тоже размещался в здании биржи) вышел молодой моряк и спросил по-французски, как пройти в порт. И Зинго на прекрасном французском объяснила ему. Разговор завязался немедленно. Француз был счастлив и долго не хотел уходить. Казалось бы, обычная история. Но в те годы люди, знающие языки, были для нас небожителями. И это опустило ещё одну завесу на тайну Зинго.

Она была смешлива, и каждый раз, специально для встречи с ней, я сочинял смешные байки и каждый раз наша строгая Зинго хохотала так, что всем вокруг казалось, что смешнее ничего никогда не слышала. Мне это льстило, и я сильно старался.

Смеялась она не громко, но заразительно. Ей нравилось смеяться, в конце концов, ей это шло.

Учитывая, что героем всех этих историй был я сам, мне было чем гордиться. Иногда она замечательно пересказывала мои истории другим и при этом хохотала, как впервые.

Вчера её внучка Анна, живущая сейчас в Москве, вспомнила одну из них.

«От природы я человек застенчивый, а этот недостаток влечёт за собой другой – катастрофический – я плохо умею врать. Но когда речь идёт о театре, я преображаюсь, поэтому я свободно проходил, естественно без билета, на любой спектакль любого театра.

Выстояв длинную очередь, я подходил к окошку администратора и честно говорил: «Я от Каца». А так как в Одессе Кацы были везде, мне на всякий случай – мы жили в Одессе! – выписывали пропуск».

Эту историю Зинго рассказывала чаще других. По-моему, она вообще считала это моим высшим достижением в жизни. Возможно, она права.

Конечно, я заметил, что, говоря о Зинаиде Григорьевне, я больше пишу об Одессе и о себе. Но по-иному нельзя. Зинго – часть Одессы, а я – часть Зинго.

Актёр на минимальной ставке

После окончания актерского факультета я получил направление в ГИТИС на режиссуру для продолжения учёбы.

Тогда, чтобы быть допущенным к вступительным экзаменам, необходимо было пройти мандатную комиссию. Я прошел её вместе со всеми. Когда на следующий день вывесили списки, к экзаменам были допущены Коц и Куц, а Кац допущен не был.

Я вернулся в Одессу. Горе было немалое, но возраст и судьба привели меня на стадион, где играл одесский «Черноморец». Первым, кого я встретил, был Алексей Матвеевич Максимов. Он выслушал меня. На следующий день назначил встречу в театре.

Когда я пришёл, он всё уже решил с начальником театра. Я был принят актёром на минимальную ставку. Это была немалая честь. Театр действительно был признанным и любимым.

В Одессе был особый зритель. Ещё Бернард Шоу писал о большой роли еврейских зрителей в английском театре. В Одессе это было решающим, хотя в довоенное время, как я уже говорил, не было национальности «еврей», была национальность «одессит». Говорили все на жаргоне, состоящем из чудовищной, но имеющей особую прелесть и обаяние смеси русского, украинского, еврейского… И актёры театра умели этим пользоваться.

Я работал в послевоенное время. Фронт и гетто унесли многих. Часть не вернулась из эвакуации. И всё же дух города сохранился. И любовь к своему городу, к своему морю, улицам, бульварам, платанам, памятникам и, конечно же, к театрам существовала. Любили русский, украинский театры, но больше всех любили Театр Армии.

Труппа была замечательной. Максимов, Дальский, Расс, Старицкий, Заславский, Аркадьев… Каждый заслуживает отдельного рассказа. Расскажу о последних двух.

Яков Заславский

В театре шла пьеса «Интервенция» Славина. На спектакль в течение многих лет нельзя было попасть. И хотя в пьесе был герой – подпольщик, революционер Бродский, на него никто не обращал внимания. Вся Одесса шла на Заславского – он играл Фильку-анархиста. Когда тот пел свои знаменитые куплеты:

Гром прогремел, эоляция идёт,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Шо мама Одесса переполнета ворами,
И шо настал критический момент,
И за-е-до-вывает тёмный элемент.

И особенно когда танцевал, припевая что-то нечленораздельное, – нечто среднее между свистом, лаем и хрюканьем, – с публикой творилось нечто невообразимое.

Однажды к администратору, который в дни «Интервенции» запирался на ключ, всё же сумел ворваться военный лётчик. Он потрясал телеграммой и кричал, что прилетел с Дальнего Востока. Когда прочитали телеграмму, его пригласили в зал и «нашли-таки для него стульчик». Телеграмма была короткой: «Срочно прилетай. Увидишь то, что больше не увидишь. Папа».

Об этом случае говорила вся Одесса.

Но был случай, свидетелем которого был я сам. И такого не видел больше никто.

Аркадий Аркадьев

Не помню, как назывался спектакль, помню только, что пьесу написал литератор Ч. Но это не имело значения, в те годы пьесы не отличались оригинальностью. Это была пьеса о войне, в ней была роль одессита-моряка – уже повод для особого расположения одесской публики. Да ещё и играл эту роль любимец города Аркадий Иванович Аркадьев. Мы, молодые актёры, не очень любили его. Он был человеком сложным, избалованным и мог позволить себе иногда совсем не безобидную шутку в наш адрес. Но мы были актёрами, и когда он брал в руки гитару – тогда это была редкость – и начинал петь, мы прощали ему всё. Актёр он действительно был выдающийся.

Так вот он-то и играл этого моряка. Огромный, мощный, в тельняшке, в бескозырочке и клёшах, в бушлате, наброшенном на плечи, он вразвалочку шагал по сцене, говорил и пел не хуже Бернеса, угадывая каждый вздох зала. А его песню сразу же после премьеры пела «вся Одесса».

…В Чёрном море вода, как бирюза,
И кто не знает душу краснофлотца,
Если он встретит синие глаза,
То он, как зверь, за них в бою дерётся.

Припев был таков:

Ох, Одесса, ласковая мать,
Ведь одессит идёт на бой без драмы,
И если мне придётся умирать,
Я не забуду тебя – Одессы-мамы.

Он не успевал её допеть, как весь зрительный зал уже был влюблён в него. Но в середине спектакля его убивали. Моряк воевал в пехоте, так как корабль его затонул. Бросая вызов, в расстёгнутом бушлате, с гитарой в руках он стоял на бруствере окопа и пел:

…В Чёрном море вода, как бирюза…

Тут-то его и настигала пуля. Он падал. Зал замирал.

Но Аркадьев вновь поднимался во весь свой огромный рост и, как бы предчувствуя, что рана смертельна, и, продолжая поединок с врагом, а сейчас – и со смертью, вновь начинал петь:

…В Чёрном море вода, как бирюза,
И кто не знает душу краснофлотца,
Если он встретит…

(Тут Аркадьев начинал перечислять синие, чёрные, зелёные и прочие глаза.)

То он, как зверь в бою за них…

И в конце куплета, уже без сил, он всё же успевал допеть:

И если мне придётся умирать,
Я не забуду тебя – Одессы-мамы.

И падал замертво.

Зал напоминал горный обвал.

Но однажды произошло невероятное: либо Аркадьев играл гениально, либо зал был особый. Когда привычная буря аплодисментов затянулась, актёры попробовали продолжить сцену. Зал, продолжая аплодировать, не давал играть. Актёры пробовали обратиться к залу – их заглушали. Когда кто-то вышел на передний план, зал взревел от негодования. Борьба оказалась неравной.

Мёртвый Аркадьев вынужден был воскреснуть, сыграть и пропеть сцену заново. И заново умереть. А я, лёжа рядом в образе четвёртого солдата, всегда удивлялся, как теперь говорят, «неадекватности зрительского восприятия»: человек умирал, а зал восторженно аплодировал и кричал «браво!». Это был один из главных уроков. Я, может быть, впервые осознал, что такое «искусство» и что «жизнь театра» ничего общего с понятием «как в жизни» не имеет.

И что актёрская профессия вполне дьявольская.

В Одесском театре Армии роли я играл разные: второй лакей, четвёртый солдат, шестой французский солдат, седьмой суворовский гренадёр, сидящий у костра (причём из-за моего негренадёрского лица меня сажали спиной). Справедливости ради скажу, что играл Илью в «Бесприданнице». Это уже из-за моего голоса – пели дуэт с Ларисой «Не искушай…».

В то время в театре служил искусству и пожилой пожарник, все звали его Сёма. Не по обязанности – по любви – он ежевечерне стоял в кулисах и смотрел спектакли. Все без исключения. Когда приходил новый актёр, он готовился к просмотру особенно тщательно. Брал стул, садился в первой кулисе и не покидал сцену даже во время антрактов. Когда спектакль заканчивался, все бежали к нему. Если Сёма изрекал: «Не те гермасы» (гримасы) – это был приговор. Но если Сёма молча поднимал большой палец, актёр мог спокойно жить и работать. Сёма ни разу не ошибся.

Так гласит легенда.

Не знаю, какое слово произнёс Сёма, посмотрев меня, но когда в конце сезона к А.М. Максимову (к тому времени ставшему главным режиссёром театра) приехал из гастролировавшего в Кишинёве Бельцкого театра гонец с просьбой порекомендовать кого-то из своих учеников, Алексей Матвеевич выбрал меня. «Начни с провинции», – посоветовал он. Для Одессы, как вы уже догадались, провинцией была и Москва.

Мне были обещаны три роли и повышение категории. Карьера обещала сложиться.

К этому времени я уже сам понимал, что военный театр не для меня, и в тот же день выехал в Кишинёв. Утром я вошёл в кабинет главного режиссёра театра А.Н. Москалёва.

Крупный, вальяжный, в очках, увидев меня, он явно обрадовался:

– Если бы к нам в театр ещё двоих, как ты, мы сколотили бы комсомольскую организацию. В театре нет ни одного актёра моложе тридцати лет!

Шансы на блестящую карьеру росли с каждой минутой.

Затем приступил к главному: «Будете заняты в трёх спектаклях. Первый сегодня. Вам предстоит играть важнейшую роль – партизанского лазутчика, связного героя Гражданской войны на Дальнем Востоке Сергея Лазо. Вечером вам покажут мизансцены».

Очевидно, он был уверен, что для меня этой информации достаточно, и благословил: «За работу».

Когда мне вручили роль, я подумал, что это ошибка – партизанского связного звали Син-бин-у. Он был китаец.

[…]

Теперь вы, очевидно, поняли, почему я в панике бросился к главному режиссёру. Он впервые внимательно посмотрел на меня и успокоил: «Главное – внутреннее перевоплощение».

Имея некоторый опыт в обращении со своим носом, я пришёл на спектакль за четыре часа и потребовал гуммозу. Для непосвящённых скажу, что это что-то вроде театрального пластилина.

Пластический грим требовал немало терпения. Прежде всего, надо было выпрямить нос, но от большого количества гуммозы он становился всё больше, а лицо меньше… Неожиданно я услышал первый звонок и решительно стал красить лицо жёлтой краской. Будучи человеком образованным, я понимал, что именно такой цвет необходим для китайца.

Но самым трудным оказалось загримировать глаза. Они никак не хотели становиться меньше. И чем больше я пересекал их синими косыми линиями, тем ярче они высвечивались. Я щурился, как мог, но от этого ещё больше становился похожим на еврея. Доделать работу я не успел: за мной прибежал помощник режиссёра.

«Мизансцен» мне так и не показали. Юра Ухтомский, так звали помрежа, посоветовал просто подходить к тем, кто на сцене, и предлагать товар. И пообещал свою помощь, так как он сам будет «среди народа».

Роль свою я знал назубок. Но так как ни я, ни режиссёр ни разу не слышали китайской речи, пришлось пользоваться знаниями автора. Написано было так: «Лената, ресинка, весёлая картинка!». Автором был придуман хитрый ход: китаец Син-бин-у, чтобы иметь возможность всегда находиться среди народа, был «коробейником».

У меня на груди висел ящичек, в котором и размещались эти самые – «лената, ресинка, весёлая картинка».

Когда я появился на сцене, в зале раздался ропот, а на сцене смех. Я заспешил и, перекрикивая всех, кто был на сцене, заорал про эти самые «лената, ресинка…» Публика поощрительно смеялась, на сцене, наоборот, все затихли. Другой текст улетучился, а я никак не мог остановиться и предлагал каждому эти лената-ресинки, пока ко мне решительно не подошёл вызванный из-за кулис сам Сергей Лазо. Больно сдавив моё плечо, он отослал меня с ещё более ответственным заданием…

Дальше спектакль шёл без меня…

На моё счастье, в этом театре, как и во многих других, актёры на премьеры не ходили, и на другой день никто поощрительно не жал мне руку.

Населён театр был людьми странными, загадочными и непонятными. Многие были после отсидки – им не разрешалось жить в больших городах. Чрезвычайно заинтересовал меня один из них. Фамилия его была Витоль… А вот имя-отчество забыл, простите меня. Вместо глаз у него были две маслины, которые плавали в синевато-жёлтых белках. Он приходил на все репетиции, независимо от того, занят в спектакле или нет. Сидел в углу и смотрел, не произнося ни слова. Так я репетировал следующий спектакль. Когда пришёл на третий, выяснилось: Витоль тоже занят.

Играл он отца семейства, а я – его младшего сына. Я долго ждал, когда он начнёт репетировать. Все сели за стол. Первая фраза, которую он должен был произнести: «Дай мне вилку…». Вдруг Витоль мощным и низким, протяжным голосом пропел: «Дай (пауза) мне (пауза) вилку…». Показалось, что он балуется, но маслины чрезвычайно серьёзно и строго смотрели на меня.

Я ни с кем не дружил и считал бестактным расспрашивать о нём у других. Но Юра Ухтомский мне как-то шепнул, что в прошлом он был известным трагиком и служил в труппе «Братьев Адельгейм».

Мы стали ездить по городам Молдавии, очаровательному краю маленьких городков… В каждом из них мы не задерживались более трёх дней. Старик Витоль интриговал меня всё больше и больше. Никто не знал, сколько ему лет. Он не был похож ни на кого: носил большой перстень, что после войны было чрезвычайной редкостью. У него была трость с набалдашником тёмного серебряного цвета и странная чёрная куртка, кажется, бархатная.

Вечером, после спектакля, мы шли в маленькие гостиницы, в которых не было одноместных номеров. Шли все, кроме него. Он сразу поворачивал в другую сторону и уходил в полном одиночестве. Приходил он обычно поздно. Любопытство не давало мне покоя. Однажды, когда все завернули в гостиницу, я решил последить за ним: он гуляет – ну и я погуляю. Фонарей не было, а южные ночи темны необычайно. Он шёл, и трость иногда попадала на камень. Боясь потерять, иногда приближался к нему на опасное расстояние и чувствовал себя настоящим сыщиком. Я понимал, что совершаю не самый благовидный поступок в жизни, но не проследить за ним было выше моих сил. Мы шли по каким-то тёмным улицам, и вдруг впереди я увидел свет. Он направился туда, и, подойдя ближе, я понял: это вокзал. Станция. Зашёл за ним внутрь, увидел тень, мелькнувшую в дверях. Сверху было написано: «Буфет». Он просто пришёл на вокзал ужинать. Когда я всё-таки решился заглянуть в буфет, то увидел, что он стоит около стойки спиной ко мне. Не оборачиваясь, Витоль вдруг сказал: «Заходите, молодой человек». Я стал что-то лопотать. Он предложил мне разделить с ним трапезу. Затем спросил: «Ну что, удовлетворили любопытство?». Я решил не сопротивляться и во всём сознался… Перед ним стоял стакан водки, на тарелочке лежала котлета. Он проследил за моим взглядом. Я смутился. Он отпил глоток, отщипнул от котлеты кусочек… «Ну, спрашивайте!». С тех пор я часто сопровождал его.

Как-то я спросил Витоля: «Сколько вам лет?». Он ответил: «Не знаю». Я почему-то ему поверил. Впрочем, свои подсчёты я сделал сам. Он познакомился с Рафаилом Адельгеймом ещё в Австрии, где учился в университете. А потом, когда братья объединились, создав знаменитую труппу «Братьев Адельгейм», он присоединился к ним. Начав работать в конце XIX-го века, они объездили практически все медвежьи уголки необъятной Российской империи, работали в Москве, Петербурге, пережили войны и революции.

После распада театра у Витоля был период, о котором он не рассказывал. Расспрашивать в таких случаях никогда никого не следовало. Кто хотел, рассказывал сам. Витоль не хотел.

Однажды мы отправились на станцию «ужинать». Витоль как всегда выпил свои сто пятьдесят с холодной котлетой, а когда мы вышли на перрон, предложил посидеть на скамеечке. Мы сели. Долго молчали. Мне даже показалось, что он забыл обо мне. А затем я услышал шум приближающегося поезда, мимо промчался экспресс, поздоровавшись с нами длинным гудком. Витоль долго смотрел вслед, очевидно, он ждал его. И вдруг стал читать стихи на немецком языке. Я был заворожён голосом, музыкой стиха, чужой речью, а главное – удивительной простотой, с которой читал этот странный, рычащий на сцене актёр, и мне казалось, что я понимал чужой язык. Возможно, потому, что он только что проводил «курьерский», и эти стихи были ответом прощальному гудку.

Витоль встал: «Я читал Гейне. Хороших русских переводов не знаю». И, не попрощавшись, двинулся в темноту.

Я догадался, что провожать его не следует.

Летние гастроли закончились. Поздно вечером нас привезли в Бельцы. Меня поручили какому-то дядьке – сказали, что буду жить в общежитии. Всё складывалось как нельзя лучше: согласитесь, отдельная комната – большая удача. Дядька строго посмотрел на меня: «Я комендант». Говорил он по-украински, но, желая быть понятым, вставлял русские слова.

«Общежитие» – двухэтажный барак. Первый этаж заколочен. На втором этаже во всю ширину дома веранда, из которой можно было попасть в десятка два комнат, двери которых стояли почти вплотную.

– Це був публичный дом, – пояснил комендант. – Твой нумер четвёртый.

Увидев моё расстроенное лицо, комендант смягчился:

– Не журись, хлопець. У будущим роки ремонт обещають. Тэпло будэ.

И втик (убежал, значит).

Увы, ни зимним теплом, ни гостеприимством коменданта воспользоваться не пришлось. На следующий день пришла телеграмма – меня вызывали в военкомат. И мне свыше трёх лет пришлось пользоваться теплом и гостеприимством Первого флотского балтийского экипажа…

Итак, я поднимался в свой «четвёртый нумер», что на втором этаже.

Скрипело и шаталось всё: лестница, перила, покосившиеся балясинки, двери, половицы, как и то, что помещалось в комнате: кровать, единственный стул и тумбочка.

Не надо обладать сокрушительной фантазией, чтобы представить себе звуковую симфонию, когда дом наполнялся людьми и использовался по назначению.

Тем не менее, я так устал, что уснул мгновенно. Проснулся рано и сразу направился в театр.

Служебный вход оказался в глубине двора, справа от него выступ дома, окно первого этажа было открыто. Проходя мимо, я заглянул в него и остолбенел. Посреди комнаты, в чём мать родила, двигался Витоль. Это был какой-то причудливый танец, напоминающий парение птицы: он поворачивался влево, вправо; руки плыли вверх, вниз. Кисти были свободны, движения медленны. Иногда он задевал пустые консервные банки, валявшиеся в большом количестве на полу, они напоминали звучащий ковер.

Юра Ухтомский после рассказал, что эту зарядку Витоль делал каждый день и только зимой закрывал окна. В Бельцах жила его пожилая родственница, которая раз в неделю делала у него уборку. Питался он в основном консервами, а выносить пустые банки считал излишним.

Я растерялся: приветствовать его неловко, стоять, не здороваясь, уж совсем глупо. Я рванулся к служебному входу… Вот за этой дверью и ждала меня телеграмма.

Первый и последний день в городе Бельцы я провел с Юрой Ухтомским. Он зашёл за мной, и мы отправились на городской пляж – в городе было два прелестных озера. Купались, веселились. Потрясающий возраст – двадцать лет!

Затем отправились к Юре домой. Он пригласил меня на обед, я с радостью согласился – ведь до театра он работал поваром в крупнейшем ленинградском ресторане. И в Бельцы тоже попал, вернувшись из мест не столь отдалённых.

Это было воскресенье. Женщина, её звали Тоня, – в те годы близкий ему человек – была дома.

Он попросил её, пока он готовит обед, показать мне город. Когда мы вернулись, стол был накрыт. Вкусно было всё, но жаркое «по-ухтомски» – просто превосходно.

Вечером Юра провожал меня на вокзал. Когда мы прощались, он спросил, понравилось ли мне жаркое.

– Замечательное!

– Это ворона, – похвастался Юра. – Только Тоне не говори.

Моё самочувствие, само собой, в расчёт не принималось.

Я расставался с городом Бельцы навсегда. Прослужив в театре два месяца, я помню только хорошее. Скажу больше: он сыграл немалую роль в моей жизни. Я ведь мог и разминуться с таким театром и этими актёрами. Это был особый мир, в нём жило романтическое прошлое российской кочевой провинции. А это немалый опыт.

Я вновь вернулся в Одессу, где меня ждала повестка в военкомат. Меня призывали на военную службу. Предложили два варианта, или пойти служить солдатом на три года или на флот, где служба длилась тогда пять лет. Я, не задумываясь, ответил: «Флот». Одессит по-другому ответить не мог.

Далее началась новая жизнь, новые города, новые люди, продолжился бег времени уже без Одессы, но она осталась со мной навсегда.

ЛЕОНИД ВОЛКОВ

СБЫВШИЙСЯ ДЕНЬ, или КАК ВЕРНУТЬ ЮНОСТЬ

Весенние маршруты из Нальчика

В конце марта нам с женой выделили две соцпутёвки на Кавказ.

– Незамедлительно, пенсионеры!.. – было сказано.

И не было времени на раздумья: послезавтра…

Но… Перспективу «отдыха» я воспринял в штыки.

– Кур-рорт. Что-то вроде богадельни?.. Сана-торий. На манер больничной палаты?

– «Герою проруби» – в общество старцев? Нет уж!

– Что я там потерял? – протестовал. – Не потух ещё!

– Отдыхать? – пячил грудь. – Зазорно! Не хватало ещё – шастать с курортной книжкой на процедуры… заботиться о здоровье!

– Ни за что! – твердил.

Но… Поддался-таки на уговоры жены. И вот мы здесь, пьём минералку.

1
Прописываю горный воздух

Ходим, как и все, по врачам. На приём сидим – к терапевту.

«Аиа Султановна» – на двери кабинета… Стало быть, дочь султана.

– На что жалуетесь? – взглянула. И принялась наводить справки. Болел ли ветрянкой. Не барахлит ли сердце. Не увлекаюсь ли «горькой»…

– Жалоб нет, – пожал я плечами. После чего ожидал услышать: «А зачем тогда?..».

Ничего подобного. Эскулап в юбке окинул «больного», как скульптор – модель.

– Вам повезло, молодой человек, – выдала. – Вы – то, что нужно…

Молодой? Это с каких пор? И в каком смысле? Что во мне такого, что?.. И в чём повезло?

– Не удивляйтесь. Я врач-геронтолог. Провожу исследования. Пишу диссертацию. Специализируюсь… на возвращении молодости… Уточняю, без хирургического вмешательства и инъекций. Предлагаю вам стать пионером на фронте науки!

– *Всё лучше, чем пенсионером*, – заметил я.

– Именно! Вы ничем не рискуете, пациент.

– *Я готов, доктор. Но что от меня требуется?*

– Что? НАСТРОИТЬСЯ…

«На лечение? Чего ещё!..» – решил для себя.

– Без подвохов. Хотите сбавить годков несколько?

– *Несколько – не устроит*, – возразил. – *Вернуть бы юность!*

– Куда замахнулись! – улыбнулась докторша. – Но как скажете…

– *Клянусь, по ощущениям я молод*, – вспыхнул. – *По паспорту вот только…*

– Пустое! – был ответ. – Какие годы!

– Всё в наших руках, – заверила. – Увидите, юность своё возьмёт!.. Что бы вам назначить? Массаж?.. Без грязей и электромагнитов обойдётесь. Вместо этого, – УСТАНОВКА НА РАДОСТЬ… положительные эмоции… Прописываю вам горный воздух. Прогулки по лесу, парку, горам. Если хотите, – бег. Плавание в холодной воде. Водные процедуры… Омолаживайтесь водой! У нас есть озёра, благотворно влияющие…

Путешествуйте, больше двигайтесь! Да, съездите к Голубому озеру! Хотите вернуть юность, – на природу!

Откройте в себе весну души! Радуйтесь всему! Весне, милым женщинам… Восторгайтесь ими!.. В этом вам помогут воображенье и чувства… Свежесть чувств…

Откройте вокруг себя красоту! Оживите всё лучшее в жизни! Но предпочтение отдайте дню сегодняшнему! Вживайтесь!

Забудьте о болячках! Мой метод – омоложение радостью… При виде красот, возможно, вас будут сопровождать чудеса. Вы же, невзирая ни на что, дерзайте! Отдайтесь желаниям! И – глазам… На красавиц засматриваться не возбраняется.

Жена? Не помешает… Нет, тяга к красоте – главная пилюля. А что с женой, – даже лучше. Не позволит перейти грань.

– *Что ж, я – не прочь,* – наставления мне пришлись по вкусу.

Её б устами!.. К «дщери султана» я проникся симпатией. Признаться, и самому мне не раз приходило в голову… Давно заметил: стоит лишь захотеть.

Мечты и желания светлого окрыляют.

Так что приступлю к процессу омоложения.

2
Благовещенье. Птичий рай. Бежим…

Птицы спозаранку оповестили: Благовещенье! На всю округу устроили невообразимый гвалт. И *так* распелись, что лишили сна: «Не упусти день!».

Спросонья я даже задался вопросом, а откуда берутся небесные эти твари.

Когда ж увидел, как вспархивают они из-под лап елей, дошло: сродни душам.

Как же эти создания *оживляют пространство*! Как пусто было б без них!

Так невзначай с неба пришла благая весть: начался день!..

И какой! День этот встретил нас за порогом корпуса родниковым воздухом. Обласкал пылкими, несмотря на раннее время, лучами солнца.

Апрель, после затяжного ненастья не позволявший разнежиться, пригрел.

Прояснилось. По брызнувшим враз цветам все осознали: ВЕСНА! И – осияло: беги!

Жена, как обычно, – иноходью, я – трусцой. По воду.

Однако, чтоб сократить путь к бювету, не огибаем забор.

Шаг через тайную (таинственную!) калитку – и мы в заброшенном парке.

Как в ином мире. Оказываемся среди волшебных сосен.

Откуда жена, не задерживаясь, – за нарзаном… Я же, оставленный ВНЕ, «творю» зарядку.

Пьяный от воздуха, машу руками-ногами.

Шалею. И слушаю, как *«Впитай!..* – взывают цветы. Предостерегают: – *Не скомкай!.. Не упусти ни мгновения!».*

– *Лови каждый миг! Всё благоприятствует!..*

И дух захватывает от перезвона. Взмах – и шире пространство… объединяющее тебя, птиц с небом…

Так бывает… в местах, где природа не обеспокоена чьим-либо присутствием.

Тихо! Ни людей, ни машин! Лишь заполненное щебетом птиц небо. И ты в нём – радующийся обилию света, общему пробуждению… наслаждающийся телодвижениями, касанием с воздухом.

Откуда-то взялся дрозд. Кружа над головой, пернатый, кажется, искал дружбы.

«Что ему до меня?» Пока я недоумевал, откуда ни возьмись объявился ещё.

«Флейтист» взвился передо мной как-то уж чересчур смело… После чего птицы сцепились между собой. Развернув на расстоянии вытянутой руки феерическое ристалище.

Из-за чего? Я ждал, я приготовился: немного – и трепещущие в воздухе птицы вовлекут и меня в игру.

Но вернулась жена. Дала испить тёплой ещё минералки, взяла под руку… И в это время один из дроздов, коснувшись моих волос, взмыл над нашими головами.

Что это было? Шалость? Утренняя побудка?

Ошалелые, шагали мы СКВОЗЬ… Дорогу вместе с нами перебежала белка.

3
Размолвка. И как я мог! Выход найден.

Весна! Весна брала в оборот.

Но мы прогадали. Из фойе ничего не стоило нам взойти на этаж по лестнице. Мы же шагнули в лифт. Куда следом зашла и сестра-хозяйка.

– Как отдыхается? – поинтересовалась. – Как жизнь молодая?

На что жена поведала о… разведанной «дороге на водопой»…

И – всё испортила. Ведь путь сквозь парк был нашим открытием!

Взяла и выдала нашу тайну! Выложила бездумно какой-то тётке!

И – утро вмиг что-то утратило. Сникло. Лишилось таинства дня.

А тут и я, придя в номер, не удержался, чтобы не высказаться.

О чём сразу же пожалел: кошка метнулась меж нами.

И тень легла на лицо жены. Свет исчез из глаз… Вид её так не вязался с блеском дня!

Усугубляя обиду, Тамара уходила в себя. Казалось: праздник уж не вернуть.

И вот я корю себя… На небе, гляжу, – ни облачка. День-то какой!

Впустую? Нельзя… Но что предпринять? – ломаю голову.

Решаюсь. Доктор не зря рекомендовал горный воздух.

Из окна номера мне видно – у ворот встал автобус. На территорию санатория из него вышла дама… походкой своею увлекая мужское всё поголовье.

Дойдя до корпуса, и впрямь повела курортников: те потянулись, как выводок за мамой-уткой.

Гуськом…

Решил и я к ней «подъехать».

– В Грозный? – спросил чеченку. На что та блеснула золотом во рту:

– Записаны?.. А-а, мест нет!.. Хотя…

В следующий миг выдала со знанием дела:

– Через полчаса – на Эльбрус. Два места…

И сказанное прозвучало как «два места в рай»… Шанс, за который я ухватился, как за соломинку.

– Едем, – сообщил жене, входя в номер.

И поторопил. Собрав рюкзак, взял её за руку (она слабо сопротивлялась) и вышел на шлях, куда в следующий миг подрулил автобус. Махина, из которой, как из шкатулки, выпорхнула балкарка в тёмных очках.

– Вас двое? – спросила. – Места в последнем ряду.

А нам – хоть какие. Два! Будто специально для нас.

Заходим, как в Ноев ковчег, шествуем через салон. И, миновав строй глаз, втискиваемся промеж тёть, вынужденных потесниться.

4
На пути к пику Счастья. Как быть? Горы не узнают.

Ура! Вырвались. Да не куда-нибудь – на Эльбрус!

Достойная цель! Ситуация, казалось бы, спасена. Но…

Скосясь, вижу: жена, хоть и похорошела, *не отошла.*

А так хотелось утешить, заглушить досадные ростки обиды!

Автобус набирает ход. Моя рука – на её плече. Без ответа: глаза с ресницами нет длинней – мимо…

Далёкая близкая… Как к лицу ей родинка на щеке! Может, хватит сердиться? Сколько надо ещё проехать, чтоб плечи под моею рукой оттаяли?

Пол-Кавказа?.. А дорога несёт. Город солнца. Площадь памяти. Триумфальная арка. Золотыми буквами: «Навеки с Россией!».

Выехав из Нальчика, минуем предместья: Вольный аул… *Сломанная земля*… Визборовское ущелье – Баксанское!

Чем *уже* ущелье (щель!), тем круче из-за поворотов горы.

Как в тисках… Далее – город-призрак: рудник Тырныауз.

Ущелья, где дуют фён-ветры: Адыр-Су, Адыл-Су… Ледник Шхельда… За Тегенекли – венок полян: Нарзанов… Чегет… Азау… А вот и Царь-гора!

Эль встала вдруг впереди во весь рост. Сверкающая, на полнеба… Всё выше…

И на фоне её – мы, сонные, без восторгов…

«Э-эй! Не пора уж проснуться?! ТАКОГО, может, за всю жизнь не будет! Промелькнёт, как разминувшаяся с тобой судьба…».

Но так не должно быть! На памяти – наставления «дщери султана»: «Открыть вокруг себя красоту поможет музыка в душе»…

5
Вулкан проснулся. Дрогнули две белые груди.

Взмываем. От подножия Эль на канатке. С экипированными с головы до ног лыжниками.

К самой *крыше Европы*, к уснувшим кратерам.

Глядя на горнолыжную трассу, обращаюсь к одному из асов:

– А я бы смог?.. (Изображаю, как несусь сверху).

– Легко! – отвечает барышня в шлеме. – Поскребёте наст…

Смешливая, она сошла на «Трёх тысячах». У меня же – от умопомрачительной крутизны – голова кругом.

Но нам, «матрасникам», ещё выше – на станцию «Мир». Откуда – рукой подать до… двух белых «грудей» пика Счастья…

Не коснуться… От Эль – свет. Щетинится Кавказский хребет. Свежо. Пьянит горный воздух: пить – не напиться! Рай: солнышко пригревает. И – снег, снег…

– Благовещенье же! – говорю Тамаре.

И – она, вижу, оттаяла.

Прильнула… Просияла. Смеётся… Миг!

Неужто ожил вулкан? Спустя сорок тысяч лет?

А что? Спал, спал – и вот…

Эльбрус… Он дышал нам в лицо. И… тоже таял.

Что-то проснулось в душе. Запело. Передавшись, видимо, от вулкана…

А солнце… оно смеялось. И дошло: мир светел!

Не должно быть места тучам отчуждения, теням…

Радуемся – не зная чему… Тому, что прозрели?

Но мало времени – чтобы надышаться, настроиться, не спеша спуститься… – на гору, дождавшуюся нас. На всё про всё – час.

Бежим: «пора» – через пятнадцать минут. Вниз, в кафе под названьем «Привал».

А нас только-только ПРОБИЛО…

6
И откуда красота берётся?

В кафе, что у подножия, – шум, гвалт, звон. За столиками – знакомые по автобусу лица. Все – как пьяные: воодушевлены.

Сказочной красоты балкарка несёт обед.

Ура, нам! Надо б обратить на себя её взор – приобщиться к неведомому миру.

К миру, где, кажется, всё – другое…

Коснулся – и хоть летай! Откуда необыкновенная эта красота?

Что влияет? Гены? Любовь? Образ жизни? Сказываются ли окружающие горы, реки?..

Мы так схожи между собой! И – разные… стоит отъехать от своего дома.

Радуемся, коль удаётся найти общий язык.

А уж если дать волю душе, соприкоснуться…

Это открытие – понять другого!..

И, так или иначе, закрадывается вопрос, откуда красота берётся… Как смеем мы привыкать к ней изо дня в день!.. видя её, – не замирать от восторга!.. глядеть как само собой разумеющееся!

Как нынче на ужине – при виде официантки Фатимы, порхающей от стола к столу.

Будто не видно – светится!..

Никто так и не оценил? Не заметили?

Разошлись как ни в чём не бывало…

«Не насытился, старче?» – корю себя: глаз не оторвать от горянки, *проплывшей* мимо…

Как и от замысловатой формы тянущегося ко мне деревца.

Обняв же – следом за елью – «бесстыдницу» с дуплами, спрашиваю жену:

– Не ревнуешь?.. – едва ли не с каждым деревом – накоротке.

– Красота ж! – пытаюсь оправдаться. – На неё, правда, – чтоб в самую душу – ещё настроиться надо.

Чуть свет, перед пробежкою сбегая в фойе, застаю дежурную. Кабардинка Мила, собирая валики от дивана, пахнет сном.

Мне же – в весну… Но прежде вздохну: – Вы так красивы!

Что позже не помешает мне восхититься и плеядой берёз… и чеченкой Камилой (процокав, «озолотила»), своё воздействие на меня отметившей периферическим зрением… и огнём пожароопасной деятельной поварихи Жаннетты… и смуглолицей с иконописным лицом осетинкой, ответившей мне заинтересованным (сроднившим навек) взглядом в храме Успения… как и обернувшейся у придорожного кафе русоволосой туристкой… и попутчицей. Что не отменяло (а может, наоборот) восторга моего перед женою… Не благодаря ли которому (благо, *красота её – рядом*) и падок?

Лечу… А что делать? Очарован с некоторых пор Красотой.

Случается же, восторги – с обратной связью.

Совпало, что как-то при общении с горничными – обе Мани – мне доверительно:

– …Впечатление – давно вас знаем!.. Как солнышко.

С массажисткой Яной и вовсе – «тайная связь».
«Такого огня и у молодых нет!» – в один из сеансов спели её руки.
Руки ангела!..

О, эти женские имена! И что не имя, – в душу!
Как мантру, каждое повторяю… Ведь всё, всё – Красота… Не наглядеться!
Жене:
– ЭСТЕТИКА! Что же ещё?

7
Заслужил? Чем? Что мечту лелеял?

И вот после поездки на Эльбрус ощутил: юн. Распрямился, как кедр проросший. Воспрял после долгой зимы.

Осознал: не зря – на курорт… Что-то вроде награды. (И чем только заслужил?)

Не утратил и дух «моржа». Не унизился и не утратил прыть.

Да и протест, уже думаю, напрасен был: курортники – тоже люди.

Плохо ли? «Люкс»-номер с видом на Эльбрус! Минеральный бассейн… в коем что ни утро – куп… Езди на экскурсии… Вкушай по три раза на дню… Гуляй по парку… Вечерами – на танцы… И, главное, встречай весну!

На поисках которой не жалеем сил: плещемся в водоёмах, родниковых ваннах Гедуко… забираемся в глухомань.

Как сегодня… На следующий же день и вовсе зашли бог весть куда.

8
Весна! Благоухаем. За весной приехали.

В тот день в отдалении грохотала гроза. Но исподволь, глухо. Как оттолоски гор…

Сомнамбулами вышли мы «встречь Эльбрусу».

Не дошли: не реально… Тогда сталкерами отправились на территории здравниц, заброшенные в лихие девяностые… – бродить среди гомона птиц, как никто чувствующих Место.

Цветы, деревья… не понятые никем ели… А мы внедряемся себе в эту «кухню».

И уж не растрезвоним утр – ВИДИМ: спадает день ото дня пелена.

Ощущаем: по весне столько молодости у природы!..

А мы её часть… Постигаем изнутри. Исподволь.

С сумерками в одном из таких пустырей… пьём из «пиалы» в небе – ковша, на фоне которого зияет «кругляш», тень луны – вроде дверного глазка в освещённую залу.

Глядим. А перед нами на лавочке – мишка… Сидит и щёлкает себе семечки: грудь – в «шелухе», точней (разглядев впотьмах) – в клоках ваты…

Ага! Косолапый, как оказалось, плюшевый, хоть и в натуральную величину.

Позабавил. Вернул к действительности.

И вот что ни утро, – ЗАНОВО. Соприкасаясь с природой и ПОСТИГАЯ: у всего – бо́льшее значение…

Какое? И что это за тайна в лесу? И почему дни один на другой не похожи?..

– Мы с тобой сюда ЗА ВЕСНОЙ приехали? – спрашиваю жену.

Прикатили-то – всё спало. А позавчера НАЧАЛОСЬ: брызнуло! На Благовещенье – первоцветы, пролески, примулы.

Нынче – медуница. Залпом пошла – и всё заполонила… Фиалки с маргаритками, калужница, барвинок.

А вон уж – поляны одуванчиков, лютиков.

Всё – на глазах!.. Радуемся. Не успевая касаться дерев. Корявых, со свилеватыми стволами дуплистых платанов. Чинар, обвитых плющом, елей ласковых, вётл кручинных, туй. Кипарисов, алычи, раскидистых, с пучками омелы белой, груш. Не говоря о шарах форзиций и розовых каких-то кустах.

Буйное цветенье, дурман! Не передать: весна, девушки… Все воодушевлены. И бурно всё так, влюблённо цветёт!

На что неравнодушно смотря, и сами благоухаем… Стараемся ВСЁ УСПЕТЬ.

9
Чудо-лестница. Поющие дерева. Когда глаза излучают счастье.

И где только не были! В Чегемском, Куртатинском, Цейском ущельях. У сторожевых башен и фамильных склепов.

Помолясь, по лестнице – в монастырь (самый высокогорный) к Моздокской иконе…

И всё это – как во сне… Недоумеваем: сколько же преподнесено за день!

Не случайно в ту ночь снилась мне лестница, каменные ступени которой вели в небо.

И была она столь крута, что дух захватывало.

Но я взошёл.

Ночью же шёл дождь.

А наутро одолели мы и другую лестницу.

К которой прошли к через Атажукинский парк. Где за нами увязались беспризорные псы, сопровождавшие нас до моста.

И был там свет, липовые аллеи, свисающие косы вётл… А сразу за рекой – лестница, *тысячей и одной ступенькой* зовущая в гору.

И мы взнеслись. Прытко. Хоть и фотографировались едва ни у каждого дерева. Фигуристые чьи стволы представлялись кощеями, чудищами.

И каждое из них искушало, заливисто пело. Мы же, как в консерватории, внимали пенью пичуг.

Наслаждались и чистым после дождя воздухом. Не ведая, откуда лёгкость: как волной *вздымало.*

А встречь шли будто побывавшие в раю люди.

И лестница эта напомнила мне другую – ведущую на гору Сигирию – на Шри-Ланке… где у паломников, как сейчас помню, глаза излучали счастье…

И здесь… Вон обличьем, сиянием своим – делятся.

Парни – огонь. Хоть сейчас станцуют лезгинку! А девушки!.. (Весна – и все воодушевлены).

На тысяче первой ступени обратился к одной из них:

– Что за цветы, изобилующие по склону?

– Белые? – опалил взгляд (из Первозданности, неведомой мне).

Девушка, похожая на весну (было видно, как много она ждёт от жизни), потупила очи-зарницы, не в силах вспомнить.

Сконфузилась. Но просветлела:

– Хоть снова в школу!..

– И нам, – смеюсь. – Взявшись за руки. Заново.

Весна ведь – и, стало быть, всё, всё – *по новой!*

Назад – через ступеньку, как козы… Ветром…

10
К Голубому озеру. Прозренье и преображенье.

Напоследок – очередная экскурсия.

А спозаранку – зарядка. Махание рук, ног…

Но – что это? – словно стена… Не трогало.

Пока не вспомнил наставленье врача: «Открой красоту!».

…И – брызнул луч солнца, как если бы отдёрнули занавес. Я учуял аромат цветов, ветр с гор…

И так щебетали птицы!.. Ничто уж не заслоняло мир.

И был незамутнён взгляд. За завтраком и вовсе прозрел.

Увидел, как хороша жена… как лучится Фатима-официантка…

В разгар дня предстояло мне окунуться в карстовый водоём.

И вот Черек-ущельем подъехали мы к пропасти у шоссе. А, миновав Секретное озёро, остановились у Голубого. Небесного цвета. Или – как у драгоценного камня… Глубину которого не смогли измерить ни Жак-Ив Кусто, ни Наталия Авсиенко…

Оно было без дна. Как следовало из путеводителя, неизменно стылым и… молодильным. О чудесных омолаживающих его свойствах ходили легенды.

Но дело даже не в том – меня неудержимо к нему тянуло.

Дальше было как во сне. Я нырнул. Встречь плыл лебедь.

Изогнув шею, он смерил взглядом. Испытывая.

Мы, оба вытянув шеи, встретились посередь нос к носу.

– Теперь помолодеешь, – шикнула благородная птица. – Носи в себе чистоту и блеск озера!..

Усваивая сказанное, долго я плавал, нырял – озеро не отпускало.

А когда вышел, – жена ахнула.

Я стал другим. После купания – как заново родился.

Вода дала сил… Мир искрился. Предстал в ином свете.

Но я продрог. Поэтому зашёл в кафе.

Там был камин, у которого я согрелся.

Фея-горянка принесла мне чаю. Она была сказочно хороша.

И если б не юноша, смотрящий из зеркала… в котором позже я узнал себя… – завязал бы знакомство.

11
Снег на голову. И – остаётся удивляться.

Назавтра выпал снег.

Хотя никто и не думал… Но в пять утра всё было «в цвету».

Вернулась зима. Чему не все были рады.

А снег шёл и шёл, ложась на цветущие груши. На озябшие лапы елей… Порхал шмелями. И это было непостижимо: среди весны.

Под окнами дышал парами бассейн. (Голубой – на фоне девственного полотна).

И плавающие там высказывали недовольство: «Испортилась, мол, погода. И уж лучше бы дождь…».

С чем я не был согласен: переполняла «свалившаяся» красота.

– Что с вами? Вас не узнать! – говорили мне все.

А я не понимал, о чём они. Я-то лишь отражал…

И разве могло быть иначе?! Молодость мира…

На итоговом сеансе массажистка-подросток Яна, как ни странно, узнала «освежённого» озером.

– Ты? – произнесла, приняв меня за… ровесника. И пальцы её сказали всё…

А врач Аиа Султановна, выписывая («на волю»), спросила:

– Ну что, юноша, вы довольны? Результат, как видите, – налицо.

– О, я благодарен вам, доктор! Но в чём омолаживающий эффект?

– В восприимчивости! Критерий же, чем мерить молодость, – в вас… вещественное доказательство моей диссертации… Молодейте! – «Дщери султана» жаль было расставаться. И не забывайте удивляться! – напутствовала.

…А тут приехали в Москву – *по новой* весна.

И что остаётся? Удивляться вновь…

«СЕТЧАТКА»

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

МЕСТО СИЛЫ
эссе о необыкновенных вещах,
произошедших на фоне разнообразных пейзажей

Мы уехали на Липно, как только закончился карантин. Выбор был очевиден – самое большое в Чехии озеро, горы, австрийская граница рядом. Её мы так и не пересекли, хотя порывались поначалу – хотели выпить кофе в ближайшем к границе городке. Такой ритуал – чтобы убедиться, что жизнь возвращается в прежнее русло. Но на Липно было так здорово, что идея эта как-то растворилась сама собой в свежем – чуть не написал морском – воздухе. Собственно, Липно – это чешская Ривьера, чешский аналог любимого одесситами Каролино-Бугаза; мы поняли это сразу по приезду, и, ошарашенные тем, что действительность многократно превзошла наши ожидания, наслаждались каждым днём. Хотя погода для конца мая и начала июня была совсем нетипичная. Казалось, что долгая холодная карантинная весна всё длится и длится, а лето где-то далеко и наступит не скоро.

Погода и правда менялась по три раза на дню; в часы, когда выглядывало солнце, вполне можно было загорать, но длилось это недолго, и потом сразу лил дождь – хотя нет, не лил, а брызгал, «пршил», как говорят чехи. Всё это только добавляло очарования этому озеру, берегу, горам. В день перед отъездом я ушёл вдоль озера к дамбе, отграничивающей его от Влтавы, и был поражён тем, какой небольшой она была, особенно по сравнению с той Влтавой, к которой мы привыкли в Праге. Хотя – что я говорю, я ведь переходил однажды Влтаву вброд на полпути отсюда к Чешскому Крумлову, и воды там было ровно по колено.

За то время, что я шёл к дамбе, дождь дважды начинался и прекращался. Дорожка петляла вдоль берега, и я поймал себя на мысли, что вся эта невероятная красота кругом – умытые дождём серые скалы, тёмно-зелёный лес, серо-голубая гладь озера – очень немецкая. Эстетически – всё совершенно. Но понимаешь это лишь умом, который и пытается тебя в этом убедить. При этом в глубине – если угодно, в душе – всё спокойно, почти ничего не отзывается, не резонирует с этой красотой.

Великий Адальберт Штифтер, которого я начал читать после прогулки по озеру на пароходике его имени, родившийся как раз на берегу Липно, в тогдашнем Оберплане, великолепно описывал эту природу – и летнюю, и зимнюю:

«Когда же мы наконец добрались до Таугрунда и лес, постепенно спускающийся сюда с высоты, всё ближе подступал к дороге, мы внезапно услышали в тёмной роще, что стояла на красиво вздымающейся вверх скале, треск, настолько странный, что ни один из нас во всю свою жизнь не слыхивал ничего подобного – было так, будто пересыпались тысячи, если не миллионы стеклянных палочек, в таком тысячекратном звенящем гомоне уносясь куда-то вдаль.

<…> Когда же мы добрались до того места, где должны были въезжать под своды леса, Томас остановил лошадь. Прямо перед нами стояла тонкая и стройная ель – но она согнулась наподобие обода и образовала нечто вроде арки на нашем пути, – такие делают для вступающих в город императоров. Не описать, какое ледяное изобилие, какое бремя свисало с деревьев. Словно люстры с укреплёнными на них в бесчисленном множестве перевёрнутыми свечами и свечками самых разных размеров стояли хвойные леса. Все свечи отливали серебром, и сами подсвечники были серебряными, и не все из них стояли прямо, некоторые были повернуты в самых разных направлениях. Теперь нам был знаком шум,

прежде слышанный нами в воздухе над головой, – вовсе и не был он в воздухе, он был совсем рядом с нами. На всю глубину леса стоял этот непрерывающийся шум, потому что непрестанно ломались и падали на землю ветви и ветки, большие и малые».

Впечатляет. Захватывает. И очень… по-немецки.

Недаром Штифтера так ценил Ницше.

Да-да, я помню о том, что сам Ницше жаловался на отсутствие признания как раз со стороны немцев: «…ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели – сплошь изысканные, испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях; есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке – везде открыли меня: меня не открыли только в плоскомании Европы, в Германии». Или вот ещё: «По-немецки думать, по-немецки чувствовать – я могу всё, но это свыше моих сил…».

И всё же он – воплощение немецкой мысли. По крайней мере, для меня.

Дождь не прекращался и начал доставлять неудобства – спортивная кофта, хоть и с капюшоном, но хлопковая, промокла. А мне вспомнилась другая наша поездка, предпринятая несколькими годами ранее как раз по местам Ницше. Точнее, одному месту. Тогда мы поехали в швейцарскую деревушку Зильс-Мария – рядом с роскошным Санкт-Морицем, – в которую философ приезжал в летние месяцы в течение семи лет, с 1881 по 1888 годы. И не только в летние – например, третью часть самой своей знаменитой книги «Так говорил Заратустра» он написал тут всего за двенадцать дней, с восьмого по двадцатое января 1884-го.

Помимо «Заратустры», в Зильс-Марии он написал – или задумал – свои главные книги: «По ту сторону добра и зла», «Весёлую науку», «Сумерки идолов», «Антихрист», «Генеалогия морали», «Дионисовы дифирамбы».

Здесь он пишет «ECCE HOMO», где есть такие слова:

«Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, здоровый воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь как простудиться. Лёд вблизи, чудовищное одиночество – но как безмятежно покоятся все вещи в свете дня! Как легко дышится! Сколь многое чувствуешь ниже себя! – Философия, как я её до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью».

Именно здесь озарила его идея «вечного возвращения». Именно здесь придумал он образ своего Заратустры:

«Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, мысль о вечном возвращении, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, – относится к августу 1881 года: она набросана на листе бумаги с надписью: “6000 футов по ту сторону человека и времени”. Я шёл в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагромождённого блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль».

Марио Варгас Льоса после приезда сюда писал: «Когда Ницше летом 1879 года впервые приехал в Зильс-Мария, его состояние было ужасным. Он быстро терял зрение, его мучили головные боли, а болезни вынудили оставить кафедру в Базельском университете, где он преподавал в течение 10 лет. Тогда это был далёкий район в горах Энгадина, куда редко приезжали люди из других мест. Ницше сразу полюбил его чистейший воздух, таинственность и строгость гор, шум водопадов, спокойствие озёр и лагун, белок и даже огромных горных котов.

Он стал чувствовать себя лучше, писал письма, восторгаясь этими местами, и с тех пор в течение семи лет ежегодно приезжал в Зильс-Мария на три-четыре летних месяца. Он всегда любил пешие прогулки, побродить здесь по крутым склонам гор, поразмышлять на продуваемых ветрами вершинах, где иногда садятся орлы, записать афоризмы в своих маленьких записных книжках, одно из его любимых средств выражения, превратилось в образ жизни.

<…> Многие отрицательные высказывания Ницше в адрес религии и, в первую очередь, христианства, мысль о том, что догмат о земной жизни как о переходе в жизнь вечную является главным препятствием для того, чтобы люди были действительно свободны, независимы и счастливы, сбросили оковы рабства, не дающего развития их творческому началу и критическим воззрениям, мешающего приобретению научных знаний и инициативам в области искусства, зародились и созрели именно здесь, в Зильс-Мария.

<…> Его страшный приговор, ставший одновременно предсказанием о том, какая культура будет преобладать в ближайшем будущем – «Бог умер», – не была криком отчаяния, а оптимизма и надежды, убеждённостью, что в будущем мире люди, освобождённые от цепей религии и мифологии потустороннего мира, станут работать во имя того, чтобы перенести рай из заоблачных высот сюда, на Землю, в нашу повседневную действительность».

Для самого Ницше рай, похоже, находился как раз здесь. «Я не знаю ничего, что бы подходило моей натуре больше, чем этот горный уголок», – писал он своему другу Францу Овербеку в Базель 23 июня 1881 года.

Я никогда не был сторонником философии Ницше. Но швейцарские друзья рассказали нам, что горы и озёра вокруг Зильс-Мария – это настоящие места силы, места с повышенной энергетикой, и впечатления от их посещения останутся у нас на всю жизнь.

И мы поехали, лелея тайную надежду на озарение.

Приехали туда в начале мая. В Санкт-Мориц ехали на знаменитом «Ледовом экспрессе» с огромными окнами и стеклянным потолком, и виды снаружи поражали воображение – заснеженные поля сменялись зелёными лугами, солнце – дождём и мокрым снегом, виадуки сменялись туннелями, а настроение, и без того приподнятое, улучшалось после каждого бокала шампанского.

Из Санкт-Морица в Зильс-Марию идёт автобус. Ехать нужно всего двадцать минут.

Май – мёртвый месяц в швейцарской глубинке. Хотя – какая в Швейцарии глубинка? И всё же – лыжный сезон уже завершён, лето ещё не началось, и швейцарцы как раз в это время берут отпуск. Так что в музей Ницше, расположенный в том самом доме семьи Дуриш, где он жил в летние месяцы, с заботливо сохранённой комнатой, поражающей аскетической обстановкой, в доме, где, по словам философа, можно было купить английские бисквиты, солонину, чай, мыло, – «да в общем всё, что угодно», мы не попали. И сразу пошли туда, где установлена мемориальная табличка со словами из «Так говорил Заратустра» – в самый конец полуострова Часте, далеко выступающего в озеро Зильс. Пошли дорогой Ницше, внимательно вслушиваясь в себя. Он ведь гулял здесь ежедневно, подолгу – семь, восемь и даже десять часов в день не были для него чем-то необычным. И всегда брал с собой тетради в линейку – чтобы сразу записывать пришедшие в голову афоризмы и наброски к будущим книгам.

К полуострову мы шли по просторному мокрому лугу. Прошлогодняя трава, всё ещё покрытая кое-где тонким слоем снега и даже коркой льда, только-только начинала оттаивать. В сотне метров от нас женщина выгуливала собаку, которая радостно прыгала, время от времени утопая в мокрой траве. Точно так же утопали и мы. Больше – как минимум на несколько километров вокруг – никого не было. Ни шума, ни дуновения ветра – только луг, лес за ним и огромное небо над заснеженными горами. Природа словно готовилась произвести на нас сильнейшее впечатление.

И вот мы на полуострове. Высокие сосны, покрытые мхом камни, еле заметные тропинки – и тишина.

Когда мы дошли до заветного камня, перед нами открылся потрясающий вид на озеро, в голубой воде которого плавало небо с белыми облаками, а у кромки воды всё ещё держался лёд.

На камне были выбиты слова Ницше:

О, внемли, друг!
Что полночь тихо скажет вдруг?
«Глубокий сон сморил меня, –
Из сна теперь очнулась я:
Мир – так глубок,
Как день помыслить бы не смог.
Мир – это скорбь до всех глубин, –
Но радость глубже бьёт ключом:
Скорбь шепчет: сгинь!
А радость рвётся в отчий дом, –
В свой кровный, вековечный дом!»

Мы и до этого не особенно болтали, а тут замолчали совершенно. Я пытался почувствовать то, что мог чувствовать тут Ницше. Это ведь было местом его силы.

Увы, безуспешно. Что-то смутное, ровное, холодное ощущалось внутри. И только ум пытался убедить чувства – ну вот же оно, то самое, ради чего ты приехал!

Ум пытался тщетно.

Конечно, мы сделали фотографии, на обратном пути так и не смогли найти в деревне ни одного открытого кафе и готовы были даже пить молоко из автомата – в Швейцарии есть специальные автоматы, в которых можно купить свежее разливное молоко. Но, увы, у нас не было ни бидона, ни бутылки.

В пустом автобусе, ехавшем обратно в Санкт-Мориц, и потом, по пути в наш отель с самым большим в мире виски-баром, я вспоминал ещё одну историю. Совсем другую историю.

Успенский мужской монастырь в Одессе, на мысе Большой Фонтан, с детства был для меня местом загадочным и притягательным.

Я вырос на 6-й станции Большого Фонтана, и он так и остался для меня счастливым островом детства, отдельной от города территорией, где чем дальше, тем ближе ты к первозданной причерноморской природе – степь, обрыв и бесконечное море внизу.

И пусть знаменитую сцену из фильма «Раба любви» снимали в трамвае, идущем в Черноморку, но я помню похожее ощущение и на Фонтане – конечно, осенью и зимой. После восьмой станции дома

становились всё ниже, а ощущение прекрасной заброшенности и одиночества – сильнее. После 11-й уже видно море, а за мысом, за монастырём, цивилизация, казалось, совсем заканчивалась. В туманные дни был слышен гудок маяка – такие дни я любил больше всего.

Для мальчика, выросшего в застойное время, всё, связанное с религией, было покрыто ореолом тайны. В монастырь мы выбирались редко, туда нужно было ехать на двух трамваях, а потом идти по переулку в сторону моря. Все моё представление о монахах и монашестве было воплощено в нескольких картинах Кириака Костанди – «Цветущая сирень», «Ранняя весна», «Вечер», написанных как раз в этом монастыре. Удивительно, но, много раз приходя с родителями в гости их друзьям, Николаю Алексеевичу Полторацкому, его дочери и зятю, в их городскую квартиру и на дачу, я не только не понимал масштаба личности этого человека, но и того, что он преподаёт в духовной семинарии при этом самом загадочном монастыре и является одним из крупнейших церковных деятелей не только Одессы, но и всего тогдашнего Союза. Имена его друзей и сподвижников по церковно-богословской деятельности во Франции – Николая Бердяева, Ивана Ильина, отца Георгия Флоровского, отца Сергия Булгакова, Николая и Владимира Лосских – я узнал гораздо позже. Правда, была одна вещь в квартире Николая Алексеевича, которая поразила меня до глубины души – его библиотека в квартире на Пушкинской, на бывшем подворье Ильинского монастыря. Книжные полки в длинной, узкой комнате достигали высоты потолка, а он был таким высоким, что к полкам была приставлена специальная лестница. У окна стояли старый стол и стул с кожаным сиденьем. Полумрак этой библиотеки я помню до сих пор, хотя прошло почти сорок лет. Такую библиотеку – с полками от пола до потолка – я повторяю теперь во всех квартирах, в которых живу.

Позже, в конце восьмидесятых, я уже бывал в монастыре на всенощной, а ещё мы с дедушкой ездили туда за чистой водой из монастырского источника. Одесская водопроводная вода, жёсткая и сильно хлорированная, опасна для здоровья, а знаменитая монастырская вода, добываемая из глубокой артезианской скважины, всегда мягкая и сладкая на вкус.

После этого я не бывал в монастыре лет пятнадцать. Там провели грандиозную перестройку, возвели колокольню над воротами, новый храм, и стиль этих преобразований мне совсем не нравился.

Уже и не помню, почему я решил туда заехать. Ехал то ли на пляж, то ли в рыбный ресторан, который был чуть ниже по переулку. И захотелось вдруг войти в монастырский двор, посмотреть на новые постройки и вспомнить детство.

Рядом с новым храмом был вход на кладбище, на котором я никогда не был. Повинуясь мимолётному порыву, я зашёл туда, чтобы найти могилу Николая Алексеевича. Монастырское кладбище небольшое, усаженное розами, и я неспешно гулял по нему, вглядываясь в надписи на памятных досках. День был жарким, даже знойным, и спустя недолгое время я решил сделать перерыв в своих поисках и постоять немного в тени деревьев, растущих вдоль края кладбища. И тут, внезапно, произошло удивительное – жара летнего дня отступила, меня охватило чувство радости и любви ко всем, ко всему миру. Я словно услышал пение райских птиц. Это было полное, ничем не нарушаемое блаженство. Я стоял, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть, не утратить это чувство – чувство безграничной любви и абсолютной защищённости. Я был совершенно один, в тишине, только ветер тихо шевелил листья деревьев.

Прошло минут пятнадцать, и на кладбище появились люди. Стоять в одной позе и на одном месте дальше было неловко; к тому же я хотел понять, что со мной произошло. И стал смотреть на имена тех, кто был похоронен рядом.

Метрах в семи я увидел надгробную плиту с надписью: «Здесь был погребён преподобный Кукша Одесский, святые мощи его находятся ныне в Свято-Успенском храме монастыря». Хотя я ничего совершенно не знал тогда о Кукше и даже ни разу не слышал его имени, я сразу понял, что всё дело именно в нём.

Но у самой бывшей могилы испытанное только что потрясающее чувство не возникло. Я вернулся назад – и снова услышал пение райских птиц.

Уже позже, читая во многих источниках о жизни святого Кукши Одесского, я нашёл упоминание о том, что похоронили его на самом деле несколько поодаль от могильного камня. Сделано это было по многим причинам, но главной было сохранение его останков в неприкосновенности. В то глубоко советское время от властей можно было ожидать чего угодно. Ведь и похороны были скорыми – умер он в два часа ночи, а в два часа дня над могилкой уже стоял крест. Власти страшно боялись большого стечения людей – его знали и любили не только в Одессе, но и во всей стране. Власти даже настаивали на похоронах на родине Кукши, в селе Арбузинка Николаевской области, но наместник монастыря объяснил, что родина монаха – это его монастырь.

Уже уходя с кладбища, я нашёл могилу Николая Алексеевича, а потом увидел на монастырских воротах образ Кукши. Позже много читал о нём, а год спустя вернулся на то же место, проверить, не было ли всё произошедшее случайностью.

Эффект был таким же. Оттуда просто не хотелось уходить.

Места силы бывают разные.

Пока я предавался воспоминаниям, погода на Липно изменилась. Дождь прекратился, выглянуло солнце, и пейзаж волшебным образом преобразился. Солнечные блики в воде чудесно переливались, а из небольшой марины, подняв белые паруса, выходила яхта. Лучи солнца пробивались сквозь кроны деревьев, и напоённый ароматами сосен воздух можно было просто пить.

Да, в этой немецкой природе определённо что-то есть.

Вернувшись домой, я продолжил читать Штифтера. И почти сразу нашёл в повести «Потомки» ещё фрагмент на соответствующую тему:

«Итак, я вдруг стал пейзажистом. Это ужасно. Попадёте ли вы на выставку новых картин – там вы увидите великое множество пейзажей; придёте ли вы в картинную галерею – там число пейзажей будет ещё больше; если же собрать и выставить на всеобщее обозрение все пейзажи, написанные современными пейзажистами – теми, кто хочет продать свои картины, и теми, кто не помышляет их продавать, – какое несметное множество пейзажей предстало бы нашим взорам! Я уж не говорю о скромных барышнях, тайком пишущих акварелью плакучую иву, а под ней какую-нибудь увенчанную зеленью урну среди цветущих незабудок, – творение это предназначается в подарок маменьке к дню рождения; я не говорю также о набросках на листке альбома, которые путешествующие дамы или девицы делают на память, стоя у борта парохода или у окна гостиницы; я не говорю ни о тех пейзажах, которыми виртуозы каллиграфии украшают свои виньетки, ни о кипах рисунков, ежегодно изготовляемых в женских пансионах, – среди них тоже на каждом шагу попадаются пейзажи с деревьями, на которых растут перчатки, – если прибавить всё это, лавина пейзажей погребёт под собою отчаявшееся человечество. Значит, создано уже предостаточно писанных маслом и вставленных в позолоченные рамы пейзажей. И всё же я хочу писать пейзажи маслом – столько, сколько успею за время, отмеренное мне судьбой. Мне теперь двадцать шесть лет, моему отцу пятьдесят шесть, деду восемьдесят восемь, и оба они такие крепкие и здоровые, что могут прожить и до ста лет; мои прадед и прапрадед, а также их деды и прадеды, по словам моей бабки, все умерли за девяносто; если и я проживу так долго, причем всё время буду писать пейзажи и все сохраню, то, вздумай я перевезти их в ящиках вместе с рамами, потребовалось бы не меньше пятнадцати пароконных повозок с лучшими тяжеловозами в упряжке, и это при условии, что иногда я всё же позволю себе провести денёк-другой в праздности и довольстве.

Тут есть над чем подумать».

Штифтер положительно прекрасен.

«Часто, разглядывая бесчисленные корешки книг, собранных в публичных библиотеках, или просматривая каталоги новых изданий, я задавался вопросом, как это могут люди писать ещё одну книгу, когда уже столько их написано; в самом деле, если сделано новое, удивительное открытие, его стоит описать и объяснить в книге, но если хотят просто о чем-либо рассказать, когда уже столько всего рассказано, то это представляется мне явно излишним. И всё же с книгой дело обстоит куда лучше, чем с пейзажем, написанным маслом и вставленным в позолоченную раму. Книгу можно засунуть куда-нибудь в дальний угол, можно вырвать из неё страницы, а переплётом закрывать кринки с молоком; что же до картины, то людям жалко позолоченной рамы, и потому сменится несколько поколений, прежде чем она перекочует в какой-нибудь из переходов замка, в сени трактира или лавку старьёвщика, чтобы потом, когда багет потеряет позолоту, а на полотне оставят след все перипетии её судьбы, попасть, наконец, в чулан, где её что ни год будут переставлять из угла в угол и где она всё ещё будет блуждать как призрак самой себя, в то время как от книги давно уже не останется ни единой страницы, а переплёт успеет покрыться плесенью и сгнить на свалке.

Но я не чувствую за собой вины.

Я и в мыслях не держал стать пейзажистом. Разве не получил я первую премию в латинской школе бенедиктинского аббатства? Разве это не означает, что я усердно изучал латынь? А также и греческий? И разве не зубрил я как проклятый географию и историю? Но был в школе и класс рисования. Я запрыгал от восторга, увидев однажды сделанный учеником старшего класса рисунок тушью: бледно-розовую колонну на бледно-зеленом, оттенка бронзовой патины, фоне».

Ну что же, просто о чём-либо я уже рассказал.

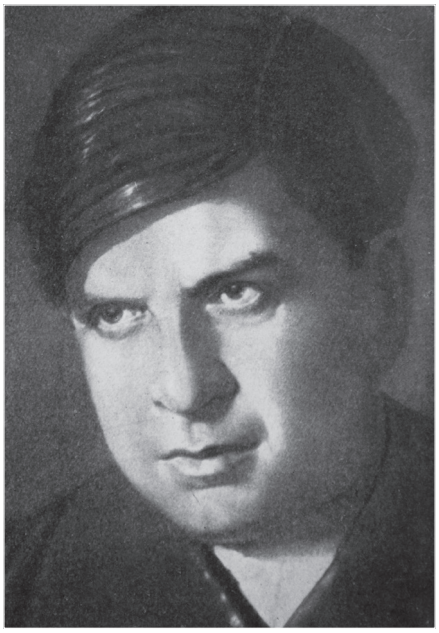
Подамся, пожалуй, в пейзажисты.

«ЛИТМУЗЕЙ»

К 125-летию Эдуарда Багрицкого

СЕРГЕЙ ЗЕНКЕВИЧ

ЕДИНОЙ ФРАЗЫ РАДИ
Эдуард Багрицкий и Михаил Зенкевич: по одесскому меридиану



Эдуард Багрицкий. 1920-е

Среди стихотворений Михаила Зенкевича периода Великой Отечественной есть одно достаточно известное (недавно ставшее даже ключом к вопросу популярной российской телевизионной викторины) – «Южная красавица»; оно посвящено Одессе, создано между августом и октябрём сорок первого, когда город отчаянно отбивался от германско-румынского натиска. Стихи отнюдь не бодряческие: всё повидавший на веку 55-летний автор понимал – защита обречена, очередной бойне не будет края. Но и от расхожей патриотичности было не уйти; впрочем, она отчего-то подкрашена интонацией совершенно интимной, полушёпотной:

И ревную её, и зову я,
И упрёк понимаю ясней:
Почему в эту ночь грозовую
Не с красавицей южной, не с ней?

Столь «панисестринское» обращение к Одессе поэта, со свойским перечислением топонимов (Ланжерон, Пушкинская…), при отсутствии биографической аргументации, долго озадачивало меня, его самого пристрастного и профессионального читателя.

Вожделенную отгадку принесли архивные розыски: установлено, что, окончив в 1905-м саратовскую гимназию, Михаил чуть-чуть (предваряя учёбу в Германии и Санкт-Петербурге) прошколярствовал в одесском Новороссийском университете, что на помпезной Дворянской улице.

Почему же я не знал об этом раньше? Да просто потому, что после Октябрьской революции поэт по загадочной, требующей глубоких объяснений прихоти сам перекроил и затемнил свои гимназические и студенческие вехи. Дело не в том, чтобы стереть именно одесский отрезочек юности. Приняв добровольно годом рождения 1891-й (взамен доподлинного 1886-го), он вытеснил «на поля» жизни целую цепь событий, пожертвовав и менее чем полугодовой «одессеей», в свете которой, например, отчётливей прочитывается его дореволюционное стихотворение «Потёмкин» («Всё было так суетно, буднично так…»), где даны – не «по источникам», а по живым впечатлениям либо по свежей молве – детали черноморского матросского мятежа в июне пятого года.

А рыцарем «южной красавицы» Зенкевич всё же остался и вдруг проговорился об этом исподволь во взволнованных строфах военных дней…

Так или иначе, «тайный» одессит явно имел литературное влияние на несколько поколений одесситов патентованных, заявивших о себе в 1910-х и 1920-х; назовём Юрия Олешу, Бориса Бобовича[1], Марка

Тарловского, Семёна Липкина… Даровитейший из них – Багрицкий – увековечил дань признательности в надписи на дебютном «Юго-западе»: «Михаилу Александровичу Зенкевичу – одному из моих учителей – на память. Э. Багрицкий. 27/III 1928»[2].

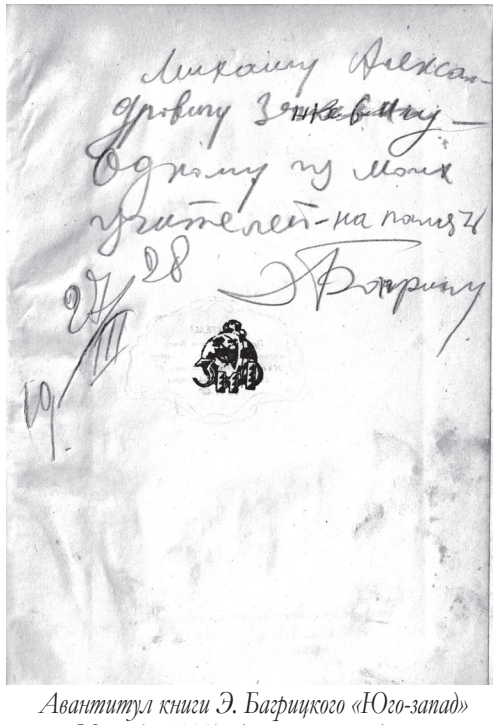
Зенкевич и Багрицкий воистину сплочены не только поэзией – монолитным миронаследованием.

Предположительно, поэты увиделись в 1925-м, когда Багрицкий обосновался в Москве (Зенкевич стал москвичом в двадцать третьем). Естественно, знакомство переросло в тесное приятельство, но, даже регулярно общаясь, работая бок о бок, они неизменно «выкали». Им довелось вести на пару отдел поэзии в «Новом мире», где перед их взорами проворачивались кипы свеженаписанного – и кавказские стихи Асеева, и «очень зелёные, наивные местами» строчки упомянутого Липкина, и вирши некоего Гука (эпигона Маяковского)… О представленных летом 1931-го Мандельштамом «Москве» и «Фаэтонщике» Зенкевич (с напускной отстранённостью) докладывал «новомирскому» главреду: «Мы оба (я и Багрицкий) находим, что стихи, несмотря на несколько мрачный тон, приемлемы…»[3].

Михаил Зенкевич. Москва, 1920-е

Встречи – по службе и по дружбе – бессчётны; совместные фотоснимки, правда, не выявлены (возможно, снять никто попросту не сподобился). Главное: они неоднократно касались творчества друг друга. Ещё в одесскую бытность Багрицкий откликнулся в газете «Моряк» на сборник зенкевичевских переложений поэзии Фердинанда Фрейлиграта (это подсказка, что Багрицким прилежно учитывалась и практика Зенкевича-переводчика). Весной 1928-го Михаил Александрович отдарился объёмистой рецензией на «Юго-запад». А Багрицкий по-настоящему пособил в 1933-м рецензиями-рекомендациями к назревавшему избранному Зенкевича, находившегося в силу своего генезиса на подозрении у тех, кто тогда правил литературой.

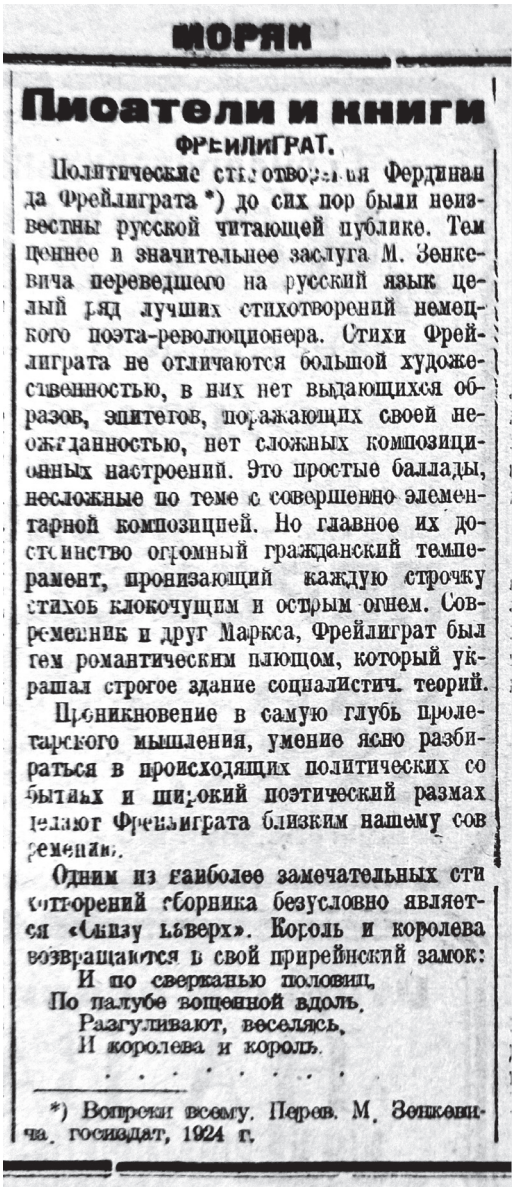
Уход Эдуарда отозвался тут же в любящих его сердцах. 19 февраля 1934-го в «Вечерней Москве» мелькнул крошечный реквием (день смерти – 16-е); соавтором Зенкевич взял Владимира Нарбута[4] (как известно, и поэтического побратима Багрицкого, и свояка: их жёнами стали сёстры – Серафима и Лидия Суок). Протомившись почти 85 лет под спудом, текст удостоился – всецело неудовлетворительной – перепечатки в давешнем «Собрании сочинений» Нарбута: некоторые строчки искажены до абракадабры, вдобавок заявлено, что произведение ни разу не обнародовалось.



Авантитул книги Э. Багрицкого «Юго-запад» (М. – Л., 1928) с дарственной надписью автора М. Зенкевичу от 27 марта 1928 (Государственный литературный музей, Москва).

Мемуарный рассказ Зенкевича «В углу за аквариумами» публиковался дважды – в эпоху предвоенную (в легендарном альманахе «Эдуард Багрицкий» 1936-го) и в эпоху застойную, перекочевав (с добавлением датировки) в 1973-м в том «Эдуард Багрицкий: Воспоминания современников» (подписано к печати 15 июня; Михаил Александрович скончался 14 сентября). Факт создания очерка беспрецедентен: подобных развёрнутых приношений в прозе Зенкевич не делал больше никому из современников-литераторов. Эссе показательно и упоминанием «Ворона» По (взяться за его перевод Зенкевичу предстояло в сороковых), и «классово шаткой» отсылкой к «Фаусту», и красочным пассажем о Бенедиктове (заметим кстати: Ахматова, вовсе не благоговевшая перед Багрицким, в 1939-м ему в унисон нахваливала бедного Бенедиктова[5]).

Но и за рамками очерка – масса достопамятного и примечательного. Вот – недатированная характерная кулуарная записочка Багрицкого к Зенкевичу по поводу их текущих редакторских обязанностей (записки такие рож-



МОРЯК

Писатели и книги

ФРЕЙЛИГРАТ.

Политические стихотворения Фердинанда Фрейлиграта *) до сих пор были неизвестны русской читающей публике. Тем ценнее и значительнее заслуга М. Зенкевича переведшего на русский язык целый ряд лучших стихотворений немецкого поэта-революционера. Стихи Фрейлиграта не отличаются большой художественностью, в них нет выдающихся образов, эпитетов, поражающих своей неожиданностью, нет сложных композиционных настроений. Это простые баллады, несложные по теме и совершенно элементарной композицией. Но главное их достоинство огромный гражданский темперамент, пронизающий каждую строчку стихов клокочущим и острым огнем. Современник и друг Маркса, Фрейлиграт был тем романтическим плющом, который украшал строгое здание социалистич. теорий.

Проникновение в самую глубь пролетарского мышления, умение ясно разбираться в происходящих политических событиях и широкий поэтический размах делают Фрейлиграта близким нашему современ.

Одним из наиболее замечательных стихотворений сборника безусловно является «Снизу вверх». Король и королева возвращаются в свой прирейнский замок:

И по сверканью половиц,
По палубе вощенной вдоль,
Разгуливают, веселясь,
И королева и король.

. . . . . .

*) Вопреки всему. Перев. М. Зенкевича. Госиздат, 1924 г.

Первая публикация рецензии Э. Багрицкого на сборник переводов М. Зенкевича из поэзии Ф. Фрейлиграта (газета «Моряк» (Одесса), 14 декабря 1924)

дались во множестве): «Дорогой Михаил Александрович! Посылаю Вам очень хорошие стихи Б. Уральского и думаю, что они гораздо лучше того говна, которые помещаются <sic> в «Новом Мире». Стишки, вроде Миниховских, ничего, кроме как ущерб и для кассы, и для читателя, не приносят. С товприв<етом>, ЭБ»[6]. Своеобразное развитие этого вердикта – их сверхлаконичная эпистола в «Литературку»: «*Письмо в редакцию*. Считая недопустимой по тону статью тов<арища> Суркова, мы солидаризируемся с ним в оценке творчества А. Миниха. *Эд. Багрицкий, М. Зенкевич*»[7]; поясним: Алексей Сурков аж 17 февраля 1932-го (семью месяцами раньше) тиснул фельетончик «Продолжение следовать не должно! Огонь по приспособленческой пошлости» (выпад против стихотворцев А. Миниха и Е. Крёкшина); мэтры медленно раскачивались, но всё же отреагировали, скорее всего, нехотя – по казённому долгу (Багрицкий-то ещё и состоял в редакции «ЛГ»).

7 декабря 1933-го подписаны к печати те самые «Избранные стихи» Зенкевича, где Багрицкий значится ответственным редактором; нельзя не заметить, что там (в двух разделах из четырёх) изобильно представлен дооктябрьский Зенкевич, коим некогда пленился юный Эдуард.

Жена Зенкевича Александра Николаевна (по принципу: с кем поведёшься) на досуге пописывала рассказики (не публикуя); один из них (доселе не разысканный) – «Поэтесса»; по нашему домашнему преданию, сюжет – быль: приятели-насмешники (среди них – Зенкевич) подослали к Багрицкому под видом «начинающей» расфуфыренную, дико тупую девицу со стопкой невесть чьих заведомо дрянных стишков, а Эдуард Георгиевич чистосердечно силился втемяшить что-то в её ветреную головку…

Согласно пометам Зенкевича на принадлежавшем ему экземпляре «Последней ночи» (1932), он навестил напоследок Эдуарда 11 февраля 1934-го и, разумеется, вместе со всеми провожал его 18 февраля. Зенкевич поставил подпись под газетным некрологом[8], участвовал в мемориальных вечерах, начиная с вечера в московском Театре Вахтангова 28 февраля[9].

Михаил Александрович причастен и вспышечной судьбе сына Эдуарда: на рубеже 1941-1942-го оба участвовали в «ледяном походе» из Чистополя (через Казань) в Москву группы вызванных армейским Политуправлением и военкоматом литераторов; через два месяца Сева погиб на фронте; о том, что помнил и знал в этой связи, Зенкевич в шестидесятых написал юному чистопольскому краеведу Г. Муханову…

Что касается этюда «Из воспоминаний о Эдуарде Багрицком» Игоря Поступальского, поэта акмеистической орбиты, умелого переводчика и критика, то он был предъявлен мною кругу интересантов к 120-летию Багрицкого; сдавая материал, я сознавал, что в нём есть неустранимый изъян, так сказать, конструктивный недостаток; речь – не о мелочи, а о фактографической изюминке. Поясню: ко мне попали листы, где исполненный на машинке сыроватый текст пестрел авторскими дописками; делая эту работу, Игорь Стефанович был совсем стар, да и его гулаговская десятилетка аукнулась и хроническими страхами, и хроническими хворями: пируэты непослушной авторучки в изломанных Колымой пальцах, чудовищность почерка, местами «слепого». Так вот – именно плывущими каракулями он воспроизвёл адресованную ему надпись на «Юго-западе». Разобрать полдюжины слов (как и ещё ряд фраз) не было ни малейшего шанса, даже при моём богатом графоведческом стаже: другого выхода, кроме пораженческого отточия, не оставалось. Но – куда же без мистики – буквально вслед журналу с этой публикацией вышел роскошный иллюстрированный библиофильский синопсис, где я, досадливо изумляясь, увидел фотоизображение не поддавшегося моей расшифровке инскрипта[10]. Принадлежавший Поступальскому

«Юго-запад» уцелел, попав в коллекционерские закрома. Страшно обидно было тогда, что *новое знание* малую малость опоздало. И уж хотя бы для искупления невольного прокола я зажёгся желанием повторить свою «попытку Поступальского». Сейчас оно реализуется.

Данный блок текстов к очередному нечётному «летию» Багрицкого – как бы фиксация набело того пласта сведений, который в основной части уже оказывался на виду, и очерчивание границ крупной, вкусной литературной темы.

Благодарю за ценное содействие А.Ю. Бобосова (Государственный литературный музей, Москва), Т.В. Игошеву (Институт русской литературы, Санкт-Петербург), Н.В. Петрову (Институт мировой литературы, Москва).

[1] В его письме к Зенкевичу от 29 мая 1971 года сообщается о работе Бобовича над книгой мемуаров; о реализации этого замысла ничего, к сожалению, не известно.
[2] Книжные фонды Государственного литературного музея (М.), № 205276.
[3] В этом абзаце использовано содержание рабочих посланий Зенкевича тогдашнему шефу журнала Вячеславу Полонскому 1930-1931 годов.
[4] Тоже причастился Одессы, оказавшись там мимолётно в послереволюционные годы.
[5] Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Том I: 1938–1941. 2-ое изд. испр. и доп. – Paris: Ymca-Press, 1984. – С. 45.
[6] По рукописному подлиннику (Отдел рукописей ИМЛИ РАН (М.), ф. 33 (Э.Г. Багрицкий), о. 3, № 1).
[7] Литературная газета (М.). 1932 (11 сент.). – № 41. – С. 4.
[8] <Группа литераторов> Памяти товарища // Литературная газета (М.). 1934 (18 февр.). – № 19. – С. 2.
[9] См.: <Б. п.> Вечер памяти Э. Багрицкого // Литературная газета (М.). 1934 (4 марта). – № 26. – С. 4.
[10] См.: Искусство автографа: Инскрипты писателей и художников в частных собраниях российских библиофилов. Т. 1: А – И. – М.: Бослен, 2015. – С. 93.

Михаил Зенкевич
[Рецензия на книгу Эдуарда Багрицкого «Юго-запад» (М. – Л., 1928)][1]

«Юго-запад» – первая книга стихов Э. Багрицкого, но книга эта мало походит на обычные дебютные выступления молодых поэтов. Мы имеем дело не с новичком-дебютантом, а со зрелым, вполне сложившимся поэтом, проделавшим большой поэтический путь и имеющим «лица не общее выраженье».

Сборник составлен с большим отбором, в него вошли лучшие последние стихи Багрицкого. Только в начале помещено несколько ранних его стихотворений, и среди них романтическая, выдержанная в стиле Жуковского, баллада «Разбойник» из В. Скотта:

О, счастье – прах, и гибель – прах,
Но мой закон – любить,
И я хочу в лесах, в лесах
Вдвоём с Эдвином жить…

Эту же «старую романтику, чёрное перо» вспоминает Багрицкий в конце книги в «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым», заставляя своего собеседника прервать романтическое описание революционных боёв упрёком:

Багрицкий, довольно!
Что за бред!..
Романтика уволена –
За выслугой лет.

Веянье романтизма, действительно, чувствуется в стихах Багрицкого, но это не старый, наивный, «уволенный за выслугой лет», романтизм, а новый, молодой неоромантизм, порождённый бурями гражданской войны и революции. Багрицкий не уходит, подобно прежним романтикам, «в века загадочно-былые». Он умеет найти романтику не только в революционных бурях («Дума про Опанаса», «Разговор с комсомольцем Дементьевым» и др<угое>), но и в самой будничной обстановке. Даже такие прозаические вещи, как вывеска МСПО, загораются у него романтическим пафосом:

Четыре буквы: «МСПО»,
Четыре куска огня:
Это – Мир Страстей, Полыхай Огнём!
Это – Музыка Сфер, Пари
Откровеньем новым!
Это – Мечта, Сладострастье, Покой, Обман!

Романтикой Чёрного моря, как «Челкаш» Горького, насыщена превосходная лирическая баллада Багрицкого «Контрабандисты». Однако, несмотря на свой романтизм, Багрицкий не теряет острого реалистического взгляда на вещи. Его описания и образы не только красочно-живописны, но и очень чётки и точны.

Багрицкий – лирик по преимуществу, но лирика его насыщена социальным, революционным содержанием. Даже в своей поэме «Дума про Опанаса» он не стремится к холодному эпическому беспристрастию и лирически описывает гибель и тёмного, сбитого с толку махновцами Опанаса, и коммуниста Когана, поправляющего с улыбкой перед расстрелом свои окуляры:

Опанасе, наша доля
Туманом повита…
Опанас, твоя дорога –
Не дальше порога…
Так пускай и я погибну
У Попова лога
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган…

Этот лиризм придаёт большую теплоту и человечность поэме, и читатель с волнением следит за судьбой её героев. Ярко и выпукло очерчены Багрицким не только обе главные фигуры, Коган и Опанас, но и вся обстановка гражданской войны на Украине, Махно со своими таборами, готовящийся к бою, и выезд Котовского с эскадронами. Эта небольшая лирическая поэма – одна из лучших поэм, написанных за годы революции.

Волнующим, свежим, бьющим через край строф лиризмом заряжены и остальные стихи Багрицкого, очень разнообразные по темам, напр<имер>: «Стихи о соловье и поэте» или «Папиросный коробок», оканчивающий книгу бодрой нотой обращения к сыну:

Я знаю: ты с чистою кровью рождён,
Ты встал на пороге весёлых времён!
Прими ж завещанье: когда я уйду
От песен, от ветра, от родины, –
Ты начисто выруби сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины!..

Остро и сильно ощущает Багрицкий жизнь природы: лес и воду, птиц, рыб, зверей («Весна», «Осень»). Таких ярких стихов об охоте, как «Трясина» Багрицкого, где описывается охота на кабана, немного наберётся в нашей поэзии.

Стих у Багрицкого обычно балладный, порывистый и бурный, простой, но гибкий и выразительный.

«Юго-запад» Багрицкого, – несомненно, одна из наиболее ярких книг стихов, вышедших за последнее время.

<1928>

---

[1] Первая публикация: Новый мир (М.). 1928 (май). № 5. – С. 264–265.

Эдуард Багрицкий

ФРЕЙЛИГРАТ[1]

Политические стихотворения Фердинанда Фрейлиграта[2] до сих пор были неизвестны русской читающей публике. Тем ценнее и значительнее заслуга М. Зенкевича, переведшего на русский язык целый ряд лучших стихотворений немецкого поэта-революционера. Стихи Фрейлиграта не отличаются большой художественностью, в них нет выдающихся образов, эпитетов, поражающих своей неожиданностью, нет сложных композиционных построений. Это простые баллады, несложные по теме, с совершенно элементарной композицией. Но главное их достоинство – огромный гражданский темперамент, пронизывающий каждую строчку стихов клокочущим и острым огнём.

Современник и друг Маркса, Фрейлиграт был тем романтическим плющом, который украшал строгое здание социалистических теорий.

Проникновение в самую глубь пролетарского мышления, умение ясно разбираться в происходящих политических событиях и широкий поэтический размах делают Фрейлиграта близким нашему современью.

Одним из наиболее замечательных стихотворений сборника, безусловно, является «Снизу наверх». Король и королева возвращаются в свой прирейнский замок.

И по сверканью половиц,
по палубе вощёной вдоль
Разгуливают, веселясь,
и королева, и король.
. . . . . .
Глядят на горы и на Рейн
и на бурлящий белый след,
Ходить по палубе легко,
как будто в Сан-Суси паркет.

А там, запрятана внизу,
под роскошью и бензной,
Могущая взорвать их всех
стихия накаляет зной.
Там в копоти, в чаду котлов,
под неумолчный шум и свист,
Стоит и управляет всем
он, пролетарий-машинист!

Одного движения руки его достаточно для взрыва судна, с прогуливающимися по палубе королём и королевой. И, сравнивая пароход с государством, машинист говорит, обращаясь к котлам, свистящим и грохочущим от напряжения:

«Стихия, не сегодня, нет!»

Но революция близка. Она уже за дверями, и наборщики социалистической газеты, руководимые редактором, переливают свинец литер в свинец пуль.

Если молчит свободная печать – пусть говорят пули:

Пусть летит в дворцовый замок
негодующее слово
И поёт свободы песню
свистом резко и сурово.
Бьёт наёмников, холопов
и глупца бьёт, атакуя,
Кто на троне – сам накликал
над собой печать такую!
. . . . . .
Вот патроны. Вот и ружья.
Все туда скорей, в народ!
Первый залп уже грохочет…
Революция идёт!

И стихами, подобными этим, наполнена вся небольшая книжка. Мы рекомендуем эту книжку всем любящим революционную поэзию, тем более, что перевод М. Зенкевича сделан хорошим и звучным стихом.

<1924>

[1] Первая публикация (с подписью «Э. Б.»): Моряк. Морская профпроизводственная газета (Одесса). 1924 (14 дек). – № 598. – С. 5. Публикуется по машинописи из личного архива Багрицкого (Отдел рукописей ИМЛИ (М.), ф. 33, о. 1, № 524).
[2] Вопреки всему. Пер<евод> М. Зенкевича. Госиздат, Москва, 1924 г. – Примечание Э. Багрицкого.

Мих. Зенкевич. Оттулы[1]. Избранные стихи[2]

Зенкевич – один из родоначальников акмеизма. В первых его стихах, вошедших в книгу «Дикая Порфира», акмеистическая тенденция к конкретному материалу (в противоположность абстракции символистов) проступает особенно явно. Он пишет об инфузориях, о гибели мира, об оленях, дерущихся весной, и т. д. Всё это сделано очень крепким стихом, энергичным и точным. С возрастом Зенкевич начинает экспериментировать. Классические размеры заменяются ударными, метафора осложняется, рифма деформируется в ассонанс. От старых акмеистов Зенкевич отличается тем, что явления окружающего мира целиком отражаются в его творчестве. Ряд стихов о войне и революции подтверждают это.

Последние стихи Зенкевича очень любопытны тем, что поэт, не отказываясь от своего прежнего восприятия мира, старается через них принять современность. Конечно, у него поэтому много срывов. Но поэтический голос Зенкевича так ещё свеж, любопытство к жизни так велико, что даже неудачи его становятся интересными. Книжка формально и идейно на высоком уровне.

Я решительно за.

Э. Багрицкий.[3]

<1933>

[1] Слово отсылает к строке Зенкевича «Ловя сирен далёкие оттулы…» (стихотворение «В зоологическом музее»); вероятно, он планировал назвать так своё избранное, но в итоге предпочёл нейтральное заглавие «Избранные стихи».

[2] Первая публикация: Учёные записки [Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена]. Том 67: Кафедра русской литературы. – Ленинград, 1948. – С. 248. Публикуется по авторской рукописи (Отдел рукописей ИМЛИ (М.), ф. 33, о. 1, № 523).

[3] В рукописи под этой строкой – рукописная резолюция сотрудника издательства «Советская литература» Алексея Суркова: «Согласен с отзывом т<оварища> Багрицкого. А. Сурков».

М. Зенкевич. Избранные стихи[1]

Я недавно давал подробный разбор стихов М. Зенкевича. Редколлегия поручила мне отредактировать его книгу. Из нескольких тысяч стихов[2] я отобрал 2.500 стр<ок>. В книгу избранных стихов Зенкевича вошло лучшее, написанное им, с 1912 г. по 1932 г. В этой книге виден путь поэта-акмеиста, увлекавшегося внешней грубостью и экстравагантностью темы, к преодолению современной тематики. Рост поэта, увеличившего свой поэтический кругозор, хотя бы частичным пониманием происходящего вокруг него, очевиден.

Я считаю необходимым напечатание книги этого хорошего поэта.

Э. Багрицкий.

<1933>

[1] Публикуется впервые по авторской рукописи (Отдел рукописей ИМЛИ (М.), ф. 33, о. 1, № 522).

[2] Т. е. стихотворных строк.

Михаил Зенкевич, Владимир Нарбут
Э. Багрицкому[1]

И без тебя
усатым скалярiям
(Стеклянным угольникам)
в судорожный рот
Зимний полдень,
пронзая аквариум,
Накачивает мотором
кислород.

А в дверь балкона
сквозь циперуса зонтик
В эту же комнату,
напротив, с угла,
Телеграфное солнце на горизонте
Вкатывается,
как рыбий глаз.

А стрелки – в зените
(иль это нам снится?),
Не стрелки, а шприц, –
как бел циферблат.
Некормленые четыре синицы
Когтями по клетке
долбят, долбят.

Синицы, синицы,
Да как же вы свищете,
Когда не сядет больше за стол,
Стащив охотничьи голенища,
Птицелов,
закуривая астматол…

Багрицкий,
Пусть отдал ты сердце с бою,
Летело оно вперёд и вперёд:
В нашей стране –
жито молодое,
Весёлую песню
и смерть не берёт!

<Между 16 и 19 февраля 1934>

---

[1] Первая публикация: Вечерняя Москва. 1934 (19 февр.). – № 41. – С. 3.

Михаил Зенкевич
В углу за аквариумами[1]

Когда я в первый раз посетил Багрицкого в Кунцеве, вся тесная, убогая кухня с комнатушкой за перегородкой, где он тогда ютился с семьёй, была обвешана клетками с певчими птицами. Я насчитал пятнадцать клеток, и птицы так гомонили и высвистывали на разные лады, что трудно было разговаривать. Но они, видимо, совсем не мешали своему хозяину, и он лишь изредка отрывался вдруг от стихов или разговора и прислушивался к какому-нибудь любимому птичьему голосу, обращая на него внимание и гостей. Тут был и чёрный дрозд, взлетевший потом, как ворон Эдгара По, на явор кривобокий в эпиграфе «Последней ночи», и подмосковный зяблик, «предвестник утренней чистоты», и зелёная пеночка, оплакавшая своим двухоборотным свистом пионерку Валю.

Потом, когда Багрицкий стал «побогаче», неугомонных певчих птиц сменили бесшумные рыбы, серебряно-голубые, бархатно-чёрные, радужные, – выходцы из тёплых тропических топей Амазонки и Ганга, беззвучно скользившие удивительно изящными, успокоительно действующими движениями в стеклянных кубах, заботливо подогреваемых снизу керосиновыми лампами.

И мне казалось, что и певчие птицы, и аквариумные рыбы как бы выражали собой две особенности Багрицкого: у птиц он учился пенью, у рыб – молчанию. Рыбы как бы учили его молчать и терпеливо выжидать, пока зрела песня; птицы – петь её свободно полным голосом, когда она, наконец, созрела и сама подступила к горлу.

Наша бурная эпоха часто требует от поэтов немедленного боевого отклика. Она говорит по-военному, словами директора из пролога «Фауста»:

Что зря болтать о настроении?
Оно никогда не явится к тому, кто медлит.
Раз вы выдаёте себя за поэтов,
Так командуйте поэзией…

Неудивительно, что поэты в погоне за злобой дня, в спешке часто срываются и издают хоть и искренние, но поэтически фальшивые ноты. С Багрицким этого никогда не случалось. На боевое требование эпохи он отвечал глубоко лирической боевой песней, звучавшей музыкально чисто на самых высоких нотах.

И в этом – сила его поэзии.

Все стихи Багрицкого производят впечатление исключительной лёгкости и непринуждённости, как будто они сами, без труда вылились песней в счастливые минуты вдохновения. Действительно, Багрицкий мог писать стихи очень легко, мог при желании импровизировать их.

Однажды при мне к нему зашла редакторша детской литературы и принесла пачку последних книг. Она прочла вслух и расхвалила какие-то стихи про ёжика. Но Багрицкий отнёсся к ним холодно.

– Ничего, – сказал он, – только, знаете, такие стишки можно печь десятками в день. Вот хотите, я сейчас в десять минут напишу не хуже этих… Ну, хотя бы про медведя.

Багрицкий заметил время по часам и, пока мы разговаривали, ещё до истечения десяти минут прочёл написанного почти без помарок «Медведя». О стихах этих Багрицкий тут же забыл и подарил листок, по её просьбе, редакторше. (Вскоре после его смерти этот «Медведь» был опубликован в «Литературной газете»[2], но без указания того, как он был написан.)

И, однако, при такой лёгкости в писании стихов Багрицкий, по его собственному признанию, писал мучительно трудно, даже тогда, когда долго лелеянные образы созрели и на него накатывало желание всё бросить и только писать. Он не раз при мне возмущался теми поэтами, которые пишут спешно и небрежно:

– Мажут, а тут кровью изойдёшь, пока напишешь!..

В подтверждение он как-то раз показал мне черновик начала «Последней ночи». Вся страница была исчерчена, видимо, вихрем налетавших на него строф, из которых в окончательный текст вошло всего… две строчки! Остальное (может быть, не плохое само по себе) было безжалостно им отброшено как лишнее.

Если стихи Багрицкого производят впечатление лёгкости, то только потому (говоря словами Льва Толстого), что они «написаны так мастерски, что и мастерства не видно».

Замечательной чертой Багрицкого была его удивительная отзывчивость к хорошим стихам, его всегдашняя заряженность поэзией. Он, как чувствительный приёмник, чутко улавливал все подлинные поэтические волны, откуда бы они ни исходили, и тут же громогласно воспроизводил их в громкоговорителе своего голоса. Поэты в большинстве глуховаты к чужому поэтическому творчеству, – они слишком погружены в своё и на чужое реагируют лишь постольку, поскольку оно влияет на их поэзию или созвучно ей. Багрицкий же радовался хорошим чужим стихам не меньше, чем своим, читал их наизусть другим гораздо чаще, чем свои. Как бы он ни был утомлён после многочисленных посетителей, как бы ему ни нездоровилось, стоило только заговорить об особенно понравившихся ему стихах, как он мгновенно загорался, забывал и про усталость, и про астматол и начинал тут же читать их наизусть, страстно и стремительно. Ничто мало-мальски значительное в современной советской поэзии не проходило мимо Багрицкого. Появление новых хороших стихов было для Багрицкого радостным событием. Помню, как он читал наизусть всем приходившим «Мать» Дементьева, говоря:

– Я рад, что не ошибся в нём…

Даже в старой, дореволюционной поэзии, которую Багрицкий хорошо знал, он умел делать открытия, находить и пропагандировать никем не оценённые, давно забытые стихи, которые воскресали и звучали по-новому в его удивительной читке. Так, у К. Случевского он открыл «Коллежских асессоров»:

Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем взросли, –
Там коллежские наши асессоры
Подходящее место нашли…

В длинной поэме того же Случевского «Снега» Багрицкий очень любил и часто читал вслух отрывок про восход зимнего солнца и, особенно, про нищую старуху Прасковью:

Ну, а Прасковья, напротив того,
Видела, ведала много всего…
Говор кулисы, пиры до утра,
Память деревни, разливов Хопра,
Грубые шутки галунных лакеев,
Благословения архиереев, –
Всё это как-то во что-то слагалось,
Стало старухой, и то, что осталось,
Силой незримой в тайгу притащилось
И, обгорев на морозе, свалилось
В ноги к мордвину, вперёд головой,
Старою льдиной на снег молодой…

У обесславленного Бенедиктова, которого даже произведшие столько переоценок символисты объявили бездарным канцелярским рифмоплётом, Багрицкий тоже открыл немало хороших стихов, например, «Вальс» и «Неотвязную мысль»:

Я гоню её с криком, топотом.
Не стихом кричу – прозой рубленой,
А она в ответ полушёпотом:
«Не узнал меня, мой возлюбленный…»

– У него и научная поэзия есть, – говорил Багрицкий про Бенедиктова. – Вот послушайте-ка его «Перевороты»:

Горы попирая муравчатый склон,
Там мамонт тяжёлый, чудовищный слон,
Тогдашней земли великан толстоногий,
Шагал, как гора на горе…

– Ну, что? – лукаво спрашивал Багрицкий. – Не правда ли, старик таки читал вашу «Дикую порфиру»?

Багрицкому как редактору отдела поэзии изд<ательст>ва «Советская литература» и журнала «Новый мир» приходилось просматривать много рукописей, но всегда он предпочитал оценивать стихи на голос, слушая, как их читает автор, или читал вслух сам.

– Не звучит, – повторял он кратко, бросив стихи на звон, как металл. – Нет, не звучит!

Конечно, если требовалось, Багрицкий мог подробно объяснить, почему не звучит, но часто этого и не требовалось: слушавшему сразу становилось это ясно по звону стиха, – так брошенная настоящая золотая монета даёт другой звон, чем поддельная. Отрицательного мнения своего Багрицкий никогда не скрывал и высказывал его прямо в лицо автору.

– Слабовато… Неважно… – говорил он добродушно-сурово, но таким дружеским тоном, что самые обидчивые авторы не обижались и старались только вникнуть, почему плохо, чтобы потом написать лучше. Эта суровая, добродушная прямота и делала Багрицкого признанным «мэтром», арбитром стиха для многих десятков молодых поэтов и литкружковцев.

Любимым методом исправления чужих стихов, – так же, как и своих, – было у Багрицкого сокращение. Он сразу же после одной читки находил наиболее слабые места и безжалостно их вычёркивал, не боясь нарушить композицию стихотворения.

– Вот теперь гораздо лучше стало, – говорил он обычно после такой быстрой и искусной операции.

Один раз из целой поэмы начинающего автора у Багрицкого получилось небольшое стихотворение, которое можно было печатать. Иногда Багрицкий исправлял неудачные места и сам вписывал целые строки.

За просмотр кипы накопившихся рукописей Багрицкий принимался обычно неохотно:

– Не моё это дело… Вот брошу всё – и буду только писать стихи.

Эта воркотня не мешала Багрицкому внимательно просматривать часто неразборчиво написанные рукописи: от него не ускользала ни одна удачная строка или образ в самых, казалось бы, безнадёжных стихах.

Так как Багрицкий редко выходил из своей комнаты, то отсылать авторов за разъяснениями и ответами часто приходилось к нему на дом. Отсюда – непрерывные звонки по телефону, частые приходы неожиданных посетителей. Это и отрывало от работы, и утомляло Багрицкого, но он терпеливо сносил и толчею в своей комнате, и непрестанные телефонные звонки…

Удивительная отзывчивость и чуткость Багрицкого к поэзии, вместе с обаянием его личности и большим талантом, естественно и незаметно сделали из Багрицкого общепризнанный поэтический центр. Его заставленная аквариумами комната на Камергерском стала как бы центральной поэтической лабораторией, где ставилась невидимая проба на стихи, где выковывалось поэтическое мнение, устанавливался «гамбургский счёт» поэтов.

Даже как будто ничего не делая, сидя в халате на своём диване в углу за аквариумами и отвечая только на беспрерывные телефонные звонки и беседуя с посменно приходящими и уходящими посетителями, Багрицкий делал незаметно большое общественное дело, оценить которое мы можем полностью только теперь, когда его не стало. Через комнату Багрицкого прошёл не один десяток поэтов. На всей нашей поэзии последних лет явно чувствуется влияние Багрицкого. Уход его оставил после себя пустоту, не только потому, что ушёл большой поэт, но и потому, что опустел этот пригревавший стольких поэтов гостеприимный угол за аквариумами на Камергерском….

1935

---

[1] Первая публикация: Эдуард Багрицкий. Альманах под редакцией Влад. Нарбута. – М., 1936. – С. 299–306.

[2] Имеется в виду публикация: Багрицкий Э. Медведь. Неопубликованное стихотворение для детей // Литературная газета (М.). – 1934 (28 февр.). № 24. – С. 4.

Игорь Поступальский
Из воспоминаний о Эдуарде Багрицком[1]

Помнится, Эдуарда Багрицкого я впервые увидел в какой-то погожий весенний день 1927 года. Шёл он по Мясницкой улице (позже – Кировская) по направлению к Лубянской площади (позже – пл. Дзержинского) об руку с поэтом Николаем Дементьевым, тогда мне лично ещё не знакомым, но известным по его выступлениям в университетском клубе и т. д. Собственно, я попросту угадал, что Дементьев идёт об руку именно с Багрицким, – об их дружбе, дружбе старшего с младшим, тогда уже ходили слухи в кругах литературного молодняка.

Багрицкий показался мне человеком высоким и скорее грузным, не по возрасту седоватым, хотя и кудлатым, одетым несколько странно – в какую-то домашнюю куртку, домашние же, как будто, брюки и почему-то обутым в высоченные охотничьи сапоги.

Вскоре, примерно в конце того же года, у меня сложились товарищеские отношения с Колей Дементьевым, который, как и я, был в ту пору студентом ЛИТО тогдашнего этнологического факультета I МГУ (на ул. Моховой, позже – Маркса). Думаю, что Коля в то время посещал лекции столь же «аккуратно», как и я, кроме того, он был студентом 3-го курса, а я – 2-го. Более-менее функционировал тогда в университете литературный кружок, где мне приходилось встречаться с тем же Дементьевым, Артёмом Весёлым, Д. Алтаузеном и др<угими>.

Тогда я, помнится, уже готовил в «Печати и революции» за 1928 статью о Багрицком, появившуюся в № 5 (несколько лет спустя перепечатанную в ленинградском сборнике «Молодая поэзия»).

Как-то, весной 1928 года, после очередного собрания нашего кружка, вечером, Дементьев сказал мне:

– Я хочу познакомить тебя с Багрицким. Поедем сейчас во ВХУТЕМАС, там он сегодня выступает в студенческом кругу.

Тут же на Моховой мы взяли извозчика и поехали на Мясницкую, в знаменитое с начала 20-х годов художественное училище.

Очутились мы в каком-то сравнительно небольшом помещении, переполненном студентами и студентками. Одни из слушателей сидели на стульях или скамьях, другие, совсем демократически, на полу. Перед собравшимися была или какая-то маленькая эстрада, или попросту стоял столик, <…> уже исходил великолепный голос Багрицкого, как раз начавшего читку своих произведений. Читал он вещи, в то время уже довольно известные по журнальным публикациям, – «Ночь», «Арбуз», «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» и пр<очее>. Позже я пришёл к убеждению, что читать стихи так выразительно, как читал Багрицкий, умели разве только Маяковский (вообще непревзойдённый чтец своей поэзии) да ещё, пожалуй, Луговской. Это было преискуснейшее использование всех голосовых данных поэта и материи самого стиха. Багрицкий своей читкой как бы дружески доводил до слушателей каждое выразительное слово, каждый смелый образ, всё богатство рифмы и ритма. С великолепным упоением Багрицкий читал, <…>:

На плацу, открытом
С четырёх сторон,
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон.

Казалось, что слышатся и этот бубен, и это копыто!

Меня поразило, что Багрицкий не только читал всё это наизусть, без малейших запинок, но и то, что читал он с закрытыми глазами…

Наблюдая эту манеру декламации Багрицкого, я, позднее, как-то спросил его о причинах именно такой <…> читки. Помню, он ответил, что некогда, в ранней молодости, стеснялся выступать перед слушателями, терялся при виде множества лиц и принял поэтому решение публично читать стихи только с закрытыми глазами – особенно после того, как однажды кто-то из слушателей показал ему язык. Кроме того, добавил Багрицкий, давая мне это объяснение, так лучше слышишь поэтическое слово, видишь образ.

По окончании чтения Дементьев познакомил меня с Эдуардом Георгиевичем. Тот как-то по-дружески похлопал меня по плечу, буркнул – «благодарю вас за доброе мнение обо мне» и добавил, что был бы рад видеть меня у себя в Кунцево (где он тогда жил с женой и сыном).

– Приезжайте сами, с Колей или с Зенкевичем – вы ведь хороши с ним?

Так началось моё знакомство с Багрицким, если и не перешедшее в дружбу (может статься, лишь по разнице возраста), то, во всяком случае, довольно тесное и продолжавшееся примерно вплоть до смерти поэта (в 1934 году). Встречи мои с Багрицким, собеседования с ним происходили иногда в кругу общих знакомых (например, Зенкевича, Мандельштама, А. Пестюхина – позднее – А. Ольхона) и других,

но было ещё больше встреч и разговоров с глазу на глаз. Поныне я склонен думать, что в отношении Багрицкого ко мне было немало доброжелательной доверительности, чему, вероятно, способствовала некоторая общность литературных вкусов, приверженности к определённым поэтам, наконец, и мои писания о нём самом.

На экземпляре хранящегося у меня «Юго-Запада», в своё время подаренном мне Эдуардом Георгиевичем, есть дарственная надпись, в сущности, при всей её краткости, очень значительная:

«Т<овари>щу Поступальскому
в память того, что
акмеизм не погиб.
20/III 1928. Э. Багрицкий».

С надписью этой, на мой взгляд, следовало бы считаться критикам и исследователям, пишущим о корнях творчества Багрицкого, – особенно тем, кто, лукаво мудрствуя, иной раз пытаются внушать читателям, что Багрицкий-де был мало чем обязан в своём развитии русскому акмеизму. Единственное, что я сам хотел бы здесь подчеркнуть, так это то, что Багрицкий считал себя обязанным в своём поэтическом развитии не столько Гумилёву (ранние увлечения), сколько двум «младшим» акмеистам – Михаилу Зенкевичу и Владимиру Нарбуту. Тут, разумеется, дело не только в том, что с первым из них Багрицкого связывали отношения дружеские, а второй был для него свояком. В творчестве Зенкевича и Нарбута Багрицкому, несомненно, импонировали элементы определённой политической левизны, формального своеобразия и, если уточнять, даже реализма, иногда переходившего в натурализм, наконец, и признаки того, что необходимо прямо называть склонностью обоих поэтов, особенно первого, к научной поэзии.

Мне приходилось неоднократно слышать, как Багрицкий читал, всегда наизусть, стихи Зенкевича периода его «Дикой порфиры», и наблюдать интерес Э<дуарда> Г<еоргиевича> к попыткам позднего Нарбута создать свою научную поэзию.

Возникает, конечно, вопрос о том, при каких обстоятельствах возникла эта дарственная надпись Багрицкого и почему она обращена именно ко мне.

На исходе 20-х – в начале 30-х годов вопрос об акмеизме волновал многих критиков и поэтов. В Ленинграде, например, об акмеизме писали Саянов, В. Друзин, Инн. Оксёнов, Н. Тихонов, в Москве же (а потом в том же Ленинграде) акмеистами занимался прежде всего я. Правильно ли, спорно ли, но я не раз писал о Зенкевиче (ряд статей и заметок), бегло о Гумилёве, Нарбуте, Мандельштаме, затем об элементах акмеизма у Тихонова, Светлова, Саянова, Ушакова, ну и самого Багрицкого. Отсюда понятно, почему Эдуард Георгиевич и сделал подобную надпись на подаренном им мне экземпляре «Юго-Запада».

Помню как сейчас. Упомянутая выше дата – 20.III 1928 года. Маленькая комната в редакции «Нового мира», тогда располагавшегося на ул. Тверской (теперь – ул. Горького), по правую руку, если идти от Кремля к Моссовету, против Центрального телеграфа, повыше. В комнате, после окончания рабочего дня, сидят и беседуют о поэзии – Д. Петровский, П. Орешин, критик А. Лежнев и я. Беседа идёт о Пастернаке, Тихонове, Брюсове. Петровский на чём свет ругает всю поэзию <…> и выделяет только Тихонова:

– У него есть прекрасные строки:

О шашку храбрость греется,
Как о волну – волна.

А. Лежнев хвалит Пастернака, Орешин о чём-то спорит с Петровским. Я что-то говорю о Брюсове и Багрицком.

Тут он, кстати, и входит, в своём обычном домашнем одеянии и сапогах. В руках у него 25 авторских экземпляров только что вышедшего «Юго-Запада». Мы все оживляемся, поздравляем поэта, восхищаемся оригинальным оформлением книги, изданной В. Нарбутом в «ЗИФе». Поэт надписывает присутствующим «Юго-Запад», в том числе и мне (в настоящее время автограф этот передан мною известному московскому библиофилу и собирателю В.В. Лаврову, а в мой экземпляр вклеена ксерокопия).

Затем каким-то образом зашёл разговор о том, что, понаслышке, Багрицкий издавна настолько усвоил различные формы стиха, что шутя способен при желании без труда за несколько минут написать даже сонет на любую тему. Я поинтересовался:

– Так ли это? А ну, напишите тут же сонет, на любую свободную тему!

– Пожалуйста, – заявил Багрицкий.

Он сосредоточился буквально на шесть – восемь минут (кто-то, кажется Лежнев, смотрел на часы) и затем невозмутимо протянул мне листок с сонетом, написанным почти без помарок и обращённым к сидевшей в комнате компании, – «Пел телефон, Орешин восклицал» и т.д.

(Автограф этот, пролежавший в моём архиве примерно 52 года, теперь передан мною на дальнейшее хранение тому же В.В. Лаврову.)

24 января 1982

[1] Первая публикация: Арион (М.). 2015. № 4 (88). – С. 74–77. Публикуется по машинописи с рукописной авторской правкой (архив Сергея Зенкевича, М.).

Тексты М.А. Зенкевича, Э.Г. Багрицкого, В.И. Нарбута, И.С. Поступальского подготовлены к печати и снабжены примечаниями Сергеем Зенкевичем.

АЛЁНА ЯВОРСКАЯ

«ШРАБ НА АДРЕС!»
(Письма Эдуарда Багрицкого в фондах Одесского литературного музея)

В начале XX века многие увлекались графологией – по почерку определяли характер возможного жениха и невесты, надёжность торгового партнера и многое другое.

Те же из одесситов, кому с почерком не повезло – то ли корявый был, то ли выдавал дурную натуру – могли обратиться к профессору каллиграфии Адольфу Коссодо.

Реклама его уроков была пышной и многословной:

«КРАСИВО ПИСАТЬ изящным конторским шрифтом преподаёт ЛИЧНО И ЗАОЧНО (иногородним посредством переписки) А.И. КОССОДО, удостоившийся звания профессора КАЛЛИГРАФИИ в Париже и получивший за блестящее исправление почерков УЧЕНИКОВ И УЧЕНИЦ в 10 уроков золотую медаль и диплом на звание почётного члена Парижской и Берлинской академий искусств. Иногородние выучиваются заочно изящному и красивому почерку в 15 уроков. За 2 семикопеечные марки высылается ПРОБНОЕ ПИСЬМО и подробные условия. Адрес: Одесса, Дерибасовская ул., дом Жульена, № 19, кв. № 9. Проф. каллиграфии А.И. Коссодо».

Не все имели возможность или желание исправить почерк. Ни того ни другого не было у ученика реального училища Жуковского Эдуарда Дзюбина. Главное – написать стихотворение, а каким почерком – дело десятое.

В 1914 году Эдуард Дзюбин избрал себе псевдоним и стал Эдуардом Багрицким, известным поэтом. В Одессе известным, а затем и в Москве. Но почерк его от этого не улучшился.

В 1935-м, после смерти Багрицкого, Институт мозга, куда был передан его мозг, собирал свидетельства близких и современников и систематизировал их. Было там и о почерке:

«Писал очень неразборчиво, почерк носил небрежный характер, буквы несколько разбросаны и растянуты, расположены неровно в отношении линии строки и наклона. Расписывался просто, без завитушек. В грамматическом и синтаксическом отношении писал правильно, <…> лишь, своеобразно строил фразы. Письменная речь вполне связная и логичная. Бывали частые пропуски букв. Сокращения в письме не употреблял, лишь не дописывал в словах конечные буквы, что можно отнести к общей небрежности почерка».

Прошло ровно тридцать лет. В очередном томе «Литературного наследства» были опубликованы письма Эдуарда Багрицкого – всего тридцать. Статья начиналась такими словами: «Письма Багрицкий писал мало и неохотно. Это обстоятельство само по себе является любопытным штрихом в портрете поэта. Характерная особенность публикуемых писем, сразу же бросающаяся в глаза, – их чрезвычайная лапидарность. В отличие от стихов письма писались без черновиков, в большинстве случаев карандашом, сплошь и рядом на первых же подвернувшихся под руку клочках бумаги».

В фондах Одесского литературного музея три рукописи Багрицкого – два письма и записка, адресованные одесским друзьям-поэтам. И они действительно написаны на первом подвернувшемся клочке бумаги.

Одно из писем в 1980 году передал в музей Эмиль Александрович Фурма́нов (нач. 1900-х - 1980), Милька, как называли его одесские друзья. Он был членом двух литературных кружков – «Потоков Октября», где царил Багрицкий, и «Юголефа», где буйствовал юный Сёма Кирсанов. В середине двадцатых годов он был известным человеком: входил в одесскую делегацию на Первом московском совещании работников левого фронта искусств 16-17 января 1925 г. в Москве, позднее делегатом Первого всеукраинского

съезда пролетарских писателей 1925 г. в Харькове. В членском билете он назван «писателем и поэтом». В 1927 году Фурманов переехал в Москву, в 1927-29 гг. работал в газете «Правда». Он был знаком с Ариадной Цветаевой и ухаживал за ней. Злые языки поговаривали, что он работал на «органы». Так ли, нет, уже не узнать. Но письмо друга юности он бережно хранил.

Письмо Эдуарда Багрицкого Эмилю Фурманову

Милый Миля!

Я вообще никогда не пишу писем, и поэтому моё письмо будет кратким. О себе писать нечего. Живу так же одиноко, как в Одессе. Птицы, стихи и всё.

Написал одну новую вещь – «Устина», будет в февральской книжке «Молодой гвардии». Пишу вторую вещь – поэму о махновце, которая нигде не будет напечатана.

Москва – хороший город, декоративный и безалаберный. Холода здесь порядочные, так что 8^0 мороза мы считаем теплом и гуляем в белых брюках и с фиалками в заднем проходе. Благодарю тебя за портвейн, который бы был, конечно, ещё вкуснее, попав по назначению. Несчастного Олендера одесские гении засыпают своими произведениями, и он как человек деликатный только тем и занимается, что ходит по редакциям, получая их обратно с надписями: «возвратить!». Единственные хорошие стихи прислал только Мочан, да и то над ними нужно ещё поработать.

Если написал что-нибудь – пришли. Не устраивать где–нибудь, а так – просто почитать.

Шраб на адрес!

Твой Эдя

Даты в письмах Багрицкий ставил не всегда, можно лишь сказать, что письмо это написано до февраля 1926 года. Багрицкий пишет о стихотворении «Песня об Устине», опубликованном в третьем номере журнала «Молодая гвардия» в 1926 году. «Поэма о махновце» – это «Дума про Опанаса». В том же 1926 г. в июне-июле отдельные главы были напечатаны в газете «Комсомольская правда», полностью её опубликовал журнал «Красная новь» в № 10, в 1928 г. Багрицкий включил «Думу про Опанаса» в свой первый сборник стихов «Юго-запад». Семён Юльевич Олендер (1907-1969) – одесский поэт. Мочан – поэт Рувим Давидович Моран (1098-1986). И Моран, и Олендер начинали в «Потоках Октября».

«Шраб на адрес» – пиши по адресу.

Это письмо было напечатано в «Литературном наследстве», но без первой части, написанной самим «несчастным Олендером»:

Письмо Семёна Олендера Эмилю Фурманову. Из-за старой, выгоревшей, а местами истлевшей бумаги текст письма полностью прочесть невозможно:

Здесь иногда тоскливо, иногда весело. Я слишком выделялся за [неразб.] мороза в моём вузовском [неразб.]

Теперь меня засыпают письмами и стихами. Не всем я сумел помочь. Бродскому устроил стихи в «Комс. правде». Когда пойдут – не знаю.

У меня такая обширная корреспонденция, ей думаю, позавидовал бы сам Чичерин. Ну, в общем, пока конец. К Мейерхольду, в МХАТ. Из всех театров мы с Колычевым сделали себе вторую Массодраму.

Сёмка – байструк, танцует и подженился. Весьма неприятный субъект. Ну, прощай. Пиши о своём новом быте. Что написал? Что задумал? Жду письма Грибоноса.

Твой Сёма

P.S.

Я хотел написать тебе это послание четырехстопным ямбом, но позабыл…

Не беда. Даю место Багрицкому.

А дальше шло приведённое выше письмо Багрицкого. Олендер упоминает одесских поэтов – Давида Бродского, Осипа Яковлевича Колычева и Семёна Кирсанова (байструка Сёму). Чичерин – не поэт Алексей Чичерин, которого Багрицкий знал по Одессе, а нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин. Театр Масодрам (Мастерская социалистической драматургии) действовал в Одессе с 1920 по 1926 годы.

Второе письмо более загадочно. Долгое время считалось, что адресовано оно Виктору Шкловскому, автору рецензии на первую книги Багрицкого «Юго-запад» – ведь именно о книге стихов идёт речь в письме. Но на обороте сложенного вчетверо письма простым карандашом, еле заметно для глаза, был написан адресат «Витя Саянов».

Виссарион Михайлович Саянов (1903-1959) в 1926-1929 годах возглавлял группу молодых поэтов «Смена», с 1931 года был заместителем М. Горького в журнале «Литературная учёба» и одним из организа-

торов серии «Библиотека поэта». Неудивительно, что именно к нему посылает Багрицкий своего ученика и друга, в прошлом «потоковца» (члена «Потоков Октября») Сергей Бондарина. Публикуется впервые, с сохранением орфографии оригинала.

Письмо Эдуарда Багрицкого Виссариону Саянову

Дорогой Витя!

Пользуюсь случаем передать тебе привет. Недавно вышла моя книжка, прочти и напиши мне, что ты о ней думаешь. Податель сего – Бондарин – поэт, и при том хороший. Пусть прочтёт тебе стихи, интересно, как они тебе понравятся.

В Москве всё попрежнему: такая же неразбериха и

Напиши мне. Жду. Мой адрес: Кунцево <неразб>. 17. тел. 61.

Жду письма

Э. Багрицкий

Сергею Александровичу Бондарину (1903-1978), который был, как и Фурманов, одновременно членом «Потоков октября» и «Юголефа», адресована и записка Багрицкого, похоже, ещё одесского периода:

«Серёжа!

Прошу тебя непременно быть у меня к 2 часам дня по <неразб>. Ты не пожалеешь. Твой

Багрицкий».

Письмо и записку Багрицкого, как и почти весь свой огромный архив, сохранившийся вопреки революции, гражданской войне, переездам и аресту в 1944 году, Сергей Александрович передал в 1977 году Одесскому литературному музею.

И теперь посетители могу увидеть, какой почерк был у автора «Контрабандистов» и «Последней ночи».

Во первых строках
Моего письма
Путь открывается
Длинный, как тесьма

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«СВЕТ ИЗНАЧАЛЬНО ПРАВЕДНЕЕ МГЛЫ…»

(Виктор Кирюшин, Ангелы тревоги и надежды. Стихотворения. – М., «Российский писатель», серия «Современная русская поэзия», 2017)

В лучших своих строчках Виктор Кирюшин предельно лаконичен и афористичен. «Ходишь по краю, / Стоишь на краю, / Всем неугоден. / Каждою клеточкой /Осознаю – / Время уходит». Или вот: «Давайте о главном. / О сущем, / Чему и названия нет, / Как этим вот липам цветущим, / Густой источающим свет». Мы видим, что поэт тяготеет к короткой строке. Это такой своеобразный лирический минимализм – чем меньше слов, тем чётче ритм, тем меньше в стихах вещей необязательных. Это классические русские стихи, берущие начало ещё в XVIII веке. Они являют нам чудо гармонии, соразмерности звука и смысла. Звучит пронзительная тютчевско-рубцовская нота.

Звёзд ледяных над городом кочевье,
Когда зима,
Когда темно к шести.
И женщина в автобусе вечернем –
Глаза в глаза
И взгляд не отвести.

Убогий путь меж выбоин и рытвин,
Ползущий в ночь раздрызганный ковчег
И красота,
Подобная молитве,
Та самая, что примиряет всех.

На миг один заставит встрепенуться
И мир забыть, где властвует зима…
А следом надо просто отвернуться
И дальше жить,
И не сойти с ума.

Особенно удаются Виктору Кирюшину пейзажи – подробные, наполненные криками птиц, колыханьем деревьев, подводным движением рыб. И мастерство поэта здесь очень велико. Он сам – соучастник живой природы.

Остановлюсь и лягу у куста,
Пока легки печали и пожитки,
На оборотной стороне листа
Разглядывать лучистые прожилки.

При светлячках,
При солнце,
При свечах
Мир созерцать отнюдь небесполезно:

В подробностях,
Деталях,
Мелочах
Не хаос открывается, а бездна.

Вселенная без края и конца
Вселяла б ужас до последней клетки,
Когда б не трепыхался у лица
Листок зелёный
С муравьем на ветке.

Здесь поэт не только наследует Тютчеву, но и полемизирует с ним. Фёдор Иванович в стихотворении «О чём ты воешь, ветр ночной…» говорит: «О! бурь заснувших не буди – под ними хаос шевелится!». «Не хаос открывается, а бездна», – отвечает Тютчеву Кирюшин. И нужно иметь большой талант, чтобы вести такой разговор на равных.

В обложке книги Виктора Кирюшина использована работа английского прерафаэлита Бёрн-Джонса. И это не случайно. Эстетизм, высокий штиль свойственны и стилю Кирюшина. Прерафаэлиты возрождали изысканную манеру письма, свойственную Рафаэлю Санти, стремились в своих произведениях к самоочищению. Всё это близко поэзии Виктора.

Задыхаюсь от косноязычья,
Но уже не зайти за черту –
Слово рыбье, звериное, птичье,
Словно кость, застревает во рту.

Снова древнюю книгу листаю,
Чей волнующий запах знаком.
Вы, от века живущие в стае,
Не считайте меня чужаком.

Беззащитен и разумом смутен
Смуглый пасынок ночи и дня,
Я такой же по крови и сути –
Муравью и пичуге родня.

Но природа, закрывшая двери,
Немотой продолжает корить.
О свободные птицы и звери,
Научите меня говорить!

Я думаю, что стихи Виктора Кирюшина не нуждаются в объяснениях. Всё говорится прямым текстом. Они призывают нас к осмыслению пути. Меня неизменно цепляет вот это стихотворение:

Лес обгорелый,
десяток избёнок,
морок нетрезвых ночей.
Плачет в оставленном доме ребёнок.
– Чей это мальчик?
– Ничей.
Невыносимая
воля в остроге,
вязь бестолковых речей.
– Чей это воин,
слепой и безногий,
помощи просит?
– Ничей.
Словно во сне великана связали,
гогот вокруг дурачья.

– Чья это девочка
спит на вокзале
в душном бедламе?
– Ничья.
Остервенело
в рассудке и силе
продали это и то.
– Кто погребён
в безымянной могиле
без отпеванья?
– Никто.
Родина!
Церкви, и долы, и пожни,
рощи, овраги, ручьи…
Были мы русские,
были мы Божьи.
Как оказались ничьи?

Это крик души! То ли быль, то ли метафора. Быль, как метафора полураспада страны. А вот в Белоруссии разорённых деревень нет. И возникает вопрос: почему? В этом и состоит, на мой взгляд, задача поэта – заострить внимание, чтобы люди хотя бы начали об этом думать. По-хорошему, национальное и общечеловеческое должны идти вместе. Безликость – точно не наш путь. Это стихотворение – не единственное в таком духе. «Состав гремит, но все места пусты… / Скажи мне, Русь, куда ж несёшься ты?» («Станция Слеза»). Но поэт верит, что только здесь, на родной земле, можно остаться самим собой. У Виктора – не квасной и не крикливый патриотизм. Вдумчивость и лиризм – вот его краеугольные камни.

Я давно слежу за творчеством Виктора Кирюшина, ещё со времени молодёжного сборника «1987. Стихи этого года. Поэзия молодых». Уже тогда его лирика обращала на себя внимание. «Свет изначально праведнее мглы» – говорил поэт. У него уже тогда была его фирменная строфика, с выносом ударных слов в следующую строку. На мой взгляд, у Кирюшина – филигранная музыка в стихотворениях. Одинаково хорошо ему удаются и концептуальные стихотворения («Мы остаёмся», «Метро Кольцевая»), и чисто лирические. То, что в его поэтическом арсенале отсутствует новейшая лексика, может восприниматься двояко, и как плюс, и как минус. Но по чистоте звука равных в сегодняшней поэзии найдётся ему немного.

«ВЕСЬ ИЗ СЕБЯ НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»

(Дмитрий Гвоздецкий. Фосгеновое облако. –
М. «Личный Взгляд» (Московский союз литераторов), 2020)

Стиль, в котором написаны стихи Дмитрия Гвоздецкого, в принципе нравится людям. Его стихи достаточно просты и понятны, они вытекают из наших ежедневных переживаний. То, что это не рифмованные стихи, а верлибры, не является, на мой взгляд, минусом для такой поэзии. Гвоздецкий близок к минималистам и иронистам, но, насколько позволяет об этом судить первая книга, его потенциал выше. Сквозь шутку у него порой просвечивает драма, как в стихотворении об опасностях любви, которое я хочу процитировать. В небольшом по объёму стихотворении Дмитрий успевает исповедаться, пошутить и высказать глубокую мысль о том, что несчастная любовь – это маленький эшафот, когда проще умереть, чем жить дальше. Невзирая на минимум строк, в этом стихотворении есть драматургия. Но главное – изначальный выбор в пользу многозначности текста.

Стою один.
Раздетый.
Освежёванный.
Без намёка на силу духа.
Гори она синим пламенем,
эта ваша любовь!
Я лучше подсяду
на героин,

Начну играть в рулетку
на чужие деньги,
И буду без «резинки»
овладевать проститутками
Всё безопаснее,
чем любить.

Дмитрий Гвоздецкий не боится рисовать своего лирического героя тёмными красками. Это такая самоирония, немного сгущающая краски. Мне импонирует бесстрашие молодого поэта, его раскованность и свобода в высказываниях. Его не останавливает мысль: «Что обо мне подумают?». Лирический герой у Гвоздецкого – на мой взгляд, не всегда alter ego автора. Но это обстоятельство только усиливает искренность его поэзии. Это голос нового поколения, рождённого уже после СССР. «Всё, что случайно в поэзии, имеет самое важное значение», – говорит сверстник и друг Дмитрия Ростислав Русаков. И это правильный посыл. Блок, например, говорил, что поэзия является часто как случайная, но священная обмолвка. Гвоздецкий часто использует образы, хорошо понятные именно молодёжи. Запомнились стихи о татуировках.

Если я сделаю татуировки
Со всеми плохими стихами
Которые я написал
Мне понадобится второе тело
Чтобы их уместить

Поэт доводит свои тезисы до абсурда, исчерпывая таким образом их пространство. Чеховское изречение «краткость – сестра таланта», по Гвоздецкому, ещё не предельная краткость. Надо писать так: «кр-ть – сестр. тал-та». Так мы обычно и пишем в спешке, стенографически. Письменная речь не всегда идентична устной. Дойти до предела – «до сердцевины, до самой сути» – выигрышная черта лирики Дмитрия Гвоздецкого.

Выскажу достаточно полемичную мысль: на мой взгляд, лучше не называть свою книгу таким образом, чтобы название вызывало у читателей неприятные ощущения. Безусловно, «Фосгеновое облако» – это свежо, интересно и ни на кого не похоже. Но, вместе с тем, неприятное ощущение, что речь в книге пойдёт об отравляющих веществах, остаётся, пока от него должным образом не отвлечёшься за чтением книги.

Муза Дмитрия глубоко парадоксальна. «Когда умру – научусь жить». Я думаю, что у Дмитрия есть дар драматургического видения мира, который был, например, у Высоцкого. Нестандартность образного мышления у Гвоздецкого – залог яркого будущего молодого поэта, которое может проявляться в самых разнообразных формах. Интонационно некоторые стихи Дмитрия близки, на мой взгляд, лирике Руслана Элинина. Уже названы Людмилой Вязмитиновой в предисловии к книге Герман Лукомников, Иван Ахметьев и Александр Макаров-Кротков как «идущие вместе» с Дмитрием Гвоздецким. Я бы добавил ещё сюда Татьяну Данильянц, которая блестяще работает именно в жанре философской миниатюры.

Есть у Гвоздецкого в «Фосгеновом облаке» излюбленная тема – час на грани сна и яви, просыпание и сопутствующие этому обстоятельства. *«Я и моя постель – / сиамские близнецы, / разделённые хирургом-будильником». «Мальчик, живущий этажом ниже, / распилил смычком / то, что ещё недавно / было моим сном».* Или вот эти строки:

– Доброе утро – прожурчала батарея.
– Иди ты – зевнул я в ответ.
– Доброе утро – простучали строители за окном.
– Да чтоб вас – зевнул я в ответ.
– Доброе утро – проурчала кофеварка.
– Ты хоть не издевайся – зевнул я в ответ.
– Хорошего дня – прозвенели ключи от дома.
– Даже не начинайте – зевнул я в ответ.

Минимализм – жанр, требующий умения «фильтровать базар» – избегать необязательных миним и максим. Это очень дисциплинирует писателя, заставляя его чувствовать высокую ответственность за каждое произнесённое слово. И во многих текстах «Фосгенового облака» автор хорошо справляется с поставленной задачей. Например:

Вас много, а я одно –
шепнуло море,
сворачиваясь в клубок.

Метафора у Гвоздецкого возникает неожиданно и по делу. Как вам понравится такой пейзаж:

конница домов
сокрушает
пехоту деревьев
на месте
отсечённых кусков пейзажа –
бетонные протезы

Стихотворение можно было бы в шутку назвать «Реновация». Мне кажется, поэт хорошо чувствует изнанку вещей. А это уже – шаг к освоению метаметафоры. Мир изменяется на глазах путём поляризации, когда сходятся начала и концы.

стоило сказать
всё кончено
и началось

Пожалуй, главное достоинство книги Дмитрия – жанровое разнообразие его изречений, сдобренное изрядной долей юмора. Порой сложно идентифицировать авторский посыл именно как юмор или иронию. Чёрно-белый юмор Гвоздецкого может представлять собой гремучую смесь разнообразных эмоций, где сквозь шутливый тон экранирует драма:

на прибывающий поезд
в сторону будущего
посадки нет

«У Гвоздецкого юмор п…децкий», – так пошутил о стиле автора критик N.

пью
за мир
не чокаясь

Миниатюрные трёхстишия с необозримым дном – вот, на мой взгляд, самые совершенные произведения в «Фосгеновом облаке». Такие вещи пишутся по наитию, на клочках бумаги, на салфетках; и здесь важно чувствовать свою глубину и производить естественный отбор вынырнувших на поверхность речи крылатых фраз. Великолепен тост «за мир не чокаясь». «Война – отец и царь всего», – писал ещё Гераклит. Древние греки обозначали войну словом «полемос». Это многое объясняет. Какой же мир без полемики? Война – это просто ведение полемики жёсткими методами. С точки зрения философии, война – более естественное состояние для человечества, чем мир. И, может быть, именно тост за мир – лучшее место в «Фосгеновом облаке». Кульминация всей книги. Но это – моя личная точка зрения. У Гвоздецкого есть изумительная способность к катарсису. Читая его краткие опусы, смеяться и плакать хочется одновременно. Это очень редкая способность, её нужно ценить в себе и развивать. Часто нам мешает развиваться то, что мы слишком заполнены привычной собственной жизнью – отлаженной, как швейцарские часы. В ней порой банально не хватает времени, чтобы обратить внимание на другое творчество, проявить обогащающую заинтересованность, выйти за свои мыслимые и немыслимые пределы. И хочется пожелать молодому автору такой энергичной заинтересованности в непознанном. А поэтический инструментарий у Гвоздецкого уже есть. В заключение, я хотел бы поблагодарить за нового автора Людмилу Вязмитинову, которая проделала огромную работу и выступила издателем, идейным вдохновителем, составителем и автором предисловия «Фосгенового облака». Её личный вклад трудно переоценить.

«В КАРАНТИННОМ ОГНЕ»

(Станислав Думин, «Корни и крона». – М., Издание автора, 2017)

Порой одно-единственное слово сообщает стихотворению особую живучесть в толще времени. Что это такое – «в карантинном огне»? Пророчество? Прозрение? Догадка! Стихи эти из прошлого века! А звучит так, как будто написано сегодня!

В этом дымном, осинном,
в карантинном огне
дай мне Господи силы,
дай терпения мне.
Всё яснее и резче
нам означено – здесь
жить от встречи до встречи,
от вчера – до Бог весть.

Мы сегодня – не те, что
были прежние, но
пусть без веры, надежды,
пусть любовью одной,

я сумею – спасибо,
но в неспешности сей
дай ей Господи силы,
дай терпения – ей…

Известный историк и популяризатор отечественной истории, генеалогии, геральдики, Станислав Думин много пишет и много публикует. В основном это исторические труды и труды по геральдике. В знаменитом интернет-магазине «Озон» я насчитал около десяти исторических книг Думина. Тиражи многих из них распроданы. А вот Думина-поэта открыл для нас альманах «45-я параллель». Это целая детективная история! В «45-й параллели» вышла подборка Степана Д., а потом альманах начал искать… фамилию автора. В результате оказалось, что не только фамилия, но и имя таинственного автора – не настоящие. Вот как об этом рассказывает сам Станислав Думин в письме к Сергею Сутулову-Катериничу:

«Да, действительно, «Степан Д.», он же – Степан Дрёмин – это я, Станислав Думин. И воистину – «рукописи не горят». В семидесятые – начале восьмидесятых, в университете и в аспирантуре, я участвовал в студии «Луч», которой руководил Игорь Волгин, одновременно с многими яркими молодыми поэтами, – Сергеем Гандлевским, Александром Сопровским, Бахытом Кенжеевым, Алексеем Цветковым, Марией Чемерисской. Публиковать своих стихи в Советском Союзе я и не пытался (ограничившись парочкой машинописных сборников); читал, дарил знакомым девушкам.

Помнится, кто-то собирал у нас стихотворения для публикации за рубежом. Но я даже не подозревал, что в 1982 году моя подборка была опубликована в США, мне оставалась неизвестной и публикация в журнале «Время», и ваша публикация (45-тки)».

Студия «Луч» Игоря Волгина – это уже знак качества. И вот появилась на свет книга избранных стихотворений Станислава Думина «Корни и крона». Строки Станислава изначально сгущены, спрессованы, и это ощущение проходит через всю лирику московского поэта. Книга включает в себя стихи разных лет, объединённые неисправимым оптимизмом лирического героя. Поэтический слог Станислава дышит чистотой и лёгкостью, отсутствием «научных вкраплений». Это ценное и редкое качество – умение писать лирику и научные труды разной лексикой, разными стилями, прекрасным русским языком. Думин использует в стихах широту и богатство своих исторических знаний, легко жонглирует образами из мифологии, сказочными сюжетами, обращается к библейским и евангельским образам так же естественно, как к образам природы или картинам современного города. Его поэзии свойственны искренняя лиричность и тонкая ирония, живописная точность деталей.

Лирико-исторические хроники порой аукаются у Думина предсказаниями о будущем. В одном из стихотворений поэт примеряет историческую личность – Димитрия Самозванца – на нас, ныне живущих. В образе Самозванца воплощена здесь игровая стихия жизни, театр на подмостках бытия, где роль – порой важнее власти. В этой проекции Лжедмитрий – скорее, мечтатель, романтик. Как и мы с вами («мы тоже старались казаться…»). Быть историком «в стране с непредсказуемым прошлым» – увлекательно и поэтично. Обращает на себя внимание фонетическая одарённость автора. Вот, например:

Ветер подмял стаю,
птицы летят с древа,
в мартовский снег талый
рядом легли стрелы.

Рифмы и небанальные, и акустически точные. Несколько смягчённое «р» тоже участвует в акустической аранжировке. Станислав Думин умеет подчинить себе звуковую стихию. Слово и звук, звук и смысл образуют высокое триединство в творчестве поэта. Станислав часто использует в исторических стихотворениях «взгляд сверху»: он умеет плавно перемещаться из далёкого прошлого в странное и парадоксальное по отношению к прошлому настоящее, совершая незабываемые путешествия сознания. В его стихах есть глубокий патриотизм, любознательный и всё понимающий. Он трансцендентен и интегрален, пронизывая собой всё историческое пространство. Это дух народа, это русский человек на все времена. В приведённых ниже строках звучит сквозная тема нашей истории, которую великолепно прочувствовал поэт:

Медный зверь. Гранитная держава.
Мокрый ветер гонит снег шершавый
под копыта медного коня.
Медный горн скликает полк под знамя.
С ними Бог! Бог с ними и Бог с нами
мартобря тринадцатого дня.

До обрыва вёл слепцов незрячий.
Дождь сухой. Парящий лёд горячий.
Ровный счёт картечного огня.
Господи, кто в праве, кто в ответе, –
но спаси начавших на рассвете
мартобря тринадцатого дня.

Наверное, книга стихов могла бы выйти у Станислава Думина гораздо раньше, ещё в советское время, даже в студенческие годы. Об этом свидетельствуют даты написания основного корпуса стихотворений. Но почему-то не сложилось. Возможно, автор не захотел ограничиваться любовной лирикой. А стихи о царях, разумеется, не могли быть тогда опубликованы, и славить голубую кровь в печати было немыслимо. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом, касающимся актуальности стихов во времени. Хорошие стихи, как и хорошее вино, с возрастом только набирают вкус, становятся крепче, насыщеннее и ярче. В заключительном разделе книги «Корни и крона», «Квесте», собраны стихи последних лет. Поэт демонстрирует читателям современный уровень владения словом. Лексика Думина меняется со временем, в ней появляются новые реалии нынешней жизни – ватсап, айпад, фейсбук и т.п. Но музыка слова заряжена у поэта той же энергетикой и теми же чувствами, что и в юношеских стихах. Мир, созданный Думиным, мир легенды и сказки, собранный «из кубиков лего», – та сцена, где его герои переживают истории любви, очарования и разочарования. Конечно, Станислав Думин ещё в юности чётко выстроил для себя нравственные приоритеты:

…Во-первых, не тех, кто обрушил кров,
берём мы в поводыри,
а трёх Александров и трёх Петров,
Анн и Екатерин.

И не случайно кульминационно венчает книгу «Корни и крона» стихотворение «Ода Арагорну», напоминающая толкиеновский сюжет о возвращении наследника престола – спасителя Отечества.

ЦВЕТ МИЛОСЕРДИЯ

(Наталья Гринберг, Белое на белом. Пьеса. –
Халландейл Бич, Флорида, Blue Ocean Theater Studio, 2020)

Наталья Гринберг написала пьесу-биографию выдающегося, но, в сущности, мало известного ныне художника Виктора Арнаутова – нестандартно, увлекательно, поднимая важные вопросы мировоззренческого характера. По форме пьеса «Белое на белом» напоминает мне «Бег» Михаила Булгакова. Хотя у Булгакова – «сны в нескольких картинах», а у Натальи – фантазия, «мозаика», поскольку главный

герой – художник. Мозаика объединила живопись и драматургию. Эмоционально «Белое на белом» возникает из снежной стихии («Бесы» Пушкина, «Двенадцать» Блока). Не случайно и в начале, и в конце пьесы звучит лирический текст, который воспринимается как поэзия внутри драматургии: «Белое на белом. Может, ты на дороге, а, может, уже сбился с пути. Может, ещё шаг, и упадёшь в овраг, а, может, ты крутишься в тупике. Глаза залеплены, ноздри забиты, а пурга всё веет и метёт. Где правда, кто прав, кому верить? Ничего не видно… Одни снежинки летают». Всё растворяется в белом безмолвии. Рефренность вьюги создаёт для пьесы необходимый эмоциональный фон. Хотя «Белое на белом» и биография, цель у драматурга, на мой взгляд, совсем не биографическая. Судьба главного героя пьесы служит своего рода контрапунктом к участи замученных сталинским режимом Мандельштама, Мейерхольда, расстрелянного чекистами Гумилёва. Один спасшийся на тысячи замученных.

Непосредственным поводом к работе над пьесой послужила угроза уничтожения фрески Арнаутова «Жизнь Джорджа Вашингтона» в школе Сан-Франциско летом 2019 года. Мы видим, что не только человек уязвим перед лицом истории. Так же хрупки его творения. Бесконечные сносы памятников в разных странах, «деидеологизация», новые толкования… Без переоценки ценностей общество не может двигаться вперёд. Но сама такая переоценка в перспективе превращается в мину замедленного действия, провоцируя новую переоценку, призванную восстановить в правах попранную старую справедливость. Ведь свергнутая справедливость захочет взять полноценный реванш! Мне представляется правильным, что Арнаутов в пьесе Гринберг выведен как Арсенис. Псевдоним героя позволяет автору использовать художественный вымысел. Но почему Арсенис? Арнаутов был грек с русской фамилией. И Наталья Гринберг решила дать своему русскому греку ещё и греческую фамилию.

Посмертная судьба художника приготовила ему сюрприз. То, что было востребовано в течение 80 лет, неожиданно стало раздражать наших современников. «Дедушка Вашингтон, мы с тобой в наше будущее не пойдём!» – завопили американские школьники. Прошлогодние митинги и демонстрации в Калифорнии привели к тому, что фрески русско-американского художника угрожают закрасить. И скажите, пожалуйста, чем этот вандализм отличается от костров Савонаролы, на которых сожжены книги и полотна выдающихся людей Возрождения! Там ведь тоже всё делалось под флагом добра, «борьбы с дьяволом»! Вдумайтесь: люди таким образом «спасают» мир! Но в итоге только сеют хаос, хотя уничтожение искусства и привлекает к нему внимание. Это чёрный пиар мракобесия. К чести Натальи Гринберг, она выдерживает нейтралитет по отношению к своим героям. Она не говорит нам, как правильно поступать, что выбрать, как противостоять стихиям. Финал пьесы даёт возможность разной интерпретации. Одни подумают: «Не стоит шарахаться от одного цвета к другому. Монохромная живопись порой ценнее цветной. Белое на белом – это цвет милосердия». Другие воспримут финал через образ снежного бурана, «информационной» пурги, в которой человеку трудно разобраться самому, и он рискует «упасть в овраг или заблудиться». А третьи оценят рывок героя к новому художественному стилю, противником которого он был в американский период своего творчества.

Наталья Гринберг даёт в пьесе широкий обзор политических событий прошлого века. Герои спорят об идеологии, вовлекая и нас, читателей. «Почему коммунизм был таким привлекательным для поколений людей в разных странах? Почему сейчас это кажется нонсенсом? Почему люди легко переходили в гражданскую войну из одного лагеря в другой?». Поскольку не совсем понятно, как главному герою удалось пройти невредимым по лабиринту Минотавра, Наталья Гринберг вводит к нему в пару ангела-хранителя. Это ангел-междометие. «Ах!» – восклицаем мы, когда с нами происходит что-то непредвиденное. Сценическая жизнь Арсениса наполнена диалогами с ангелом-хранителем. Его ангел-хранитель Ах – это всё тот же даймон Сократа, внутренний голос, инстинкт самосохранения. В пьесе Гринберг он действует как отдельный персонаж. Получается своего рода собирательный, «коллективный» ум, и не сразу поймёшь, кто из них главный, – человек или ангел. Очевидно, ангел и есть главный, поскольку ему доступен взгляд из вечности. Отношения главного героя с ангелом-хранителем то доверительные, то «аховые», на грани разрыва. Но такой «семье» не грозит расставание. Константин Арсенис не может уйти от своего ангела-хранителя. Жёсткие диалоги с ним на повышенных тонах возникают в неоднозначных ситуациях. Ах – это тот же Арсенис, который видит дальше обычного, прозревает сущность вещей. У человека бывают ведь «приступы» внутреннего зрения, внутреннего голоса. Порой мы ещё не понимаем, но уже знаем. Информация считывается сердцем. Ангел-хранитель словно бы дирижирует человеком, его поведением в обществе. Жизнь прожить – что небо перейти.

Всё на свете хрупко и находится в динамике. Жена Арсениса, которую долгое время устраивала любовница мужа в доме, ни с того ни с сего бросается под машину. Очевидно, зашкалила критическая масса переживаний. Человек оказывается мишенью для тайных сил. В пьесе есть несколько эмоциональных кульминаций. Они заряжают повествование высокой энергетикой. Невозможно без сопереживания читать монолог отца художника, которого должны расстрелять просто за то, что он неугоден действующей власти. Прощание Константина Арсениса с Америкой и с любимой женщиной – такая же эмоциональная кульминация. «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы насажденья.

Бессмертья, может быть, залог», – писал Пушкин. И человек с удовольствием идёт навстречу опасности.

По фактам биографии можно подумать, что Константин Арсенис – настоящий авантюрист. Его судьба воспринимается как абсолютный сюр, нечто невероятное, как постоянная ходьба по лезвию ножа. Но вряд ли художник был авантюристом. Наталья Гринберг показывает, что зигзаги его биографии внутренне обусловлены. Там нет ничего нарочитого, притянутого за уши. Просто время было неустойчивое. Как и сейчас. В условиях неочевидности человеком часто управляют эмоции. Любовь или родина – мучительно выбирает Константин Арсенис. И он выбирает родину. Но, если бы любовь пережигалась

в этот момент острее, вполне мог выбрать и любовь. Наши эмоциональные состояния и определяют часто судьбу. Жизнь художника Арсениса оказалась длинной, по человеческим меркам почти бесконечной. Это словно бы матрёшка, в которую выставлено ещё несколько матрешек. Бесконечное полотно фресок жизни. При сложной обстановке в стране и в мире человек бесприютен как в эмиграции, так и на родине. Судьба эмигранта прочувствована Натальей как нельзя лучше: она сама – эмигрант, знает, почём фунт лиха.

Константин Арсенис и Эва спорят между собой о строительстве справедливого общества. Оправдывает ли благородная цель неугодные средства? Зачем уничтожать лучших людей? Какое общество можно построить, ликвидировав лучших? Проблематика пьесы такова, что полнее раскрывается именно в диалогах, как у Платона, а Наталья Гринберг умеет подать тему через диалог – остроумный, искрящийся юмором и радостью общения. У неё есть дар с помощью диалогов создавать глубину повествования. Я думаю, что пьеса Гринберг очень актуальна сейчас, во времена разгула цветных революций и гражданских протестов в разных странах. Всё возвращается, только уже под другими именами. Это и есть знаменитое «вечное возвращение», о котором говорил Заратустра. На диалогах Натальи Гринберг читатели могут поучиться мыслить о глубоком. Умные пьесы нужны так же, как и умные читатели. Ведь истина не может быть членом партии!

СЕДЬМОЕ НЕБО ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА

(Виктор Третьяков, «100 песен от А до Я». – М.: «Монолог», 2020)

«Чистые» поэты по-прежнему чуть свысока поглядывают на бардов. Дескать, «ты помогаешь своим стихам голосом и музыкой, а это – нечестно. Мы так не договаривались. А без музыки ты что-нибудь можешь вообще?». Но вдруг выясняется, что дело не в жанре, а в глубине и точности мышления, а они на высоте у единиц. Независимо от того, в каком жанре работает человек. Виктор Третьяков – один из немногих современных бардов, чьи песенные тексты – настоящие стихи. Он – наследник по прямой Вертинского, Окуджавы, Высоцкого. Секрет успеха песен Третьякова ещё и в том, что он пишет просто, но глубоко. О самых сокровенных своих переживаниях мы судим порой тривиально и поверхностно. На мой взгляд, духовность и состоит в том, чтобы не быть поверхностным в своих суждениях. И, конечно, очень важна в искусстве острота переживаний. И вот она у Третьякова – всегда на высоте. Как и Высоцкий, Третьяков активно переосмысливает в своих произведениях идиоматические выражения, вплоть до построения на базе русских идиом собственных космогонических концепций.

Можно в точности знать, или верить слепо,
Можно это считать вымыслом простым,
Но, где-то там, наверху, есть Седьмое Небо,
Расположенное сразу над Шестым.

Это Небо Господь создал для влюблённых
(Создавать и любить – Божье ремесло),
Чтоб летали под Ним стаи окрылённых
На одной высоте, да крыло в крыло.

Впрочем, жизнь – это жизнь… вы не стали ближе,
Так и не был, увы, найден компромисс:
Кто-то не захотел подниматься выше,
Или, наоборот, опуститься вниз.

С «позолоченных» слов слезла позолота,
Каждый сам по себе по Небу летит:
Каждый выбрал свою высоту полёта,
И, вроде Небо одно, а разный сверху вид.

И ты однажды поймёшь: ну, как же всё нелепо,
Ты же всю свою жизнь не его ждала…
А он твоё со своим перепутал Небо,
А ты видела всё, и… не прогнала!

«Ой, я на седьмом небе от счастья!» – говорим мы и даже не подозреваем, что в авторской мифологии Виктора Третьякова седьмое небо – это ещё не предел человеческого счастья. Потому как некоторым, чтобы попасть на это самое седьмое небо, приходится… спускаться вниз! Виктор Третьяков выгодно отличается от многих поэтов тем, что, кажется, прошёл в личной жизни все круги ада и рая. И мерилом любви для него является сам Бог. Почему именно Бог? Вовсе не потому, что «Бог есть любовь». Бог един, в трёх ипостасях, а человек мучительно ищет это же единство, но только в двух лицах. «Они упали в любовь» – так пишет Третьяков, опровергая расхожее мнение о том, что влюблённые не падают, а «воспаряют». Подобно Льву Толстому, Виктор Третьяков приравнивает любовь к Богу. Но, если Толстой говорит о духовной любви, то Третьяков в песнях, посвящённых любви к женщине, конечно, имеет в виду любовь душевную и телесную. «Причём же здесь тогда Бог?» – резонно спросите Вы. А при том, что Бог выступает мерилом, эталоном… любви вообще. Вера в настоящую любовь на одном уровне соответствует вере в Бога ступенькой выше, причём, по мнению Третьякова, всё это страшно между собой взаимосвязано: «Если нет Любви на свете, значит, Бога нету тоже!». Вот в чём, оказывается, «окаянность» поэта, вот в чём фрондирует он с церковью. Ведь любой проповедник популярно объяснит человеку, что Бог не даёт человеку земной любви, потому что хочет испытать его дух. В такой точке зрения много мудрости, но, к сожалению, мало поэзии. Поэт хочет всё и сразу. Он готов за любовь заплатить своей жизнью, а не трусливо ждать, пока он станет «достойным» женской любви. Он считает, и считает вполне справедливо, что изначально достоин, безо всяких предварительных условий. Ведь мы с вами пока ещё в этом мире, и человеческое в нас зачастую превалирует над вечным. Поэтому «падение в любовь» у Третьякова прочитывается ещё и как участь падших ангелов.

Конечно же, Виктор Третьяков пишет не только о любви. Его музыкально-поэтическая палитра щедра и разнообразна. Однако тема любви для любого художника – это как жизнь в жизни, как искусство в искусстве. Это как раз та общечеловеческая тема, которая интересна всем без исключения. Чем больше коллизий в личной жизни испытывает художник, тем интереснее его любовная лирика. Параллельно с love story, мы узнаём кое-что и о личностном начале поэта. Наверное, любовь – одно из тех глубоких состояний человека, когда жизнь в нём впервые встречается и знакомится со смертью. И глубоко потрясает песня Третьякова «Самоубийца» – о трагическом исходе любви, о полёте влюблённой девушки на свидание со смертью. Третьяков в этой песне использует своё ноу-хау – в одной песне он соединяет спокойное и отчаянное переживание героем одного и того же события. Если отвлечься от трагичности ситуации, летящий человек – это почти Икар, это очень красиво, особенно если учесть, что летит он без крыльев! Часто в своих песнях Виктор использует простой, но очень действенный приём вокального крещендо: вот он просто «разговаривает», почти шепчет, и вдруг незаметно этот шёпот переходит в крик – и так же незаметно стихает. В этом – большое преимущество песни перед стихотворением. А Третьякову для создания атмосферы драматизма и трагический сюжет не всегда нужен. Вспоминается его «Колыбельная», тема невозвратности «золотых» мгновений детства. Вроде бы ничего в песне не происходит, а мурашки бегают по коже от осознания того, что детство осталось потерянным раем воспоминаний взрослого человека. И опять – всё тот же резкий переход в песне с доверительного шёпота на крик человека, потерявшего что-то очень важное в жизни… И – вот парадокс – меня не покидает ощущение, что «Колыбельная» Третьякова в чём-то даже трагичнее песни о разбившейся насмерть молодой девушке.

«Песни до А до Я» дают нам широкое представление о творчестве поэта. В книге есть самые разные стихи, но по большому счёту, это энциклопедия любви.

Любовь не измеряется ничем:
Ни временем, ни клятвами любыми…
Когда друг другом мы любимы были,
Свершалось волшебство, а между тем,

Не вдумываясь в правила игры,
Мы сами стали страсти палачами:
Любовь не измеряется ночами,
Ночами всё прощают… до поры.

Когда любовь устанет от забот,
Умрут и понимание и верность.
Мы лишь потом поймём несоразмерность
Любви и отвоёванных свобод.

И книги всех земных библиотек
Не объяснят случившегося с нами:
Любовь не измеряется словами,
Слова бедны, и короток их век.
(«Аритмия»)

«Аритмия» напоминает нам о том, что любовь нельзя измерить средствами науки. Отношения мужчины и женщины «ненаучны», и слава Богу. Должно же быть в мире что-то такое, чего нельзя сосчитать! Виктор Третьяков «ловит» миг, когда начинается полураспад любовных отношений. Влюблённые сначала «не замечают» сердечного разнобоя, пленённые новизной и яркостью чувств. Затем, когда чувства уже не новы, и набегают тучки разлада, они прощают друг другу эти «мелочи» за хороший секс, за радость быть вместе. Но не дай Бог когда-нибудь быту и нелюбимым обязанностям перевесить остатки былой страсти и силу влечения влюблённых друг к другу. Быть беде! Каждый начинает сражаться за личную свободу, и в этой борьбе любовь погибает. Потом, в порыве ностальгии, приходит понимание того, что любовь была «лучше» свободы. Но поздно. Разрушенное уже не склеить усилием воли. Центробежная сила в отношениях победила центростремительную. И труднее всего ответить на вопрос: «Почему?». Ведь никто из влюблённых не стремился разрушить отношения специально, нарочно. О том, почему разбегаются сердца, написаны тысячи томов. И всё равно – то, что можно объяснить словами, сущностно и мистически – необъяснимо. Физикой и математикой лирику не объяснишь. Тому, от кого ушла любовь, остаётся лишь метафизика: самые общие соображения о победе, нечаянно приведшей к поражению.

В стихах Третьякова звучит порой невероятная мощь: *«Вам звонят от Бога, / Запишите номер. / Погоди немного – / Я ж ещё не помер! / Дай мне это царство/ Выпить до конца… / Жалко, нет лекарства / Супротив свинца»* («Вам звонят от Бога»). И мне, откровенно говоря, бывает жалко, что стихи Виктора плохо интегрированы в современную поэзию, оставаясь «текстами песен». У поэта есть уникальная фишка, затмевающая даже отличное владение языком, формой и рифмой. Это – способность глубоко понимать вещи, которые волнуют всех без исключения людей. И – умение делиться этим пониманием. Есть человеческие судьбы, спасённые (нечаянно!) его стихами и песнями. Многие ли могут похвастать такой «обратной перспективой» своего творчества?

«МЕЖ ХЛЕБОМ И НЕБОМ»

(Леонид Колганов, Молчание колоколов. Книга стихов. 2015 – 2019. – М., «Оптима-Пресс», Издательство «Летний Сад», 2020)

Леонид Колганов – явление в русской поэзии. Поэт-романтик, мистик, он всегда был «по ту сторону» столбовых тенденций и направлений современного искусства. Раздираемый вечной тоской по прекрасному, он постоянно находился в состоянии непокоя. Парфён Рогожин, но только интеллигентской закваски.

Из горящего круга
Брошусь я в Иордань,
И безмолвная ругань
Не покинет гортань.

[...]

Я рыдаю обвально,
Мой провал – смех и грех,
Словно голую тайну
Обнажаю при всех.

Читая стихи Колганова, особенно ясно замечаешь, что мир – это, перефразируя Шопенгауэра, «моё представление». Поэзия Леонида одинаково яростна и в бурлящей России, и в относительно спокойном вне перманентной войны с арабами Израиле. Через всю лирику Леонида проходит мотив трагической раздвоенности души, «заблудившейся» между добром и злом. При этом сами понятия добра и зла у поэта достаточно произвольны. Он, подобно Достоевскому, ощущал себя «полем битвы» разнородных стихий

и вкладывал в это этический смысл. Этнический еврей, Леонид был по духу одним из самых «русских» поэтов. Он любил Россию истово, пассионарно, как небесную Родину, как своё второе «Я».

Как реки в водную Стихию,
Наперекор самой судьбе,
Мы все вольёмся в ту Россию,
Которую несём в себе!

Лирика Колганова не вписывается ни в какие стандарты. И, вместе с тем, она настолько самобытна, что его строки можно распознать среди тысяч других. Леонид был автором очень плодовитым. И его итоговая, посмертная книга на самом деле вовсе не итоговая. Это просто избранные неизданные стихи последних четырёх лет жизни. Но таких стихов набралось на три сотни страниц. Поэтому книга получилась увесистой и полнокровной. Стихи Колганова очень активны, экспрессивны, это тектоника не застывшей ещё земной коры. Глаголы играют в такой поэтике первостепенную роль. Поэт «выжигает глаголом» и в прямом, и в переносном смысле, по-пушкински. И сама его Вселенная – незастывшая магма действующего вулкана. Иногда это просто эмоции, раздуваемые ветром подсознания.

Обида, загнанная внутрь,
В глубь самую подкорки,
Всплывёт среди песчаных бурь,
С тоской пустынно-горькой!

Затем рванёт – когда? Бог весть! –
Как ржавая граната,
Взорвав палату номер шесть
И Царскую палату!

Да, поэзия часто произрастает из обид, из несогласия, из желания сказать одному тебе понятную правду. У Леонида Колганова это ещё и «венецианская» карнавальность действа, которое происходит в сердце поэта. Импульсивность творца, многократно усиленная лирическим талантом, разбила не одно женское сердце.

Поэзия Колганова – подчёркнуто «громкая». Не стадионная, как у шестидесятников, но тоже «с декламацией», поэзия с голоса. Откройте любое стихотворение – и вы убедитесь, что эти тексты по количеству восклицательных знаков и тире не уступят, пожалуй, даже стихам Цветаевой. Это та стихия, которая не мыслит себя без рифмы, без законченности мысли. Если брать его стилистику в целом, у меня складывается впечатление, что в ней соединились «нестолбовые» дороги русской поэзии. Неистовость – это, безусловно, от Леонида Губанова, чьим учеником считал себя сам Колганов. Но мне слышатся в его лирике и Фёдор Сологуб («Навьи чары»), и Игорь Северянин («Громокипящий кубок»). Это «фаустианская» ветвь поэзии. «Большой Взрыв», Стожары, Тунгусский метеорит – темы стихов Леонида соответствуют состоянию души. Если Ходасевич шёл «путём зерна», то Колганов – «путём огня». Ещё один аспект трагической раздвоенности души поэта – диссонанс между любовью небесной и земной.

МЕЖ ХЛЕБОМ И НЕБОМ

Есть женщина – небо,
Есть женщина – поле,
Но – с первой ты не был,
С другою на воле, –

Был в полюшке-поле…
А в небушке-небе –
В земной плотской доле
Ты не был! Ты не был!

Но женщина-небо и женщина-поле,
Как полюса два, – в тебе волей-неволей!

Жена твоя – поле! А небо – без места!
Завис между ними, качаясь отвесно!

Один – между ними – ни много, ни мало,
Меж небом и хлебом, как странник Шагала!
Всю жизнь, как подвешенный, будешь двоиться:
То – в поле томиться! То – небу молиться!

Даже тогда, когда громкую поэзию начали оттеснять постмодернисты, Леонид Колганов не отказался от своего привычного стиля. Экзистенциальная философия, бушующая в его стихах, рассматривает мир как постоянную борьбу непримиримых начал. Поэт находил эти начала и в себе. А от привычного для черни «счастья» начинал тосковать. Смерть его была во многом случайной и застала в расцвете сил и таланта. На могиле Колганова в Кирьят-Гате написано «великий поэт».

Я был хорошо знаком с Леонидом при его жизни. Он умел дружить, приглашал меня к себе в Израиль. Безусловно, я не входил в «первый круг» его друзей. Вот имена его ближайших сподвижников: Александр Асманов, Сергей Касьянов, Александр Климов-Южин, Анна Гедымин Сергей Каратов, Андрей Шацков, Наталья Богатова, Вячеслав Ананьев, Евгений Минин… «Молчание колоколов» показывает, насколько сильно любили Леонида его старинные друзья. Они написали о нём прекрасные воспоминания, которые идут после стихов, в конце книги. «Последний постсмогист» – так сказал о нём Климов-Южин. Трудно переоценить и роль вдовы поэта Валентины Бендерской. Друзья торопились выпустить книгу к годовщине его безвременного ухода. Со страниц «Молчания колоколов» живой Колганов, которого мы ласково между собой называли «Лёнечкой», словно бы призывает нас не мельтешить, оставаться неравнодушными и верными «гамбургскому счёту».

Во мгле горит Божественное слово:
Всему живущему идти путём огня!

«ШКАФ»

ДМИТРИЙ АРТИС

СТИХИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ

(Юрий Татаренко. Новости-бирск. Стихи 2018-2020 // Новосибирск: ООО «Манускрипт», 2020. – 120 с.)

Новая книга Юрия Татаренко «Новости-бирск» приятно удивляет своим звучанием, притом, что это действительно стихи, а не тексты, которые готовы к тому, чтобы их положили на ноты. Мелодии уже внутри, изначально. И совершенно непонятно, что появилось раньше в голове автора: стихотворные тексты или же музыка, в которую они были вписаны.

Стихи близкие к метапоэтической школе, где обречённость и личностные трагедии рассматриваются через призму самоиронии. В них отсутствует природа насмешки над окружающей действительностью, а так же «пафос средней полосы». Больше сибирской ухмылки, обращённой к себе. Обратный ракурс: стихи будто рассматривают своего автора, как часть вселенной – совершенно мизерную часть, но при этом сам автор снисходительно отвечает им тем же, держа голову прямо и не сгибая в подобострастии спины.

Поэтика Юрия Татаренко дробится на две составляющие: «я» – автора и «я» – текста. Буквальным тавтологическим языком это можно описать, как столкновение *лирики автора* и *лирики лирики*. Эти два «я» внутренне расходятся, иногда вступают между собой в дискуссию, а иногда поворачиваются друг к другу спиной, и всё же остаются частью одного целого, как тень человека и сам человек.

Автор сознательно запутывает себя, стремится к безысходности, дабы иметь возможность оценить свои действия – поступки, мысли – в критической ситуации. Если ему нужен автобус, то он будет ждать его на троллейбусной остановке и сетовать на плохую погоду, как причину того, что автобус никак не едет. Есть в этом попытка ускорить эволюционный процесс своим ожиданием, увидеть собственными глазами превращение одного транспортного средства в другое.

И, как приказа ждал, я жду полгода
Автобус на трамвайной остановке,
Но, как назло, нелётная погода.

Отсылки к основополагающим художественным произведениям работают в качестве заводного ключа. Они провоцируют на создание новых текстов авторское сознание, раскачивают его. Здесь элементы постмодернизма: стихи от стихов. Божественное провидение в стороне. Вместо него на первых ролях общелитературный контекст, становящийся родным домом для автора: *«Но тот, кто жизнь назвал своей сестрою, // Потом сказал: «Распалась связь времён»*. Внутренняя установка: чтобы больше писать, необходимо больше читать. Автор читает, но читает под радио или телевизор, оттого Шекспир у него, Чехов и Пушкин соседствует с Газмановым, «Любэ» и «Би-2». В чужих словах ищет не знания, а свои тексты: *«Уже торопятся навстречу // Стихи, одетые в людей»*.

Страсть к ассонансным и диссонансным трёхсложным рифмам перетягивает на себя одеяло в ущерб прозрачности текста. Смысл затуманивается. Осознано или неосознанно – сказать не берусь. Смысловые связи между строчками часто теряются. Автор может начать с реплики о состоянии влюблённости, когда возраст движется к закату, а потом – ни с того, ни с сего – перейти на сетование о том, что Газманов пишет на заказ и потому его тексты продаются на вес в универмаге.

Влюблённость упирается в закат.
Стихи споткнулись о листок бумаги.
Газманов пишет песни на заказ –
Их продают на вес в универмаге.

Какое дело влюблённому человеку до Газманова, совершенно неясно. Но по большому счёту отсутствие прозрачности можно отнести к свойству метапоэтики: «*Мы говорим руками в темноте – О том, что темы нет для разговора*». Автор чувствует в себе потребность говорить о предмете языком самого предмета, независимо от того, насколько он понятен и привычен обычному человеческому слуху. Даже там, где Татаренко пишет о любви, как допустим, в стихотворении *«Ночной снегопад»,* у него проскакивают слова с уменьшительно ласкательными суффиксами *(«Птенчик зайку позвал на свиданье…»)*, свойственными той женщине, которая «является предметом его обожания», оттеняя авторские достаточно ироничные *(«Мы с тобой – экспонаты блошинки…»)*, если не сказать, что жёсткие речевые обороты.

Замечательная переработка типового образа проводницы в стихотворении *«Этапы малого пути»*. Автор сравнивает её с конвоиром наперекор общепринятому представлению, в котором она, как правило, уподобляется Харону – перевозчику в мир мёртвых. Человек не самостоятелен в выборе своего конечного пути. Не он приходит к Харону, а Харон приходит к нему. Зловещая безнадежность. Не рок, не судьба правит человеком, а нечто равное ему, такой же человек, как он сам.

И шепнёт проводница Гульнара,
Неприступная, как конвоир:
«Собирайтесь. На выход. С вещами».

Автор постоянно в движении. Самые частые места, упоминаемые в стихах: аэропорты, вокзалы, поезда, вагоны. Чуть реже – гостиничные номера и съёмные квартиры. Попадая на дачу, где вроде бы можно было отдохнуть, предаться безмятежному существованию, автор не ищет покоя.

Стихи – по ходу. Они сопровождают. Можно остановиться, но только для того, чтобы записать. Записал и дальше – в путь. Оттого они получаются торопливыми, бегущими, прыгающими с темы на тему. Добрую часть книги занимают экспромты, «стихи по случаю», не выходящие за рамки сиюминутности – своеобразная летопись времени.

Несмотря на зрелый авторский голос, вопрос самоидентификации не отпускает. Юрий Татаренко в любую свободную минуту, где бы ни был – в Крыму ли под сенью *волошинского сада*, в Самаре ли на прогулке с *«Василь Макарычем»,* – рефлексирует на тему своего места в поэзии. С перебором много стихов о том, как пишутся стихи. Тема хрестоматийная, но на сегодняшний день она всё-таки ближе к подростковым переживаниям, от которых давно пора отказаться. Неуместное панибратство *(Вильям, Саня, старик Державин и т.д.)* находится за пределами хорошего тона. Пусть оно принадлежит пятнадцатилетним. Оправдание: *«Мне 45 – пора прийти уже // К тому, что так ценилось в детстве…»* спасает, но не всегда.

Внешний шум является неотъемлемой частью авторского мира. Трендовые события то и дело выходят из фонового режима и придают текстам звучание эпохи. Показательно стихотворение *«Колыбельная»,* в котором собраны телевизионные сенсации самоизоляционного (Ковид-19) периода. Автор живёт так, будто садится в новогоднюю ночь лепить пельмени, а у него в голове белые халаты, карантин, Росатом и Чебурашка. Несколько приземлено, хотя честно. Что делать, если нынешнее время звучит именно так. Не врать же самому себе.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

В СЕРИИ ЖЗЛ ВЫШЛА БИОГРАФИЯ ДАВИДА БУРЛЮКА

(Евгений Деменок. Давид Бурлюк: Инстинкт эстетического самосохранения. Серия ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия, 2020)

Хотя имя Давида Бурлюка постоянно присутствует в поле дискуссий об авангарде, и как художник он в последние десятилетия приобретал всё большую известность, до сих пор на русском языке не выходило подробной биографии этого выдающегося деятеля искусства XX века. И вот эта биография появилась! Лауреат Международной Отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка Евгений Деменок более десяти лет занимался сбором и изучением материалов о своём герое. Ещё в 2013-м году он выпустил книгу «Новое о Бурлюках», в которой прояснил многие тёмные места в истории этой творческой семьи. Будучи одесситом, Евгений Деменок, разумеется, особо отмечает роль Одессы в творческой биографии Бурлюка, который в 1900-1901 годах учился в Одесском художественном училище, затем участвовал в выставках и выступал с чтениями в этом городе, а в 1911 году получил диплом училища. Здесь он знакомится с Василием Кандинским, с Алексеем Кручёных.

Автор книги прошёл по следам великого Бурлюка от места рождения до места упокоения, проследил многочисленные контакты и пересечения в разных странах невероятно активного и коммуникабельного художника, поэта, литератора,

журналиста, организатора. На помощь автору книг часто приходил сам Бурлюк, поскольку и он сам, и его жена Мария тщательно документировали художественные действия, свои перемещения по миру, а также семейные события. Большим подспорьем стали письма Бурлюка разным адресатам и особенно тамбовскому коллекционеру Николаю Никифорову, которого Давид и Мария «футуристически» усыновили. Разумеется, Евгений Деменок, зная способность своего героя к мифотворчеству и учитывая возможность сбоев памяти и самого героя и мемуаристов, проверяет и перепроверяет, уточняет.

В результате буквально проведённого расследования автору книги удаётся создать стройную канву жизни и творчества отца русского, японского и американского футуризма. Да, и американского! В Америке не было футуризма как такового, и Бурлюк футуристическое всё-таки сумел привнести. С японским футуризмом тем, кто занимается авангардом, было понятно и раньше. Теперь же в книге детально прописано, как Бурлюк «офутуривал» Японию. Вообще о такой протеистической личности, какой был Давид Бурлюк, писать весьма не просто. Особенно для так называемого широкого читателя, на которого рассчитаны книги серии ЖЗЛ. На мой взгляд, Евгений Деменок нашёл нужную интонацию в этом повествовании. Книга будет прочитана. Отец футуризмов трёх стран приблизится к нам, станет более узнаваем. А дальше уже потянутся ниточки. Если как художник Бурлюк в последние десятилетия наращивал признание (выставки, каталоги, альбомы, наконец недавняя книга Владимира Полякова «Художник Давид Бурлюк»), то другие его дарования ещё ждут обсуждений и внимательных исследователей. И в этом смысле тоже книга Евгения Деменка – отличный стимул.

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

«КРАСОТА СПАСЁТ МИР»

Эти широко известные слова, принадлежащие одному из героев романа Ф.М. Достоевского «Идиот», могли бы, наверное, послужить эпиграфом к – не будет преувеличением сказать – чудесной книге Леонида Волкова «Удивляться красоте» (М.: Издательский дом «Сказочная дорога», 2019).

Автор – человек, по всей видимости, очень симпатичный, романтик своего рода, в духе шестидесятых годов ушедшего века. Это генерация людей тоже во многом уже, к сожалению, уходящая – *шестидесятнический тон* виден и слышен на каждой странице книги.

Эта книга в значительной мере, как представляется, предназначена и детям, и подросткам, и юношеству, но в равной мере и людям вполне зрелым, одним словом – всем, наверное, будет интересно её прочесть. Л.Н. Толстой в письме к молодому тогда писателю Н.Д. Телешову в 1899 году заметил, что «писать нужно так, чтобы было интересно читать и профессору, и кухарке». Эти слова гения русской литературы вполне применимы к книге Леонида Волкова – её с удовольствием могут прочесть и малоподготовленный ещё школьник, и искушённый литератор. В этом наше глубокое убеждение. И это первый признак настоящей литературы.

Надо сказать, что, увы, сейчас мы во многом утратили способность искренне радоваться и удивляться чему бы то ни было непосредственно, и в чём-то, быть может, чуть-чуть наивно восхищаться красотой окружающего нас мира.

Автор же, исходя из собственного опыта и качеств своей натуры, всячески старается приобщить читателей к этому – что, пожалуй, в данном случае наиболее важно. И это прекрасно ему удаётся.

В самом деле, о чём бы ни писал Леонид Волков – *о путешествиях по Крыму и Кавказу* – эти очерки и зарисовки имеют, кроме всего прочего, выраженный культурно-исторический и отчасти литературно-краеведческий колорит и смысл, так как здесь фигурируют имена М. Волошина, А. Грина, М. Лермонтова – автору удаётся разыскать здесь много интересного и нового; или же о прогулках по Подмосковью, например, в Переделкине, с его литературными достопримечательностями, которое под пером Л. Волкова приобретает порой новый и совершенно очаровательный колорит, свежие, неизбитые интонации и краски. А иной раз это – просто календарь метеонаблюдений в Москве, окрестностях, или же на подмосковной даче… И всё это с интересом читается и воспринимается.

В других главах автор увлекательно рассказывает о заграничных странствиях – по городам Европы (Берлину, Люксембургу, Парижу, Дрездену), насыщенным богатейшей культурной историей; или же это может быть Турция с её пряным восточным колоритом… И везде автор делает содержательные исторические экскурсы, везде находит какой-то свой угол зрения, свой стиль и, главное, взгляд на мир, который всегда, как правило, позитивен.

И это, несомненно, не может не заражать читателей, которые неизбежно проникаются мыслями и чувствами, наблюдениями и суждениями.

Автор данного разбора – можно сказать так

– рецензент не из добрых и не без яда и желчи, – читая книгу Л. Волкова, испытывал исключительно комфортное состояние.

А повествование о трагической жизни и судьбе сестёр Цветаевых (судьбе, до сих пор заставляющих нас содрогаться), пусть и написанное фрагментарно и в виде, скажем, арабесок – это же самое в значительной мере можно сказать и обо всей книге в целом – всё это обращает на себя внимание глубоким знанием предмета, неподдельной увлекательностью, читается на одном дыхании.

Точно так же пристальное внимание и интерес вызывают и некоторые порой мимоходом брошенные замечания автора о современной литературно-культурной жизни, её представителей и их нравах. Так, оценка Ю. Кублановского не создаёт возражения, поскольку автор рецензии почти исчерпывающим образом находит здесь подтверждение собственным наблюдениям, ибо знаком с этим героем ещё со своих и его молодых лет.

И, по контрасту с ним, – исполненная пиететом зарисовка впечатления от выступления поэта и востоковеда А.Н. Сенкевича, представлявшего на одном из литературных собраний в Некрасовский библиотеке свою книгу о Будде, в 2017 году изданную в знаменитой серии «ЖЗЛ» и имевшую большой успех.

В заключении следует сказать о том, что для нас оказалось более всего близким и созвучным в этой книге, так это полное и безусловное отрицание пошлой обыденности (на что указывается в кратком предисловии) – как в жизни, так и в человеческих душах и отношениях, стремление во всём найти «изюминку», интересные и притягательные начала в окружающем нас Божьем мире и, главное, в людях (которые, конечно же, столь несовершенны по сравнению с красотой вечной природы). Главное же, повторим, это та *«чистота нравственного чувства»* автора, если воспользоваться выражением немодного и непопулярного теперь революционного демократа Н.Г. Чернышевского, которое освещает всё содержание книги.

К сожалению, мы должны признаться, что не знакомы с другими сочинениями Л.А. Волкова, но надеемся в будущем восполнить этот пробел. Язык и стиль, которыми книга написана – исключительно точный, выразительный, прозрачный и чистый, «как поцелуй ребёнка», говоря словами лермонтовского героя из повести «Герой нашего времени»…

Посему мы искренне рады за читателей, что они получили такую книгу – и это в наше, столь развращённое и пресыщенное время, и от души поздравляем коллегу-литератора с безусловным успехом, желаем ему ещё много-много таких же интересных путешествий, впечатлений, встреч.

Подтверждением сказанного можно считать прелестные, помещённые в книге плотной подборкой фотографии. Ждём с нетерпением от автора новых книг.

ЕЛЕНА ВАДЮХИНА

ЧТО ОСТАЁТСЯ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ…

сравнительный анализ двух произведений

(Дрейпер Шэрон. «Давай поговорим» – (в оригинале «Out of My Mind»), перевод Москаленко О. – М., Розовый Жираф, 2019;
Беленкова, К.А. «Я учусь в четвертом КРО» – М., ИЗдательский Дом Мещерякова, 2019)

Много лет я посещаю детские приюты, стараясь помогать детям, попавшим в трудную ситуацию, не потеряться в сложной и трагической жизни и найти свою путеводную звезду. Слежу за выходом художественной литературы о детях с трудной судьбой. Достойные книги дарю детям в приютах и тем, кто посещает мои сказочно-литературные встречи. В ряду подобной литературы прочитала две книги американской и российской писательниц об учениках коррекционных классов. С первых же страниц мне стало ясно, что авторы знакомы с этой темой не понаслышке, что они занимаются с такими детьми. И действительно, уже закончив чтение, я изучила биографии авторов и выяснила, что Шэрон Драйпер – школьная учительница и мама «особого» ребенка, а Ксения Беленкова работает в коррекционном классе. Оба произведения отличает душераздирающая достоверность, умение донести мысли и чувства детей, имеющих отклонения в физическом и умственном развитии. Та и другая повесть написаны от первого лица, но если произведение Драйпер полностью изложено как поток мыслей одной девочки с диагнозом ДЦП, которая не может двигаться и говорить, но обладает большим интеллектом, то произведение Беленковой представляет собой сочинения детей коррекционного класса, которые в совокупности раскрывают замысел автора.

Хотя в обоих произведениях речь идёт о коррекционных классах, действие происходит в

разных странах и состав учеников в таких классах резко отличается друг от друга. В американской школе это дети с серьёзными диагнозами, которых невозможно обучать по единому образцу, и бедным учителям приходится или проявлять чудеса изобретательности или смириться со своим бессилием и превращать уроки в простое времяпровождение. Наиболее тяжёлым детям предоставляются помощники для решения элементарных физических действий. Принципиальным отличием американской системы является также инклюзивная программа – посещение детьми из коррекционных классов уроков в обычных классах по их желанию и способностям. Дети российской школы имеют незначительные отклонения в психическом развитии, так называемое девиантное поведение. Но из повести тоже видно полное бессилие учительницы в желании донести до учеников знания: один может выйти из класса в любой момент, другой спит весь урок, третий общается с привидениями. Так что при всех отличиях разных систем результат один – дети, замкнутые в своих проблемах и учителя, не понимающие, как вложить знания в эти потерянные создания.

Но мне бы хотелось сказать о принципиальных различиях двух произведений. Шэрон Дрейпер – уже признанный писатель, её книги неоднократно получали различные награды. Она строит сюжет книги по классическому пути детской серьёзной литературы: её героиня преодолевает неимоверные трудности, продвигаясь в своём желании общаться с миром. Трагедия девочки в том, что она не может ничего сказать миру. Она не может говорить, она не владеет рукой. А её переполняют мысли, чувства, наконец, просто, слова, которые хочется донести во внешний мир. Судьба подарила больному ребёнку чуткую мать, верящую, несмотря на приговоры врачей, что её дочь умна, гениальную соседку, которая нашла способ обучать девочку, умную и жизнерадостную помощницу в школе. Мелоди, так зовут героиню, дарят специальный компьютер, благодаря которому девочка смогла излагать свои мысли и говорить пусть чужим, но детским голосом и в результате, она, в составе команды оказывается победителем интеллектуального конкурса и должна отправиться на финал соревнований в Вашингтон. Жизнь обретает смысл, и читатель ждёт счастливого хеппи-энда, но нет, Дрейпер – честный писатель. Случайности, закономерности, всё сплетается в цепи трагических событий. Но с чем остаётся юный читатель после прочтения книги? Как бы судьба ни была жестока и несправедлива, никогда не надо сдаваться, даже если ты понимаешь, что общество не примет тебя на равных.

Совсем иное впечатление оставила после себя книга Ксении Беленковой. Она тоже ориентирована на детей среднего школьного возраста и является финалистом конкурса детской литературы «Книгуру». Но уже после первой главы я стала рассматривать аннотацию на книгу, для какого же возраста она создана. В биографии автора написано, что её произведения одинаково ориентированы для детей и взрослых, что мне близко как писателю, но в этом произведении я увидела только литературу для взрослых. Несмотря на трогательные и смешные истории детей, написанные от их имени, чувствуется, что поданы они со взрослой профессиональной оценкой мироощущений каждого ребёнка. Эта мысль преследовала меня всё произведение, и я ждала, какое же резюме даст автор в конце. Финал оказался даже для меня, взрослого человека, полностью опустошающим. До читателя донесена правильная и жёсткая как приговор мысль о том, что ничего нельзя изменить, если ты повинен в чужой смерти, даже, если ты сделал это неумышленно. Но закончить детскую повесть с сознанием безысходности ребёнка – такой пессимистический шаг, после которого жить читателю трудно, по крайней мере, мысль эта будет долго преследовать читателя. Такую повесть детям в приютах я никогда не дам читать. Им и так трудно принять жизнь в том обличье, как она им представилась. На одной из встреч в приюте девочка буквально кричала, когда я им дарила книги и одну из них анонсировала, как повесть, учащую принять тяжёлую потерю: «Мне, мне дайте эту, мне надо научиться принять». Позже она мне сказала, что пыталась самоубийством решить для себя неприятие предательства матери. В подростковом возрасте часто кажется, что многие жизненные проблемы не разрешимы, что плохое останется навсегда, и радость ушла из жизни навсегда. Где найти совет, когда ты чувствуешь себя один на один с душевной болью. Разве книга – не лучший друг в такие минуты?

Книги, как путеводная звезда, должны давать нам свет и открывать сердце для дальнейшей жизни, они должны помогать узнать и принять мир, что особенно важно в литературе, обращённой к подросткам.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 28.08.2020 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,33
Зам. 1446. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17